

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.И. Герцена
Факультет иностранных языков

*Посвящается нашим коллегам, чья
творческая судьба является образцом
служения науке – профессорам Алле Ге-
оргиевне Гурочкиной и Зинаиде Яковле-
вне Тураевой*

STUDIA LINGUISTICA

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
ЛИНГВИСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

XXI

Санкт-Петербург
Политехника-сервис
2012

Печатается по рекомендации
Ученого совета факультета иностранных языков
РГПУ им. А.И. Герцена

Рецензенты:

доктор филологических наук, доцент **И.А. Каргаполова** (ЛГУ
им. А.С. Пушкина);

доктор филологических наук, профессор **Т.А. Казакова**
(СПбГУ)

Ответственные редакторы:

доктор филологических наук, профессор **И.А. Щирова**;
кандидат филологических наук, доцент **Ю.В. Сергаева**

Редактор английских текстов:

кандидат филологических наук, профессор **И.Г. Серова**

Члены редколлегии:

доктор филологических наук, профессор **Л.А. Становая**;
кандидат филологических наук, профессор **И.П. Шишкина**;
кандидат филологических наук, доцент **В.В. Меняйло**

Технический редактор:

инженер-лаборант **А.Е. Фрегер**

**STUDIA LINGUISTICA. Вып. XXI. Антропоцентрическая
лингвистика: проблемы и решения. Сб. научных трудов. –
СПб.: Политехника-сервис, 2012. – 351 с.**

ISBN 978-5-905687-72-3

Материалы **STUDIA LINGUISTICA XXI** охватывают актуальные проблемы современного языкознания, включая проблемы когнитивной лингвистики, лексикологии и лексикографии, прагматики и теории коммуникации, теории и интерпретации текста, лингвостилистики и лингвокультурологии. В статьях сборника находят отражение идеи профессоров А.Г. Гурочкиной и З.Я. Тураевой, чья жизнь в науке и образовании тесно связана с РГПУ им. А.И. Герцена. Им и посвящён этот сборник.

Сборник предназначен специалистам-филологам, студентам филологических специальностей и более широкой аудитории, интересующейся проблемами языка, текста и культуры.

ISBN 978-5-905687-72-3

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ

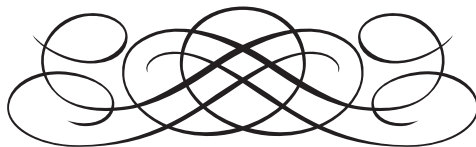
В 2012 году отмечают свои славные юбилеи наши дорогие профессора, Алла Георгиевна Гурочкина и Зинаида Яковлевна Тураева. Этот выпуск *Studia Linguistica* мы посвящаем им в знак глубокого уважения и признания за всё то, что они сделали для коллег, учеников и Высокой Науки.



Алла Георгиевна Гурочкина –

Почётный работник Высшего Профессионального Образования РФ, Почётный профессор РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук, профессор, один из ведущих специалистов кафедры английской филологии. Признанный специалист в области германской филологии, готского языка, истории английского языка, прагматингвистики, межличностной коммуникации и когнитивной семантики.

Регулярно выступает с пленарными докладами на конференциях в России и за рубежом. Опубликовала свыше 180 научных трудов в отечественных и иностранных изданиях и подготовила более 40 ученых. В течение многих лет А.Г. Гурочкина является Ученым секретарём Диссертационного Совета Д 212.199.05 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук в РГПУ им. А.И. Герцена, служа образцом самоотверженности и принципиальности в науке.



А.Г. Гурочкина (Санкт-Петербург, Россия)

КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО

Настоящая статья посвящена изучению лингвокогнитивных и лингвопрагматических механизмов порождения и интерпретации комических явлений, а также описанию коммуникативных ситуаций, в рамках которых общение осуществляется в юмористическом ключе, стратегий и тактик участников комической коммуникации, их интенций и особенностей речевого поведения.

Ключевые слова: комическое, порождения комического, комическая ситуация, комические стратегии и тактики

Комическое – это сложное универсальное и интернациональное явление, охватывающее многие стороны человеческого бытия, явление полимодальное и полифункциональное, относительное понимание которого возможно при рассмотрении его с учетом достижений разных гуманитарных наук – философии, психологии, когнитивной, прагмалингвистической парадигмы научного знания и др.

Обращение к философии комического мотивировано тем, что изучение проблемы на философском уровне позволяет объяснить комическое со стороны субъекта, его порождающего, и со стороны объекта, на него реагирующего. Психология и связанная с ней когнитивная лингвистика помогают раскрыть процессы порождения и интерпретации комических явлений. Прагмалингвистический анализ способствует выявлению различных ситуативных и языковых механизмов, ведущих к реализации комического эффекта в дискурсе.

Вместе с тем анализ работ, посвященных исследованию феномена комического, выполненных представителями вышеназванных научных дисциплин, позволяет заключить, что единая теория комического как таковая отсутствует, а существуют отдельные микротеории, объясняющие определенный круг комических явлений.

Так, обзор целого ряда философских воззрений на комическое, показал, что, несмотря на обилие интерпретаций, единого взгляда на то, что есть комическое, в философии не существует. Сложившиеся в рамках различных философских школ определения отражают лишь отдельные аспекты этого явления: «механика, наложенная на живое» [Бергсон, 1992], праздничное начало мира [Бахтин, 1986, 1990], ирреальность, условность комического объекта [Пропп, 1997; Лихачев, 1984], внезапно обнаруженное нарушение норм [Пропп, 1997], отстраненность комического видения [Бергсон, 1992; Карасев, 1992], раздвоение мира [Поньрко, 1993]. В целом философский подход представляет комическое как завершенный в себе универсум, который обладает показателями, контрастирующими с аналогичными показателями «серьезного» мира.

В психологии развитие представлений о комическом шло от взглядов на него как на аффект [Фрейд, 1991; Аверинцев, 1992 и др.] к теориям, рассматривающим его как коммуникативно-когнитивное явление, предполагающее смысловую обработку воспринимаемой комической информации, как явление порождения и восприятия коммуникативной ситуации участниками акта коммуникации [Бейтсон, 1993].

В рамках когнитивной теории комическое трактуется как свойство речевого поведения человека, отражающее специфику его познания окружающего мира, то есть в качестве отправной точки выступает положение об отражении индивидуумом окружающей действительности, последующей переработке и хранении информации, которая аккумулируется в сознании человека в виде экзистенциального опыта. Этот опыт перерабатывается центральной нервной системой, мозгом и трансформируется в структуры знаний, когнитивные схемы, сценарии, фреймы, стереотипы, несущие информацию об определенном фрагменте действительности [Кубрякова, Демьянков и др. 1996; Dijk, 1984; Chafe, 1994; Minsky, 1980; Tannen, 1993].

Восприятие и понимание комического текста происходит при наличии у реципиента адекватных языковых знаний и знаний соответствующей картины мира, механизма вероятностного прогнозирования. При получении блока информации сознание соотносит его с хранящимися в долговременной памяти структурами

знаний, выстраивая при этом прогноз на характер последующей информации. Прогнозирование предусматривает совокупность альтернативных связей, каждая из которых может быть реализована, то есть любая виртуальная альтернатива как бы содержит в себе информативный компонент, являющийся частью следующего блока информации. При успешной работе механизма вероятностного прогнозирования мозг работает в автономном режиме или режиме минимального расхода энергии [Giora, 1991, p. 465; Радаев, 1985, с. 118]. Восприятие комической информации, которая не соответствует той или иной стереотипной схеме, фрейму, сценарию, ни одной из виртуальных альтернативных связей, ведет к нарушению ожиданий воспринимающего. Для разрешения этого несоответствия сознание включает механизм параллельного восприятия предполагаемой (prototypical – термин Р. Джиоры) информации, контрастирующей с первоначальной. В результате сознание реципиента работает сразу в двух модулях – модуле непосредственного восприятия, который позволяет соотнести содержание высказывания с действительностью, и в модуле фиктивности («как если бы»), отрицающем первую возможность, а реакцией на эту двойную интерпретацию является смех [Giora, 1991].

Согласно семантической теории юмора В.Г. Раскина, комический текст сориентирован на два различных сценария, которые находятся в оппозитивных отношениях. Основные типы оппозиции сводятся к противопоставлениям «реальное/ нереальное», «нормальное/ неожиданное», «возможное /невозможное» [Raskin, 1985, p. 25–26].

Объясняя механизмы возникновения юмористического эффекта в терминах фреймовой теории, М. Минский отмечает: «... Самым общим элементом для всех видов юмора является неожиданная смена фреймов: сначала сцена описывается с одной точки зрения, а затем неожиданно (для этого достаточно одного-единственного слова) предстает в совершенно ином ракурсе» [Минский, 1988, с. 293]. Неожиданный характер перехода от одного фрейма к другому фактически означает, что вместо традиционно используемого для интерпретации данной ситуации фрейма (и в силу его предсказуемости активизируемого в памяти) для интерпретации используется фрейм, полярно ему проти-

вопоставленный или рассматриваемый в данном контексте как далекий. Возникающее при этом несоответствие и образует основу для юмористического осмысления ситуации. Таким образом, на когнитивном уровне юмористическое несоответствие можно определить как несоответствие стереотипного представления, традиционно соотносимого с той или иной ситуацией, с текущим восприятием актуализируемой ситуации. К числу наиболее важных типов юмористических несоответствий относятся: несоответствие «высокое vs. низкое», «специфическое vs. неспецифическое», «реальное vs. нереальное» и несоответствие оценок.

Наличие несоответствия исследователи относят к числу категориальных свойств юмора, а так как язык выступает в качестве «упаковки» мыслительного содержания, наличие несоответствия на когнитивном уровне обуславливает появление несоответствия и на уровне вербализации.

Юморическое в прагмалингвистике неразрывно связано с такими составляющими речевого взаимодействия коммуникантов, как:

- тип коммуникативной ситуации;
- ролевые и личностные характеристики участников коммуникации, характер отношений, складывающихся между ними в ходе общения, их интенции и т. п.;
- тема юмористического высказывания.

Исследователи юмора разработали типологию ситуаций, в рамках которых общение осуществляется в шутовском, юмористическом ключе, а именно:

- юмор может быть использован в ситуациях, требующих выяснения взглядов, позиций, намерений партнеров по коммуникации, но исключающих постановку прямых вопросов на эту тему. Юмор в этом случае выступает как «средство зондирования позиций сторон» (Social Probing Tactics);
- часто проблема, которую коммуникантам предстоит обсудить, очень сложна и серьезна, поэтому собеседники испытывают психологическое «чувство дискомфорта», боятся подступить к ней. Во многих случаях это обусловлено тем, что им приходится обсуждать темы, именовать явления действительности, которые в силу социально-психологических причин являются табуированными в данном обществе. Юмор в таких случаях выступает

в качестве средства, позволяющего выразить чувства по отношению к тому, для чего не существует социально приемлемого или легкого способа выражения (General Self-Presentation Tactics);

- в условиях назревающего конфликта, ситуация может быть «спасена», угроза разрыва отношений и прерывания коммуникации отведена, если все будет «превращено в шутку». «Несерьезность» действий или слов избавляет партнеров по коммуникации от необходимости серьезно относиться к сказанному или к вновь обнаруженным фактам и тем самым устраняет причину конфликта (Decommitment Tactics);

- «превращение всего в шутку» может иметь своей целью оказание поддержки испытывающему смущение человеку, который оказался в какой-либо неловой ситуации, так как невольно нарушил правила этикета (Face-saving Tactics);

- к юмору прибегают в ситуациях, когда необходимо разрушить барьеры между людьми, сократить дистанцию между коммуникантами, облегчая тем самым процесс общения и придавая ему неформальный, интимный характер. В этом случае юмор используется как средство завоевания расположения партнера по коммуникации, привлечения и удержания его внимания (Humor as antecedent of Interpersonal attraction and means of attracting and holding the attention of others);

- юмор может быть незаменим как средство завоевания благосклонного отношения более влиятельного лица. Для достижения этой цели говорящий может прибегнуть к «возвышению» своего собеседника, к принижению своего положения, к самопорицанию;

- юмор может использоваться в ситуации «развенчания и срывания масок», для выражения своего критического отношения к какому-то явлению объективной действительности. При этом степень критичности может быть различной (Unmasking tactics) [Макаров, 1998; Карасик, 2000; Martineau, 1972; Brawn, Levinson, 1994].

Приведенная типология коммуникативных ситуаций позволяет выделить следующие характерные признаки комической ситуации: основной коммуникативной интенцией адресанта является отказ от серьезного общения; тональность общения – юмористическая; каждой из ситуаций присущи определенные модели смехового поведения коммуникантов [Желтухина, 2000].

Чрезвычайно важная роль в процессе актуализации той или иной ситуации отводится коммуникативной интенции отправителя информации.

Основной интенцией адресанта в комической коммуникации является желание пошутить, вызвать смех у реципиента, оказать на него эмоционально-эстетическое / интеллектуально-критическое воздействие. Эмоционально-эстетическое воздействие выражается в желании адресанта вызвать у собеседника смех или удовольствие от комической информации. Интеллектуально-критическое воздействие имеет место при отрицательной оценке адресантом тех или иных свойств предмета сообщения или личности реципиента. Степень критичности определяет выбор одной из четырех тональностей комического общения: юмористической, сатирической, саркастической, иронической.

Успешная реализация интенций отправителя комической информации находится в прямой зависимости, с одной стороны, от личности адресата и его индивидуальных характеристик (чувства юмора, культурной и языковой компетенции, интеллектуального уровня, национальной принадлежности, пола, возраста, социального статуса и т. д.) а, с другой стороны, от адекватной оценки адресатом всех факторов коммуникативной ситуации (личности отправителя сообщения, пространственных и временных параметров ситуации, отношений между коммуникантами, источника информации). Иными словами важнейшим условием успешной реализации интенций отправителя комической информации является наличие некой общей суммы знаний, общих для отправителя и получателя, – общекультурного, национального, социально-профессионального, ситуативного и языкового характера.

К традиционно юмористическим темам, сюжетам, наиболее часто подвергаемым осмеянию, относятся: секс, пагубные пристрастия, человеческая глупость, семейные и социальные неурядицы, эксцентричность поведения, политические проблемы, физиологические отклонения и др., что неоднократно отмечалось в работах, посвященных проблемам комического. При этом возможность юмористической интерпретации той или иной темы, возможность выражения юмора в той или иной форме в значительной степени зависит от всех вышеописанных факторов,

в своей совокупности служащих стимулом как для порождения комического дискурса, так и для поиска ключа к пониманию комического смысла высказываний его составляющих, результатом чего и является смеховая реакция адресата.

Список литературы

Аверинцев С.С. М.М. Бахтин. Смех. Христианская культура / М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 7–19.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Бергсон А. Смех. М., 1992.

Бейтсон Г. и др. К теории шизофрении // Московский психотерапевтический журнал. 1993. № 1–2.

Желтухина М.Р. Комическое в политическом дискурсе конца XX века. Русские и немецкие политики: монография. М. – Волгоград, 2000.

Карасев Л.В. Смех и зло // Человек. 1992. № 3. С. 14–27.

Карасик В.И. Типы юмористического речевого действия // Языковая личность: проблемы креативной семантики. Волгоград, 2000. С. 134–142.

Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.

Лихачев Д.С., Панченко А.М., Поньрко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.

Макаров М.Л. Интерпретационный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.

Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 281–304.

Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха / 2-е изд. СПб., 1997.

Поньрко Н.В. Некруглый стол // Знание-сила. 1993. № 2. С. 31.

Радаев А.Н. Психолингвистическая теория смешного (комического) и анализ текста // Знаковые проблемы письменной композиции. Куйбышев, 1985. С. 112–122.

Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // «Я» и «Оно». Кн. 2. Тбилиси, 1991. С. 175–406.

Brown R., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge, 1994.

Chafe W.Z. Discourse, consciousness, and time: The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago, 1994.

Dijk T.A., van. Dialogue and Cognition // Cognitive constraints on communication. Representations and Progress. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1984. P. 1–17.

Giora R. On the cognitive aspects of the joke // Journal of Pragmatics. 1991. Vol.16. № 5. Amsterdam. P. 465–485.

Martineau. A model of social functions of humor // The psychology of humor. N.Y. – London. 1972. P. 101–125.

Minsky M. A framework for representing knowledge // Frame conceptions and text understanding. Berlin, 1980. P. 1–25.

Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985.

Tannen D. What's in a Frame? Surface Evidence for Underlying Expectation // Framing in Discourse. N.Y., Oxford, 1993. P. 137–181.

Gurochkina Alla Georgievna (Saint Petersburg, Russia)

COGNITIVE AND PRAGMATIC SOURCES OF THE COMIC

The paper discusses the linguo-cognitive and pragmatic frameworks of creating and interpreting the comic. It deals with the description of comic situations and intentions, strategies, tactics and verbal behavior patterns involved.

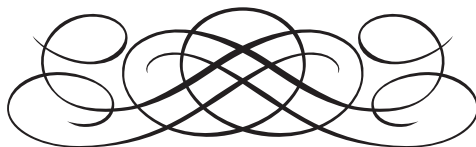
Keywords: the comic, frameworks of creating the comic, comic situations, strategies and tactics

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ



Зинаида Яковлевна Тураева –

доктор филологических наук, профессор, крупный специалист в области теории и лингвистики текста, посвятила нашему вузу около полувека, из которых 27 лет возглавляла кафедру английского языка. С 1992 г. по 1997 г. являлась профессором кафедры английской филологии. Имеет свыше 150 научных трудов, в том числе первый отечественный учебник по лингвистике текста, монографии и учебные пособия. Мудрый и великодушный наставник, открыла путь в науку свыше 30 аспирантам и докторантам. За самоотверженный труд и участие в Великой Отечественной войне З.Я. Тураева удостоена многочисленных наград: ордена Отечественной Войны II степени, медали за оборону Сталинграда, юбилейных медалей в честь Великой победы. В настоящее время проживает в Германии, поддерживает контакты с научной общественностью России, РГПУ им. А.И. Герцена и факультета иностранных языков. Вносит весомый вклад в популяризацию отечественной науки за рубежом.



УДК 81'42

З.Я. Тураева (Бёблинген, Германия)

РУССКИЙ ЯЗЫК В ДИАСПОРЕ

Статья посвящена языковым проблемам, с которыми сталкиваются эмигранты. Отказ от родного языка означает уход от культуры, в которой вырос человек. Сегодня эта проблема стоит менее остро по ряду причин: отказ от политики плавильного котла, наличие виртуальных средств коммуникации, взаимодействие культур. Этому способствуют поэтические конкурсы, дни поэзии, вечера бардовской песни и т. д.

Ключевые слова: языковые проблемы, виртуальные средства коммуникации, взаимодействие культур, дни поэзии, поэтические конкурсы

Прошло уже более 20 лет с начала четвертой волны эмиграции из России. Покидая родину, эмигранты всегда надеются изменить жизнь к лучшему и найти себя в новой стране. Но, уезжая, не все понимают, что рискуют потерять часть себя, оказавшись оторванными от родного языка и культуры. В эпоху глобализации эта опасность уменьшается, во-первых, благодаря пересмотру языковой политики, во-вторых, благодаря развитию электронных технологий. Многие государства, принимающие мигрантов, отказались от политики «плавильного котла». На повестке дня сегодня стоит не ассимиляция, а интеграция мигрантов, которая в идеале дает взаимообогащение культур. Во многих странах запада культурное обогащение видится, прежде всего, в том, что «пришельцы» приобщают старожилов к национальной кухне, этнической музыке и изделиям традиционных ремесел – иными словами вносят в жизнь чужеземную экзотику. Вклад руссофонов несколько другой. Они тоже открыли рестораны традиционной кухни и магазины деликатесов, но не это главное. Как ни одна из предыдущих волн, эмигранты 4-й волны создали разнообразие культурных институтов, основным продуктом которых является язык. Многочисленные газеты и журналы, детские сады и школы второй половины дня, библиотеки, профессиональные и самодеятельные театры и клубы по интересам востребованы и имеют

транснациональные связи. Так, например, регулярно проводятся конгрессы Всемирной ассоциации русскоязычной прессы, а конференции ученых, занимающихся проблемами русского языка за рубежом и обучения билингвов, привлекают сотни теоретиков и практиков.

Даже в самых отдаленных уголках планеты руссофоны могут смотреть российское телевидение, читать в Интернете последние новости по-русски и общаться с друзьями на родном языке в социальных сетях и по скайпу. Но виртуальная коммуникация никогда не заменит живого общения лицом к лицу. Именно поэтому проводятся международные конкурсы поэзии на русском языке, фестивали бардовской песни, турниры *Что? Где, Когда?*, международные встречи *КВН*. Сегодня мы можем уверенно сказать, что домом русскому миру стала вся планета.

Вместе с тем, не будем забывать и о том, что выросло второе поколение эмигрантов, для которых русский язык уже является не родным, а унаследованным, да и взрослые с трудом могут избежать смешения языков в речи. За эти годы под воздействием контактных языков в диаспоре возникло разнообразие региональных вариантов русского языка, которые отличаются от языка метрополии. Причем особенности этих вариантов интересуют не только лингвистов, но и самих носителей языка, которые не только обмениваются наблюдениями, но и с упоением включают в языковую игру, имя которой – двуязычный юмор.

Сколько ещё поколений смогут сохранять язык страны исхода – сказать трудно, но, очевидно, что важную роль в продлении жизни русского языка за пределами метрополии будут играть не только разветвленные экономические связи, обмен научной информацией и технические ноу-хау, но и творческая активность выходцев из России и их потомков. Наверное, для того чтобы та культура, которая создается за пределами метрополии была жизнеспособной, она должна не только опираться на наследие страны исхода, но и приближаться к культуре принимающей страны, а кроме того отражать опыт самих эмигрантов. Об одном из таких проектов, поэтическом обществе «Ibykus», руководствующемся этим принципом, я написала несколько слов в предыдущем сборнике.

19 февраля 2012 года в Штутгарте состоялся вечер, посвященный творчеству великого русского поэта Михаила Лермон-

това. Вечер был подготовлен студией «Поэзия», основателем и бессменным руководителем которой в течение ряда лет является София Орловская. Этот вечер явился событием в культурной жизни Штутгарта. Как говорилось выше, интеграция культур в нашем мире, где миллионы становятся мигрантами, имеет немаловажное значение. Во вступительном слове (В. Анапольская) акцент был сделан на культурных связях между Россией и Германией, связях, которые восходят к первой половине XIX века, ко времени Михаила Лермонтова, к его рукописям, хранившимся у его родственников в Штутгарте. Представление состояло из двух отделений. В первом был проведен своеобразный конкурс: две команды знакомили слушателей с широкой гаммой творчества Лермонтова: читались знаменитые «Молитва», «Нищий», «Пророк», «Поэт», «Баллада», «Три пальмы» и многие другие. Произведения были подобраны таким образом, чтобы между ними существовала некая связь, по линии утверждения или отрицания определенной идеи, – участники не только представляли зрителям поэзию Лермонтова, но и предлагали её анализ. Стихотворения охватывали широкий круг проблем: любовь к истокам жизни и к ее духовной стихии, всепоглащающая страсть к творчеству, сложность и противоречивость человеческого общества, неприятие нарушений единообразия и запрет на выход из него, жестокая кара за попытку приподнять занавес над действительностью. Вспомним в этой связи трагическую судьбу Сократа, вынужденного расстаться с жизнью за свои неортодоксальные взгляды. Вспомним Джордано Бруно, который взошел на костер за неприятие структуры Вселенной, предложенной древнегреческим ученым Птолемеем. Первое отделение вечера, таким образом, вводило зрителя в глубины творчества Лермонтова.

Второй акт приглашал на светский вечер в одном из провинциальных городов России тех дней. Вслед за танцами – вальс, танец детей – разыгрывались любовные сцены, обрамленные стихами Лермонтова. Создавался колорит эпохи давно ушедших дней. В целом, любители поэзии Лермонтова могли познакомиться не только с широкой палитрой его стихов, но и с музыкой, танцами, живописью, связанными с его творчеством. Картины Врубеля, Тропинина, Добужинского и др. сопровождали на экране чтение

«Демона» и «Тамбовской казначейши», что, бесспорно, можно было отнести к числу режиссерских находок.

Помимо культурных связей, интерес представляет и ряд других проблем, связанных с миграцией. Одна из них – анализ виртуальных материалов, которые мы находим в Интернете. Их можно разделить на две основные группы: сайты, подготовленные в России различными правительственными или неправительственными организациями и адресованные русскоговорящим мигрантам, а также сайты, созданные мигрантами в различных странах, на разных континентах. Этот материал обсуждается в работах М. Еленевской и Л. Фиалковой [2003], где авторы рассматривают около 30 русскоязычных сайтов, а также в работах Г. Шеффера, где акцент переносится на политическую сторону вопроса [Sheffer, 2003], где изучается жизнь этнических мигрантов, рассматриваются актуальные проблемы образования и многие иные.

Каждая из названных проблем требует отдельного изучения и интересна исследователям языка и культуры.

Список литературы

Коробков А.В. Динамика программ русского языка в США. Тенденции последних лет. Сообщение на Ассамблее Русского Мира. 2011.

Kosmarskaya N. «Post-Soviet Russian Diaspora» // Encyclopedia of World Diasporas. Immigrant and Refugee Cultures around the World. NY, 2004. P. 264–272.

Sheffer G. Diaspora Politics. At Home Abroad. Cambridge, 2003.

Yelenevskaya M. Multimedia in ESP Courses. Adding Flexibility and Personalization to Teaching // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. 2003. Вып.1. М., С. 92–97.

Turaeva Zinaida Yakovlevna (Böblingen, Germany)

THE RUSSIAN LANGUAGE IN DIASPORA

The article centers around the language problems emigrants face. Giving up the mother-tongue means the loss of the ties with the culture

of the country of origin. This problem is settled easier today because the globalized world is interested in the interaction and mutual enrichment of cultures and due to the existence of virtual means of communication. The contact of cultures is promoted by poetry competitions, days of poetry, bard evenings and so on.

Keywords: language problems, mother tongue, country of origin, interaction, enrichment, virtual means of communication

**ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ:
СТАТЬИ ПО МАТЕРИАЛАМ
1-Й ШКОЛЫ-СЕМИНАРА ПАМЯТИ И.В. АРНОЛЬД**

УДК 81'37

З.А. Харитончик (Минск, Беларусь)

**О ПРИНЦИПАХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕКСИКОНА**

Анализ семантических классификаций, разработанных известными отечественными учеными (И.В. Арнольд, Ю.Н. Карауловым, Н.Ю. Шведовой) выявил, что различия в используемых принципах привели к разным семантическим построениям (таксономической, сетевой, фреймовой структурам) и отнесению коррелятивных или идентичных лексических единиц к разным семантическим классам. Подчеркиваются трудности семантической классификации, связанные с особенностями концептуализации заключенного в лексических единицах знания.

Ключевые слова: лексема, классификации, таксономия, концептуализация, знания

Следуя общей направленности человеческого сознания на систематизацию окружающего мира, без которой человек не может существовать, на категоризацию бесконечного числа индивидуальных объектов, их свойств и отношений, осуществляемую с помощью лексических единиц языка, ученые рассматривают в качестве важнейшей задачи научного исследования выявление принципов организации лексикона, раскрытие его системных связей, а через них и выявление специфики наивной систематики мира по сравнению с научными таксономиями. Заметим сразу же, что само существование такой специфики не вызывает сомнения и доказывается в первую очередь различным количеством уровней языковой и научной таксономий (см., например, исследования Э. Рош, в которых число уровней в языковой так-

сономии исчисляется 5, и 15 уровней биологической классификации К. Линнея).

И совсем не случайным представляется то, что уже в глубокой древности Аристотелем была разработана классификация субстанций, дошедшая до нас в виде «дерева Порфирия», комментатора Аристотеля [Цит. по Степанов, 1981, с. 74].

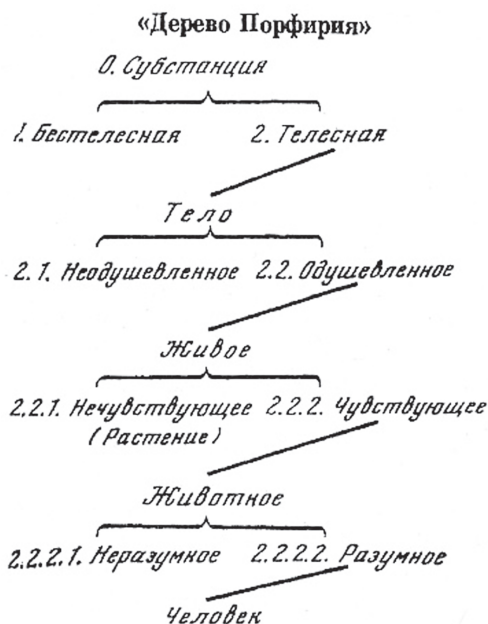


Рис. 1.

Есть все основания рассматривать, вслед за Ю.С. Степановым, данную классификацию в ее модифицированном, как это предлагает ученый, или даже в немодифицированном виде как «таксономию имен существительных естественного языка – их семиологическую классификацию» [Степанов, 1981, с.75], которая, являясь классификацией имен, отражает вместе с тем естественную, т.е. данную в природе, классификацию объектов – на «Вещи», «Растения», «Животные», «Людей».

Основания для подобного видения семиологической классификации кроются в том, что имена в своих семантических харак-

теристиках несут отсвет нашего осознания вещей, их свойств и связей в процессе тесного взаимодействия с окружающим миром. Как отмечает Ю.С. Степанов, «Классификация таким образом подчеркивает, что, как гласил еще средневековый тезис, «имена суть следствия вещей» (*Nomina sunt consequentia rerum*)» [Степанов, 1981, с.75]. Именно поэтому когнитивная наука с ее главной целью проникновения в тайны нашего сознания, в глубины процессов познания в качестве главного своего инструмента стала использовать языковые данные, пытаюсь за, казалось бы, необозримой индивидуальностью языковых единиц увидеть стратегии и тактики когнитивной обработки полученного опыта и пути его таксономического представления. Важно, как пишет С. Пинкер, не только то, что «... язык раскрывает стены нашей пещеры, он также показывает нам, каким образом выйти из нее, по крайней мере, частично... Действительно, язык предлагает нам самый ясный взгляд на то, как можно преодолеть наши когнитивные и эмоциональные ограничения» [Pinker, 2007, p. 435]. – (Перевод наш – З.Х.). Интересны в этой связи работы Дж. Лакоффа, особенно «Мышление в зеркале классификаторов», в которой благодаря анализу языковой классификации в языке дьирбал и других языках мира стало возможным установить некоторые глубинные закономерности категоризации [Лакофф, 1988]. См. также и ранее упоминаемые работы Э. Рош, труды Р. Лэнекера, У. Крофта, исследования Ж. Фоконье и М. Тернера, Ч. Филлмора, У. Чейфа, Л. Талми и многие, многие другие. Как много можно узнать о нашем концептуальном мире из поведения (функционирования) языковых единиц, убедительно демонстрирует нам обращение, например, к глагольным конструкциям, благодаря чему становятся явными салиентность некоторых геометрических и физических свойств для конструирования событий, закономерности категоризации ситуаций, глубинные принципы мышления и т. д. См. подробнее [Pinker, 2007].

В этой связи чрезвычайно значим опыт отечественных ученых, которые задолго до когнитивистских разработок, равно как и значительно опережая появившиеся гораздо позднее попытки семантических классификаций имен различных лексико-грамматических классов, создали целый ряд семантических классификаций лексических единиц, из которых наибольшее

распространение получили классификации, разработанные И.В. Арнольд на материале английского языка [Арнольд, 1966], а на материале русского языка коллективом под руководством Ю.Н. Караулова [Караулов, 1983] и коллективом под руководством Н.Ю. Шведовой [Шведова, 1998]. Их ценность невероятно высока, поскольку они позволяют не только увидеть общие, связующие, с одной стороны, и дифференцирующие, с другой, системные отношения обозначаемых с помощью языковых единиц сущностей, но, главное, принципы их организации в нашем концептуальном, ментальном мире, высвечивая экспериенциальный, образный, экологический и другие аспекты нашего мышления.

Одновременно с непреходящей ценностью разного рода научных классификаций языковых единиц ученые давно осознали и те почти непреодолимые трудности, с которыми сталкивается исследователь при разработке той или иной, особенно семантической, классификации. Истоки этих трудностей вытекают из разных возможностей концептуализации нашего опыта, благодаря которым денотативно идентичные сущности предстают как разные вследствие профилирования одних свойств и характеристик и затемнения других. В данной работе мы ставим своей задачей продемонстрировать это на примере ряда лексических единиц, используя опыт названных выше семантических классификаций. К какому классу принадлежит, например, слово *hair* «волосы» в английском языке. Воспользуемся с этой целью семантической классификацией И.В. Арнольд, имя которой как известного семасиолога, автора лучших учебников по английской лексикологии, стилистике и методологии, было широко известно в Советском Союзе. Ею разработана по сути первая собственно языковая классификация имен, радикально отличающаяся от существующих идеографических словарей-тезаурусов типа словаря Роже, стройная, непротиворечивая и тем не менее охватывающая самую объемную и самую разнородную группу лексических единиц – имена существительные. Если к тому же учесть, что основные теоретические разработки организации лексикона, среди которых основополагающими являются работы М.В. Никитина, Э. Рош, П. Кэя, У. Леветт, Д. Круза, Ч. Филлмора и др., а также практические опыты создания семантических классифи-

каций появились значительно позднее данной работы И.В. Арнольд, то легко увидеть, какой серьезный прорыв в раскрытии структур представления знаний ознаменовала предложенная ею классификация имен существительных на материале современного английского языка. Благодаря таланту, языковому чутью, высочайшему профессионализму, неукоснительному следованию строгим научным принципам и неисчерпаемому творческому потенциалу, И.В. Арнольд удалось создать непревзойденную до сих пор семантическую классификацию имен существительных современного английского языка – образец классификации, в которой в виде лексико-грамматических разрядов как концептуально-языкового остова диалектически соединяются лингвистическая систематика и таксономия реального мира.

В классификации имен существительных, предназначенной для семантического описания данного класса слов в современном английском языке, И.В. Арнольд на основе грамматических, семантических и словообразовательных характеристик выделяют следующие лексико-грамматические разряды:

1. Существительные исчисляемые, склоняемые, замещаемые в единственном числе местоимениями *he* или *she*, характеризуются набором суффиксов – существительные лица (N person);

2. Существительные исчисляемые, склоняемые, в единственном числе заменяются *it*, – существительные зоонимы (Nz);

3. Существительные одушевленные, исчисляемые, склоняемые, с некоторыми особенностями местоименного замещения – существительные собирательные (N coll);

4. Существительные, одушевленные, неисчисляемые – существительные множества (N mult);

5. Существительные неодушевленные, склоняемые, исчисляемые, в единственном числе они заменяются *it*, во множественном – *they* – единицы измерения (N unit);

6. Существительные неодушевленные, исчисляемые, несклоняемые – общие имена (N obj);

7. Существительные неодушевленные, неисчисляемые, несклоняемые – имена вещественные (N m);

8. Существительные неодушевленные, неисчисляемые, несклоняемые, характеризуются определенным набором суффиксов – существительные отвлеченные (N abstr).

Уже из перечня характеристик каждого лексико-грамматического разряда имен существительных явствует, что И.В. Арнольд руководствовалась целым рядом языковых критериев, среди которых ведущими стали грамматические и словообразовательные свойства, субкатегориальные значения имен существительных, указывая при этом на возможности дальнейшего разбиения выделяемых ею лексико-грамматических разрядов на тематические, или, в иной терминологии, лексико-семантические группы и сопровождая описание каждого разряда многочисленными комментариями о семантических, стилистических, синтаксических и пр. особенностях имен существительных, его составляющих. Тем самым ею была, думается, что впервые, использована наблюдаемая в языке некоторая корреляция формальных, семантических и грамматических примет слов определенной части речи для построения семантического описания имени существительного в английском языке.

Однако даже при использовании данной классификации проблема определения лексико-грамматической и лексико-семантической отнесенности конкретной единицы оказывается трудно разрешимой. Ответить на вопрос, к какому классу единиц принадлежит выбранное нами для анализа слово *hair* «волосы»: к названиям частей тела 6 лексико-грамматического разряда или же вследствие своих грамматических характеристик к 7 лексико-грамматическому разряду (ни в один класс собирательных существительных данное слово не попадает вследствие своей неодушевленности) или же это представитель какого-то иного класса, весьма непросто. Ставя этот вопрос, мы одновременно вынуждены задуматься, насколько должны быть учтены при семантической классификации особенности концептуализации обозначаемых словами сущностей, раскрываемые в синтаксической специфике их сочетаний, в дериватах. По-видимому, следуя семантическим, грамматическим и словообразовательным характеристикам исследуемой единицы, необходимо выделить в системе имен существительных современного английского языка еще один класс, в который должны войти слова, обозначающие совокупные множества неодушевленных объектов, типа *hair, leafage, foliage, cutlery, furniture* и др. Очевидна одновременно неоднозначность такого решения, поскольку слова-гиперонимы типа *cutlery, furniture* станут оторванными от своих гипонимов.

Обращение к семантическим словарям русского языка также приводит нас к интересным наблюдениям. Задавая слово *волосы*, являющееся русским коррелятом слова *hair*, (заметим – не эквивалентом, но коррелятом, поскольку в английском языке *hair* – имя существительное в единственном числе в отличие от рус. *волосы*, имеющем в этом значении форму множественного числа (ср. также англ. *money* и рус. *деньги* и др.)), в Русском семантическом словаре Ю.Н. Караулова и др. мы получаем набор слов, которые группируются вокруг дескриптора *волосы*: *возраст, гнездо, дикий, зверь, корень, кукла, лимфа, масло, млекопитающее, нервы, нос, организм, палеонтология, перхоть, планктон, позвоночник, пробор, раса, семья, сок, существо, тюлень, шерсть, голова, естественный, клюв, кость, культура, лицо, морда, обезьяна, органический, перегной, печень, плоть, помесь, пузырь, рост, скот, статуя, труп, фигура, гибридизация, горб, жир, кожа, кошка, легкие, лысый, мешок, мышца, ноготь, овца, орнамент, перо, питомник, подушка, порода, пух, рыба, собака, сумка, туловище, черепаха*. Приводимые в словаре семантические данные указывают, что перечисленные слова (все, без исключения) обязательно имеют некоторые общие множители, посредством которых они оказываются семантически связанными со словом *волосы*, формируя тем самым своеобразный, по словам авторов словаря, «семантический ореол» лексической единицы. Очевидны широта и своеобразие приводимой словарной статьи, и нельзя не согласиться с авторами словаря, которые подчеркивают, что в такой статье «ничто не забыто, ни одна из сторон, ни одно из свойств характеризуемого понятия, пусть даже самое второстепенное, не оставлено без внимания.... .. Некоторые стороны понятия получают здесь более или менее развернутую характеристику, другие только слегка затронуты, даны лишь намеком, подсказкой, иногда косвенной. В дескрипторной статье представлены и элементы ситуаций..., и момент идеологической оценки понятия ..., и синонимы к разным значениям..., и антонимы..., и родо-видовые отношения..., и отношения свойства с носителем этого свойствав каждой статье рядом с привычными для тезауруса номинативными характеристиками различных сторон понятия заметное место занимают слова, отражающие предикативные его свойства...» [Караулов, 1983, с.5].

Авторы Русского семантического словаря Н.Ю. Шведовой и др., фиксируя различия значений – *волос* 1. (мн. *волосы*) Тонкое роговое нитевидное образование, растущее на коже человека, млекопитающих *Длинный, короткий волос Снять волос с пиджака*; 2. (мн. *волосы* и *волосья*) Множество таких образований на теле человека *Грудь, спина заросли волосом/ волосами* и 3. (ед. также собир.) Покров из таких образований на голове человека, на лице мужчины *Густые, редкие, жидкие волосы. Темные, светлые, черные, белокурые, русые, каштановые, рыжие волосы. Отрастить, обрезать волосы.* – тем не менее помещают их в один из подклассов класса «Названия тела, организма, их частей, продуктов жизнедеятельности», а именно в подкласс «Волосаяной, кожной, роговой покров», следующий сразу же за классом «Части туловища, тела». Тем самым в какой-то степени то, как видно из дефиниции, что *волосы* в данном значении обозначают некоторую целостность (покров), составляющие которой не мыслятся отдельно (*отрастить волосы* совсем не означает *отрастить один или несколько волосков* и в принципе не зависит от количества волос на голове), составителями словаря игнорируется.

Аналогичная картина вырисовывается и в случае слов *лист* (мн. *листья*) и *листва*. В Русском семантическом словаре Ю.Н. Караулова и др. приводится дескриптор *листва*, вокруг которого группируются следующие слова: *береза, виноград, дерево, клен, куст, лес, осина, платан, ракитник, липа, малина, дуб, орех, салат, табак, трава, чай, растение, сад, лес, подлесок, ракитник, побег, стебель, пила, лист* и др. (всего 57 единиц). Авторы Русского семантического словаря Ю.Н. Шведовой и др., определяя *лист* как «орган воздушного питания, газообмена и фотосинтеза растений в виде тонкой, обычно зеленой пластинки *Овальный, округлый... осенние листья*», а *листва* – «собр. листья дерева, куста *Молодая, густая, пожелтевшая, опавшая листва*» и приводя разные прилагательные, от них образованные (прил. к *лист* – *листовой*, к *листва* – *листвяной*), не считают необходимым, а, может быть, и возможным учесть наблюдаемые значимые семантические различия данных единиц при их семантической классификации. Но возможно сказать по-русски *округлые листья* и вряд ли *округлая листва, стреловидные ли-*

стья, но не стреловидная лства. Листья опали, но Лства опала. Лист в значении лства также требует единственного числа: Лист пожелтел. Разная комбинаторика единиц лист (мн. листья) и лства – это убедительное свидетельство разной концептуализации, вычленения разных аспектов одного денотативного пространства. Собирательные значения – это не значения множественного числа, это видение целого, собранного из некоторого числа составляющих элементов. Подобные различия существуют и в английском языке, в котором *leaf* (мн. *leaves*) мыслится как «a lateral outgrowth from a stem that constitutes a unit of the foliage of a plant», в то время как *leafage* определяется через синонимичное *foliage*, означающее «the mass of leaves of a plant» – [Merriam Webster Dictionary, 1969]. И поэтому совершенно правильно сказать по-английски *The leaves are yellow*, но *the leafage is yellow*. *The tree leafage has turned red*. *The tree leaves have turned red*.

Продемонстрированные различия в описаниях, принятых семантическими словарями, с одной стороны, и в известной степени некоторое пренебрежение составителями семантических классификаций концептуальными характеристиками представления обозначаемого в лексической единице, с другой, обусловлены рядом причин. Приведенные примеры семантического распределения лексических единиц по классам и подклассам делают очевидным, что составители семантических классификаций руководствуются разными основаниями при их построении. Как справедливо указывают в *Предисловии* к Русскому семантическому словарю его составители: «Если же не отказывать языку в том, что созданные им абстракции, отвлечения от реальных связей и зависимостей, естественны, если согласиться с тем, что такие абстракции принадлежат к числу «человеческих факторов» ничуть не меньше, чем все бесконечные единицы нашей речи, то вычленение лексических классов как конструкторов, созданных самим языком в ходе его истории, оказывается описанием его собственного строения, разграничением органических участков языковой системы» [Шведова, 1998, с. 11]. И снова правы авторы Русского семантического словаря, утверждая, что «...наука о словесном составе языка, претендующая на всестороннее описание лексики как системы, обязательно должна иметь своим предметом все те

как общие, так и частные грамматические характеристики, которые вместе с семантикой слов, образующих данное множество, составляют сущностную черту этого множества» [Шведова, 1998, с. 13]. Однако прислушаться к тому, какие «сигналы» в виде грамматических, сочетаемостных, словообразовательных особенностей подает нам сам язык, и учесть их сложно как вследствие многообразных способов видения одного и того же денотативного пространства, так и вследствие отсутствия конгруэнтности разных характеристик лексических единиц.

Очевидно также и то, что, выполняя, казалось бы, идентичную научную задачу – разработку семантической классификации, составители руководствуются каким-то одним, главным принципом, что приводит в итоге к различным, как это было показано выше, результатам в описании одних и тех же лексических единиц.

Ведущим основанием семантической характеристики лексических единиц в Русском семантическом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой, на наш взгляд, является обозначаемая ими денотативная область, а сами семантические классы и подклассы образуют как бы сеть взаимосвязанных с разной степенью близости семантических ячеек, в то время как Русский семантический словарь Ю.Н. Караулова и др., по-видимому, более всего отвечает принципам фреймового построения семантического пространства лексикона. При разработке семантической классификации имен существительных английского языка И.В. Арнольд ведущими оказываются таксономический принцип и, как указывалось ранее, опора на грамматические и словообразовательные признаки слов.

Возможность следования различным принципам построения семантических классификаций и вытекающие отсюда различные результаты порождают немало критических замечаний. По-видимому, не существует еще ни одного таксономического описания, которое не подверглось бы критике по тем или иным основаниям. Однако, следует учитывать, во-первых, то, что семантические нити, объединяющие индивидуальные лексические единицы в единую систему, многолики. Наряду с ведущими типами – гиперо-гипонимическими и партономическими, или меронимическими, и хорошо известными синонимическими и антони-

мическими в лексике существуют сети, лексические парадигмы, циклы, цепи, фреймы и т. д. [Филлмор, 1983]. В большинстве своем это все разновидности структур внутри таксономических классификаций, которые, как образно отмечает М.В. Никитин, «следуют за миром» [Никитин, 2007, с. 708]. Во-вторых, как показывает анализ, наряду с таксономическими отношениями вследствие сложности и разветвленности линий и отношений, связывающих лексические единицы, в лексической системе языка существует разнообразие вторичных, нетаксономических, как отмечают М.В. Никитин, Д. Круз, классификаций, которые надстраиваются, по образному выражению М.В. Никитина, как бы «поперек» первичных таксономий. [См. о них подробнее Харитончик, 2010].

Таким образом, выявление разного рода семантических связей, формирующих основания семантической структуризации лексики, сопряжено со сложными процедурами семантического анализа. Очевидно, что многоплановость системной организации лексики, благодаря которой мы успешно справляемся со сложнейшими задачами порождения и восприятия речи, лежит в основе огромных трудностей на пути к решению задачи ее описания. Создать такую классификацию – уже, на мой взгляд, научный подвиг, ибо отразить чрезвычайно сложное переплетение связей, существующих между лексическими единицами, невероятно трудная и на сегодня едва ли выполнимая задача. И нам хотелось показать, что успешное ее решение теснейшим образом сопряжено, прежде всего, с установлением тех линий, по которым осуществляется концептуализация нашего знания.

Список литературы

Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. Л., 1966.

Караулов Ю.Н., Молчанов В.И., Афанасьев В.А., Михалев Н.В. Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса: от понятия к слову. М., 1983 г.

Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 12–51.

Никитин М.В. Курс лингвистической семантики / 2-е изд., доп. и испр. Санкт-Петербург, 2007.

Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. Том 1. Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена существительные (Все живое. Земля. Космос). М., 1998.

Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981.

Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIУ. Проблемы и методы лексикографии. М., 1983. С. 23–60.

Харитончик, З.А. О роли нетаксономических категорий в деривационных процессах // Слово и словесность. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, 2010. С. 311–321.

Pinker Steven. The Stuff of Thought. Language as a Window into Human Nature. NY., 2008.

Webster's Seventh New Collegiate Dictionary. A Merriam Webster, 1969.

Kharitonchik Zinaida Andreevna (Minsk, Belarus)

ON PRINCIPLES OF SEMANTIC CLASSIFICATION OF THE LEXICON

The analysis of semantic classifications developed by our renowned scholars (I.V. Arnold, Yu.N. Karaulov, N.Yu. Shvedova) makes it obvious that the differences of underlying principles have resulted in non-identical semantic descriptions of the lexicon (taxonomy, net, frame structured) and non-correlated semantic classes into which correlative or identical lexemes are placed. Difficulties of lexical stratification, especially those caused by specific ways of knowledge conceptualization are highlighted.

Keywords: *lexeme, classification, taxonomy, conceptualization, knowledge*

С.Ю. Богданова (Иркутск, Россия)

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ

В статье продолжается обсуждение проблемы лексической категоризации с позиций когнитивного подхода и прототипической семантики, в частности, формулируется новый взгляд на понятие лексико-семантической группы как категории, построенной по прототипическому принципу.

Ключевые слова: прототип, прототипическая семантика, категоризация, ЛСГ

Вопросы классификации лексических единиц по различным основаниям были одной из многих сфер, в понимание которых внесла существенный вклад И.В. Арнольд. Введение математических методов в исследование компонентов семантической структуры существительных позволило ей обоснованно разделить все существительные английского языка на 8 лексико-грамматических разрядов [Арнольд, 2010, с. 14–18]. Предложенная И.В. Арнольд методика исследования многократно применялась и применяется по сей день в исследовании лексических единиц разных частей речи, а выявленные лексико-грамматические разряды существительных (одушевленные, предметные, абстрактные, групповые и чисто собирательные, названия лица, материалов и неодушевленные существительные, употребляемые в притяжательном падеже) продемонстрировали категоризацию человеческим сознанием объектов окружающего мира.

«В настоящее время», пишет И.В. Арнольд в 1990 году, «никто уже не отрицает, что для системного представления лексики и ее успешного лексикографического описания таксономия лексических категорий представляет большой интерес» [Арнольд, 2010, с. 109]. Основопологающим для выделения лексико-грамматических категорий условием является единство обобщенного содержания и обобщенной формы. Это условие И.В. Арнольд экстраполирует в область лексики из грамматики, а именно: име-

ется в виду определение И.И. Мещанинова, считавшего, что для наличия грамматической категории требуется наличие грамматического понятия, передаваемого грамматической формой [там же, с. 110]. Для выделения лексико-семантических категорий, каковыми являются лексико-семантические группы (ЛСГ), достаточным условием, вероятно, является единство обобщенного содержания.

Выдающийся российский лингвист М.М. Покровский в 1895 году писал: «Слова соединяются (в нашей душе), независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению» [Покровский, 2006, с. 31]. Для представления того, как мы концептуализируем внутреннюю структуру лексикона, или «семантическую память», по утверждению Г. Хёрмана, используются 3 типа психологических моделей: 1) сетевая модель; 2) признаковая модель; 3) прототипы и семейные сходства (по У. Лабову и Э. Рош). То, что тесно связано в семантической памяти и в сознании, можно легко достать, и на его обработку требуется более короткое время [Hörmann, 1986, p. 147].

Говоря о смещении акцентов с объективного мира на отражение этого мира субъектом, И.К. Архипов пишет: «Поскольку реальное функционирование языка в речи происходит в жестких условиях цейтнота, исходной единицей содержания актуального слова оказывается не его семантическая структура как компонент системы языка, а его прототип» [Архипов, 2001, с. 7]. Такой подход опирается на концепт в качестве «наилучшего представителя» слова в языке, т. е. лексического прототипа. «Способность «видеть» любой конкретный предмет, по необходимости, и как «предмет вообще», сформировавшаяся как специфическая особенность мышления человека, в равной степени отражается в синкретизме древнего слова и в дальнейшем лексическом прототипе современного» [там же, с. 7]. Сегодня становится очевидным, что учёт человеческого фактора в языке привел к существенному усложнению набора признаков, выделяемых в так называемой признаковой семантике (Feature Semantics), осуществляющей языковую категоризацию в соответствии с классическим, аристотелевским, подходом к категории, и обусловил переход к новой

парадигме – прототипической семантике (Prototype Semantics) с ее признаками-атрибутами и нечеткими границами между языковыми категориями. По мнению Л.М. Ковалевой, интуитивно выявленные в ряду близких предметов или явлений признаки прототипа наиболее четко и неизбыточно позволяют определить единицу. Они не всегда обязательны, их число колеблется, они не связаны участием в оппозициях, они могут быть не очень четкими, но это лишь открывает путь к поискам какого-то перехода к предмету или явлению, в котором этот признак выражен лучше, путь к отношению переходных явлений. [Ковалева, 2012]

В психологии прототипическую единицу относят к числу самых лучших образцов (самодостаточных, неизбыточных, самых частотных), но в рамках прототипической семантики статус прототипа лексической категории ещё окончательно не определён. С одной стороны, прототип категории – это самый распространенный член во всех языках, первый, который узнают дети и который может быть заменен непрототипическими членами и т. д. [Seiler, 1989, p. 2], однако чаще его определяют как «пучок коммуникативно значимых абстрактных узуальных смыслов» [Архипов, 2008, с. 115], тем самым перенося его из материального мира в идеальный. Так, по словам Х. Зайлера, прототип может также быть результатом операций, которые протекают *в сознании* участников языковой коммуникации [Seiler, 1989, p. 2].

Процессы прототипизации удобнее всего проследить на примере предметной лексики. Более или менее четкая прототипическая семантика прослеживается у существительных, обозначающих животных, людей, предметы. Сюда же относятся и соматические существительные, обозначающие части тела, неоднократно являвшиеся объектом семантических исследований. Они представляют собой в силу конкретности и предметности и тематическую группу, и лексико-семантическую группу, которую определяют как любой семантический класс слов (лексем), объединенных хотя бы одной общей лексической парадигматической семьей (или хотя бы одним общим семантическим множителем)» [Васильев, 1971, с. 109]. «Являться частью тела» – такова общая категориальная сема у данной ЛСГ существительных.

Нам представляется, что в случае с понятием ЛСГ следует учесть мнение И.В. Арнольд о том, что переименование уже из-

вестных понятий в новые названия терминологию не улучшают [Арнольд, 2010, с. 112]. Признавая тот факт, что некоторые термины структурной лингвистики фигурируют и в когнитивной лингвистике, эту точку зрения разделяет Е.Г. Беляевская: «В лингвистических изысканиях важна не используемая терминология, а тот подход к анализу языкового материала, который реализует исследователь» [Беляевская, 2009, с. 22]. Тем не менее, необходимо оговорить новое содержание, вкладываемое в понятие ЛСГ в когнитивной лингвистике, поскольку его простой механический перенос, который наблюдается во многих работах, выполненных в русле когнитивного подхода к анализу языковых явлений, теоретически не обоснован.

Речь здесь идет о принципах отнесения слов к той или иной лексико-семантической категории. Если категория строится по классическим принципам признаковой семантики, ее члены отбираются путем оппозиций, и каждый из них обязательно содержит все признаки данной категории и противопоставлен другому члену категории по одному из дифференцирующих признаков. Если категория строится на основании сопоставления каждого потенциального члена с прототипом, в систему через отдельных говорящих могут проникнуть допущения. Это может привести к включению в категорию членов, занимающих периферийную позицию, причем даже в нескольких лексико-семантических категориях одновременно. Тем самым размываются границы данной категории.

Поясним это положение на примере. Если рассматривать ЛСГ глаголов с позиций классической признаковой семантики, как это делали многие исследователи в 1980–1990-х годах, она предстает как единая группа, так как ее базовые глаголы отличаются единством дифференциальных признаков, общностью сочетаемости. Глаголы, располагающиеся на периферии группы, входят в группу в своих неосновных значениях. Глаголы в группе связаны определенными оппозициями. Однако в таком случае исследователи неизбежно сталкивались с невозможностью распределить по ЛСГ всю лексику, и им приходилось искать обходные пути. Например, Н.В. Нетяго, наряду с ЛСГ глаголов возникновения/исчезновения, выделяет также круг глаголов, входящих в *функционально-семантический класс* глаголов возникновения/

исчезновения, в котором в отличие от ЛСГ находится около 20 глаголов окказионального употребления [Нетяго, 1989]. Таким образом, чтобы объяснить принадлежность конstituента одной группы (категории) к другим группам (категориям), в рамках признаковой семантики приходилось вводить целый ряд дополнительных терминов и делать множество оговорок. В прототипической семантике эти 20 глаголов, которые не отвечали *всем* требованиям к классическим оппозициям, были бы включены в ЛСГ, поскольку для отнесения лексических единиц к той или иной категории достаточно отношений семейного сходства между ее членами, а границы категории расплывчаты и подвижны. Подобных примеров много. Очевидна правота Дж. Тэйлора, говорящего, что существование интуитивно понятных случаев наряду с не такими уж понятными предполагает, что мы имеем дело с прототипической категорией [Taylor, 1989, p. 203].

В когнитивной парадигме ЛСГ представляет языковую категорию, построенную по прототипическому принципу и имеющую в своем составе доминанту, ядерную часть и периферию. Каждая доминанта (лексическая единица, имеющая наибольший семантический объем [Тарханова, 1988, с. 6]), а также ядро ЛСГ, как ядро любой категории, содержит члены, набор признаков которых однозначно определяет их отнесенность к данной категории, что позволяет анализировать их с точки зрения классической признаковой семантики и обеспечивает противопоставленность данной категории другим. Однако Х. Зайлер предостерегает исследователей о негативных последствиях определения категории исключительно по ее прототипическим проявлениям, так как в этом случае многие примеры нужно исключить, а это противоречит остальным доступным морфосинтаксическим и семантическим свидетельствам [Seiler, 1989].

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что ЛСГ образуют континуум, где группы «перетекают» друг в друга. Взаимосвязь ЛСГ между собой и возможность выявить у нескольких ЛСГ объединяющий компонент обсуждались лингвистами достаточно часто. Например, ЛСГ глаголов возникновения/исчезновения в русском языке исследованы в рамках уже упомянутого диссертационного исследования Н.В. Нетяго. Оказалось, что пересечение данной лексико-семантической группы с 13 другими

ЛСГ глаголов осуществляются благодаря действию нескольких факторов:

- близость категориальных сем;
- выраженность субъекта одушевленным/неодушевленным существительным;
- наличие у глаголов потенциальной семы появления/исчезновения;
- способность приобретать статус категориальных сем семами дифференциальными. Н.В. Нетяго выявила также наличие категориально-лексической семы «изменения», которую она назвала самой высокой обобщающей семой, у глаголов, по крайней мере, 14 ЛСГ (возникновения/изменения, начала/прекращения, уничтожения, повреждения и др.). По мнению автора, это свидетельствует о наличии в русском языке семантического поля изменения [Нетяго, 1989].

Пересечение ЛСГ отмечала также И.А. Крылова на материале русских глаголов речи. Внешняя структура лексического объединения имеет полевой характер и представляет собой пересекающиеся группировки единиц, а внутренняя структура ЛСГ определяется набором основных дифференциальных компонентов значения лексем, составляющих системное объединение [Крылова, 1996, с. 7].

Наше исследование английских фразовых глаголов привело к выделению лексико-семантического поля глаголов, включающего целый ряд ЛСГ, конституенты которых содержат семантический компонент «движение» в семантической структуре [Богданова, 2006, с. 65]. Данное поле имеет центр (группа глаголов движения, содержащая до 23 послелогов в индексальной пространственной парадигме, например, *go, come, run* и др.) и периферию (глаголы с наименьшим количеством пространственных послелогов, например, *tell, explain* и др.). Глаголы перечисленных групп можно отнести к единицам указательного поля языка. Диагностическим показателем явилась способность глаголов разных ЛСГ (движения, физического действия, речи, чувственного восприятия, уступки, умственной активности и т. д.) присоединять пространственно-направительные послелогии.

Как видим, подобные исследования ЛСГ позволяют выявить более крупные категории, а именно: лексико-семантические поля.

Таким образом, вопросы лексической категоризации по-прежнему представляют большой интерес и могут пролить свет на особенности восприятия мира человеком. Прототипические категории позволяют охватить практически весь лексикон языка, не оставляя «белых пятен».

Список литературы

Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. М., 2010.

Архипов И.К. Проблемы прототипической семантики // Ярославские лингвистические чтения: мат-лы науч. конф. (г. Ярославль, 9-11 окт. 2001 г.). Ярославль, 2001. С. 6–8.

Архипов И.К. Язык и языковая личность. СПб., 2008.

Беляевская Е.Г. Словообразовательная модель в структурной и когнитивной лингвистических парадигмах (традиционный vs. когнитивный подход) // Новое в лексикологии: проблемы, методы, изыскания. М., 2009. С. 13–23.

Богданова С.Ю. Пространственная концептуализация мира в зеркале английских фразовых глаголов. Иркутск, 2006.

Васильев Л.М. Очерки по семантике русского глагола. Уфа, 1971.

Ковалева Л.М. О прототипических и непрототипических единицах // Прототипические и непрототипические единицы в языке. Иркутск, 2012. С. 12–33.

Крылова И.А. Семантико-стилистическая характеристика ЛСГ глаголов речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.

Нетяго Н.В. Лексико-семантическая группа глаголов возникновения/исчезновения в современном русском языке (системная организация, связь с другими ЛСГ). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986.

Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков. М., 2006.

Тарханова Т.В. Системные отношения в лексико-семантической группе (на материале ЛСГ прилагательных, обозначающих умственные способности человека в современном английском языке). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1988.

Hörmann H. Meaning and context. An introduction to the psychology of language. NY. – L., 1986.

Seiler H. A functional view on prototypes // АКУР. № 77. January 1989.

Taylor J.R. Linguistic Categorization / 3rd edition. Oxford – NY., 2003.

Bogdanova Svetlana Yurievna (Irkutsk, Russia)

ON THE PROBLEM OF LEXICAL CATEGORIZATION

The article gives a new insight into the problem of lexical categorization from the point of view of cognitive linguistics and prototypical semantics. Thus, a new approach to the notion of a lexical-semantic group as a prototypical category is introduced.

Keywords: prototype, prototypical semantics, categorization, lexical-semantic group

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

УДК 81.0

Н.А. Абиева (Санкт-Петербург, Россия)

КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО РЕГИСТРА «ОПИСАНИЕ»

Функционально-смысловой тип речи *описание* рассматривается с позиций когнитивной семиотики. В статье доказывается, что описание могло сложиться как самостоятельный регистр только в условиях дистантных форм коммуникации *off-line*, что потребовало преобразования образно-аналогового ментального кодирования информации в вербально-логическое.

Ключевые слова: функционально-смысловые типы речи, описание, *on-line* и *off-line* коммуникация, структура коммуникативного акта

Несмотря на то, что человеческая речь воспринимается как многогранное, индивидуально-окрашенное и потому неповторимое явление, прагмалингвистические исследования убедительно показывают, что на самом деле план выражения и план содержания любого высказывания регулируются небольшим набором регистров, которые и обеспечивают все это поразительное многообразие языковой коммуникации в человеческом социуме. Речь идет о способах изложения, модусах высказывания, типах дискурса или, как их принято еще называть, функционально-смысловых типах речи. Данные явления не могут быть объяснены исключительно лингвистическими методами – хотя их проявление в речи и маркировано на разных уровнях языкового выражения, их универсальный характер обусловлен сложными механизмами, регулирующими глубинную семантику коммуникации. Именно это имеет в виду Н.С. Валгина (2003), отмечая, что «характерологические признаки текста инициируются не лексико-грамматическими структурами языка, а функцией и смыслом, которые задает говорящий» [Валгина, 2003, <http://>

evartist.narod.ru/text14/14.htm]. О функции и смысле, определяющих план выражения высказывания, стоит сказать несколько слов отдельно.

Функция сообщения задается целью коммуникации, которую преследует говорящий, или, в терминологии И.С.Алексеевой, определяется коммуникативным заданием – необходимостью что-то сообщить, констатировать, убедить в чем-то или что-то раскрыть [Алексеева, 2011]. При этом, все богатство речи парадоксальным образом обеспечивается небольшим набором таких функциональных регистров, которые сформировались за время существования вербального общения: «Столетия (если не тысячелетия) развития языка, мышления, речи выработали наиболее экспрессивные, экономные и точные способы, схемы, словесные структуры для соответствующих литературных задач» [Солганик, 2002, <http://huminst.ru/lib/>]

В лингвистической прагматике подробно описаны виды коммуникативной интенции:

- 1) сообщить, констатировать;
- 2) рассказать, изобразить;
- 3) сравнить, резюмировать, обобщить;
- 4) обосновать, доказать, опровергнуть, разоблачить;
- 5) побудить, просить, приказать [см., например, Валгина, 2003 или Константинова, 2007].

Было установлено, что между коммуникативной интенцией и функционально-смысловыми типами речи существует прямая связь – *описание, повествование, объяснение, аргументация/побуждение, инструктирование* [Werlich, 1976]. Набор этих функций признается универсальным, поскольку обеспечивает все многообразие межличностного общения в разных стилях.

Однако какое бы принципиальное значение ни имела функция, сама она является лишь результатом тех ментальных процессов, которые предшествуют речепорождению, также как и интенция зависит от эмоционально-психологического состояния говорящего. Смысл любого высказывания сначала формируется в сознании человека, и лишь затем адресант определяет тот способ выражения, который, по его мнению, будет наиболее адекватно обеспечивать передачу информации, представляющейся ему наиболее значимой на момент коммуникации.

Единство речемыслительной деятельности человека давно обсуждается в психологии и когнитивной лингвистике. Немецкий исследователь Э. Верлих [Werlich, 1976] одним из первых сопоставил мыслительные операции с функционально-смысловыми типами речи:

Мыслительные формы	Тип текстовой формы	Позиция говорящего (пишущего)
Восприятие в пространстве	Описание	Ориентация на расположение предмета коммуникации в пространстве
Восприятие во времени	Повествование	Ориентация на расположение предмета коммуникации во времени
Понимание	Объяснение	Ориентация на образование представлений
Суждение	Аргументация, рассуждение	Ориентация на отношения между понятиями и представлениями
Планирование	Инструктирование	Ориентация на осуществление действий

[Валгина, 2003, <http://evartist.narod.ru/text14/14.htm>]

На этой схеме показана связь определенных форм мысли, с закрепленной за каждой определенной обобщенной семантикой, с теми речевыми регистрами, которые выработались в процессе эволюции для наиболее полного их выражения. Очевидно, что данная классификация составлена еще с позиций функционально-прагматического подхода, но уже с учетом некоторых положений когнитивистики. В последние же годы в работах таких ведущих исследователей, как Е.С. Кубрякова (2004) и Т. ван Дейк (2006) сделан акцент на необходимости рассматривать речевую деятельность человека только в контексте его познавательной деятельности, а всю когнитивно-коммуникативную деятельность, как индивида, так и общества, изучать в совокупности, учитывая психофизиологические, социальные и культурологические факторы, непосредственно влияющие на все формы дискурсии.

Современный уровень когнитивных исследований позволяет дать более полную характеристику речевых регистров, из которых *описание* как функционально-смысловой тип речи часто упоминается как самый простой. Однако внимательное рассмотрение показывает, что это не только сложный, но и имеющий основополагающее значение для человеческой речемыслительной деятельности способ оформления высказывания.

В литературе по лингвистике и стилистике текста характеристика описания по преимуществу носит констатирующий характер. Все авторы отмечают его ориентированность на отображение пространственной картины, «населенной» предметами, окружающими наблюдателя, и отсутствие временной зависимости [Граудина, 1988], из чего вытекает цель описания – зафиксировать характерные признаки одушевленных и неодушевленных объектов. Соответственно для описания важны слова, обозначающие как сами объекты (существительные), так и их признаки (прилагательные, наречия) [Максимов, 2001]. Интенциональность высказывания находит отражение в соответствующих типах описания – *объективированном*, в котором реализуется намерение максимально реалистично описать наблюдаемое, избегая оценочности, и *субъективированном*, в котором, напротив, акцент делается на эмоциональное переживание адресанта в момент коммуникации.

Описание, как ни один другой функционально-смысловой тип речи, способствует не только созданию художественного образа в поэзии и беллетристике, но также формированию визуально-образного представления о любом предмете в нехудожественных жанрах через отображение его объективных характеристик в вербальном тексте. Описание всегда семантически насыщено, поскольку его основу составляют существительные с предметным значением [Граудина, 2005]. Такие лексические единицы имеют прямое референциальное значение и рождают в сознании слушателей, читателей конкретный образ, подкрепленный конкретно-образным тезаурусом реципиента, который сложился у него в результате собственного жизненного опыта. Вербальное описание выступает в качестве посредника между внутренними ментальными состояниями автора и читателя, но, в силу индивидуальных когнитивных особенностей каждого, а также различий

в воспитании, образовании и порой принадлежности к разным эпохам и даже культурам, это посредничество не приводит к буквальному воссозданию в сознании адресата инициального образа. В процессе декодирования вербального описания приводится в действие механизм ассоциативного мышления читателя, который неизбежно влияет на формирование в его сознании образа, отличного от образа, задуманного и созданного автором.

В лингвистике текста и стилистике описание признается одним из самых распространённых регистров монологической авторской речи в художественных текстах Нового и Новейшего времени. Часто к его услугам прибегают и собеседники, ведущие разговор, когда они делятся своими впечатлениями от увиденного. Однако устный вариант описания, несомненно, отличается от письменного, и объяснение этому следует искать в различии когнитивно-семиотических процессов, которые реализуются во время коммуникативного взаимодействия.

Прежде всего, необходимо учитывать разные условия его протекания – *on-line* и *off-line* [Абиева, 2008]. В первом случае коммуниканты находятся в одной и той же точке пространственно-временных координат, и их взаимодействие происходит не только на вербальном уровне (символьное языковое кодирование), но и включает в себя потоки перцептуально отображаемой сопутствующей информации (аналоговое кодирование), поступающей по каналам органов чувств в режиме *non-stop*. Коммуникация *off-line* (например, все виды письменной текстовой коммуникации) осуществляется в дистанционном режиме, и, поскольку участники контакта разведены во времени и пространстве, их сведения о ситуации, сопутствующей коммуникативному акту, целиком зависят от полноты контента вербального сообщения, зафиксированного на каком-либо носителе информации. Следует иметь в виду, что понятия *on-line* и *off-line* взаимодействия шире традиционно выделяемых устного и письменного вербального общения, так как обозначают явления, учитывающие многочисленные когнитивные факторы психофизиологического и социального характера.

Признавая, что описание репрезентирует восприятие наблюдателем объектов окружающей действительности, и отображает его ориентацию на расположение этих предметов относительно

себя, следует задуматься над тем, насколько конкретным и максимально приближенным к реальности оказывается письменное описание.

В эволюционном плане письменность является вторичной по отношению к устной речи, и можно было бы предположить, что ее изобретение позволило просто переложить на носитель (глиняные таблички, папирус, бумагу) уже сложившиеся в устном варианте типы оформления высказывания. Однако сопоставительный когнитивный анализ структур коммуникативных актов *on-line* и *off-line* показывает, что письменная речь требует других ментальных механизмов для переработки информации и принадлежит более абстрактным уровням мышления, нежели устная. Это справедливо для всех функционально-смысловых типов речи, но некоторые и смогли оформиться только в условиях дистанцированной коммуникации, как это, на наш взгляд, и прошло с описанием.

В режиме *on-line* межличностная коммуникация осуществляется интерактивно: адресант и адресат находятся в едином пространстве, которое выступает общим для обоих фоном ситуации общения. Биосемиотический подход позволяет описать структуру информационного обмена, производимого коммуникантами. Человек как живая система осуществляет непрерывный мониторинг данных, поступающих по разным каналам [Deason, 1997; Hoffmeyer, 2008]. Его сознание постоянно производит операции с различными типами знаковых систем:

- 1) интериоризованными аналоговыми (иконическими и индексальными), возникающими как результат отражения окружающей действительности. В ситуации «здесь и сейчас» фактор времени не играет решающей роли. Пространство же, напротив, в этих условиях доминирует, и его спонтанное отображение в сознании коммуникантов осуществляется с помощью конкретно-чувственных образов, имеющих аналоговую природу. В момент коммуникации *on-line* превалируют пространственные формы мышления (*Spatial Cognition*), которые оперируют образами конкретных объектов, окружающих коммуникантов в момент речи и непосредственно влияющих на ход коммуникативного процесса. Именно эти образы, возникающие в сознании говорящих благодаря непрерывной перцепции, создают семантически насыщенное

пространство (условия коммуникации – погода, эмоциональное состояние коммуникантов, их внешний вид, время суток и т. д.), на фоне которого вербальное общение выступает в качестве фигуры (структура «фигура – фон» признается основополагающей в когнитивной психологии – [Краткий словарь когнитивных терминов, 1996]). Совокупность конкретно-чувственных образов, на которые опираются в своем общении коммуниканты, представляют собой *тему*, т.е. информацию, которой по умолчанию владеют все собеседники. У человека восприятие основано на всем известных пяти органах чувств, из которых ведущим является зрение, что и объясняет, почему такое значение у человека играет визуальная информация и визуальные образы. Образно-пространственный тип мышления является *a priori* более древним в онтогенезе и обеспечивает ориентацию живого организма в пространстве с помощью стереотипных поведенческих схем.

2) вербально-пропозициональными (символьными). Оперирование этими ментальными репрезентациями принадлежит уровню абстрактного мышления. Если образно-пространственное мышление сформировалось для, так называемого, внутреннего пользования и не было предназначено для экстерииоризации, то очевидно, что вербально-символьные механизмы мышления появились с целью усовершенствования межличностного общения в человеческом социуме. Следует, однако, иметь в виду, что языковые средства могут репрезентировать только часть тех знаний, которые содержатся в сознании индивида, и для экстерииоризации ему необходимо сначала выделить понятийный компонент (т.е., отобразить на основе рефлексии наиболее важный сгусток информации) и облечь его в знаковую форму.

В случае с *on-line* коммуникацией мы имеем гармоничное сочетание биологически и культурно обусловленных механизмов, вербальных и невербальных форм кодирования, дополняющих друг друга. Вербальный компонент содержит только рематическую информацию, поскольку тематическая дана коммуникантам по умолчанию.

Данная характеристика когнитивно-коммуникативного *on-line* акта позволяет с уверенностью говорить о том, что такой речевой регистр как описание заведомо не мог сложиться в таких условиях, поскольку в нем не было необходимости – реальность,

данная индивиду в прямом отображении через восприятие, не нуждалась в воссоздании.

В режиме *off-line* схема коммуникативного взаимодействия меняется радикально. Происходит перераспределение когнитивных структур в пользу абстрактных форм мышления. Письменная речь целиком и полностью основана на символах – текстовая коммуникация оформляется исключительно вербально, а это накладывает целый ряд ограничений и диктует особый порядок оформления текстовой дискурсии. Для успешного протекания акта коммуникации адресат должен получить в сообщении весь тема-рематический комплекс. И если при *on-line* взаимодействии достаточно вербально закодировать только рематический компонент (поскольку тема обозначена паралингвистическими средствами), то в условиях письменной коммуникации *off-line* не только тема, но и тема подлежат вербальному кодированию: в противном случае у реципиента возникнет когнитивный диссонанс.

Именно потребность в дистанцированной передаче тематической информации (как чисто описательного, так и объяснительного характера) должна была способствовать формированию функционально-смыслового типа речи *описание* в ходе эволюции мышления и языка. Речь линейна и в принципе не способна одномоментно отобразить ситуацию, объект или явление со всеми их признаками, какими они представлены на образно-пространственном уровне. Даже в том случае, если подлежащий описанию объект является многокомпонентным, он всё равно воспринимается наблюдателем в виде цельного образования и вопрос о соотношении частей требует дополнительной мыслительной работы. Для того чтобы составить описание, т. е. произвести символьное означивание, скажем, места действия, адресант должен скомпоновать абстрактную модель описываемой ситуации, которая перестает быть привязанной к конкретной обстановке. Отправитель должен перекодировать информацию, хранящуюся в его сознании, из аналоговой формы в вербально-символьную.

Поскольку конкретно-чувственные образы являются целостными (например, пейзаж), необходимо разделить их на составляющие их компоненты (лес, река, луг, цветы), подобрать языковое выражение для каждого, отобразив все их существенные признаки – форму, текстуру, цвет, состояние и пр. Кроме того, следует

указать их пространственное расположение относительно друг друга и относительно местоположения наблюдателя. Все это предполагает наличие развитых абстрактно-аналитических способностей у обоих коммуникантов, и полнота декодирования письменного описания адресатом зависит от умения адресанта осуществить перевод своих образных впечатлений в вербальный текст.

Таким образом, будучи инициированным фрагментом конкретной реальности, воспринятой отправителем сообщения *on-line*, вербальное описание как речевой регистр целиком основано на рефлексии и есть продукт речемыслительной деятельности в режиме *off-line*. Данный регистр регулирует как порождение текста автором, так и восприятие текста адресатом, который извлекает из закодированных дискретными языковыми единицами фрагменты картины мира автора и вновь соединяет их в единое целое, опираясь на собственный образный тезаурус.

Список литературы

Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учебное пособие. СПб., 2011.

Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста. Тбилиси, 1986.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. М., 1996. С.187-189.

Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: Курс лекций. Тула, 2007.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.

Abieva N.A. The Role of Off-line Communication in Human Evolution // *Biosemiotics*. 2008. Vol. 1(3). P. 295–311.

Deacon T. *The Symbolic Species*. N.Y., 1997.

van Dijk T.A. *Discourse, Context and Cognition // Discourse Studies*, 2006. Vol. 8 (1). P. 159-177.

Hoffmeyer J. *Biosemiotics: An Examination into the Signs of Life and the Life of Signs*. Scranton and London, 2008.

Werlich E. *A Text Grammar of English*. Heidelberg, 1976.

Электронные источники

Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. М., 2003. // [сайт]. URL: <http://evartist.narod.ru/text14/01.htm> (дата обращения 19.03.2012).

Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. М., 1997. // [сайт]. URL: <http://www.huminst.ru/lib/> (дата обращения 20.03.2012).

Abieva Nataliya Alexandrovna (Saint Petersburg, Russia)

COGNITIVE AND SEMIOTIC MODEL OF DESCRIPTIVE DISCOURSE

Descriptive discourse is analyzed from the cognitive semiotics approach. It is shown that description could evolve as a distinctive speech form only in terms of distanced (*off-line*) communication that demanded transformation in the mental sphere – from image-holistic into verbal-logistic.

Keywords: text forms, description, on-line and off-line communication, structure of a communicative act

И.К. Архипов (Санкт-Петербург, Россия)

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛЬНОСТИ КОГНИТИВНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР: «ПРОВОКАЦИИ» ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Статья посвящена сопоставлению постулируемых когнитивных и языковых структур сознания и их функционирования, с одной стороны, и подхода с позиций когнитивной теории, с другой. В качестве метода исследования используется наблюдение речевого поведения коммуникантов; взаимодействие структур описывается на модели поведения индивидуального носителя языка. Изучение абстрактных структур можно заменить демонстрацией эвристического поиска, используемого индивидуальной языковой личностью в качестве метода исследования.

Ключевые слова: когнитивные и языковые структуры, биология познания, биосемиотика, вывод значения, речевое поведение, гештальт

С одной стороны, казалось бы, в настоящее время факт существования когнитивных и языковых структуры в организмах вида *homo sapiens* уже не вызывает сомнений. Однако, представления о языке как о явлении, противопоставленном человеку, или, точнее, сосуществующем с ним, продолжают появляться на страницах научной литературы.

Так, в достаточно определенной и красочной форме предстают язык и его носитель – коммуникант в следующем описании причин «нарушения порядка слов в предложении»: «нарушение синтаксических способов выражения элементов тождества референции и коммуникативной связности контекста (рассматривается) как результат активного участия говорящего субъекта в формировании высказывания» [Гагарина, 2003, с. 15]. Можно полагать, что «положительная» оценка языкового поведения коммуникантов, типа заимствованной из служебных характеристик и подчеркивающая, что они «активно трудятся» на ниве коммуникации здесь не случайная оговорка, но выражение позиции. Коммуникативный акт описывается как взаимодействие двух контрагентов – языковой личности и некоей силы или ме-

ханизма и действуют они как (co)-участники. Роль второго нераскрытого партнера, очевидно, играет «язык». Его самостоятельное существование в объективном мире («out there») ощущается как аксиома. Иногда его ищут и находят в словарях и описаниях грамматики. В любом случае, это – нечто, что «предстоит, предшествует» реальным актам коммуникации. Наш автор рассматривает его как один из факторов создания высказывания: говорящий следит за его действиями и по необходимости подключается «более активно» к происходящему на его глазах процессу создания его собственного (!) высказывания. По мере успокоения страстей он может расслабиться и спокойнее наблюдать за процессом со стороны. В рамках той же гипотезы, примерно таким же образом «разводятся» язык и мышление при анализе метафоры, которая «рассматривается не только как явление языка, но и как явление мысли» [Мангова, 2008, с. 187].

По данному поводу можно иронизировать, потому этой гипотезе противостоит более реалистическая концепция. Поскольку в объективном мире нет информации, «ждущей своего высвобождения», то есть чего-то, что является информацией само по себе (pre-existing) [Reeke, Edelman, 1988], то человек никогда не получает «готовое» знание [Мамардашвили, 1999, с. 109, 112, 115], и всё знание он создает сам. Естественно, что ему не нужны органы для входа и выхода информации, и поэтому ни те, ни другие не были обнаружены в человеческом теле [Матурана, 1995, с. 133]. Следовательно, в мире есть лишь материальные предметы и их свойства и последние становятся сигналами для тех живых организмов, которые в состоянии воспринять сигналы с тем, чтобы изменить своё состояние посредством создания нового знания [Hoffmeyer, 2010, p. 29–31]. Подобная способность и сам процесс создания собственного знания по сигналам, называются «биосемиозисом» [Steffensen et al., 2010]. В свою очередь, они имеют место в рамках явления «самопостроения» живого организма (аутопозза) [Матурана, 1995, с. 123–126]. Сказанное здесь также является гипотезой, но ей отдается предпочтение в данном сообщении, поскольку наблюдения языкового поведения интерпретируются на основе сведений о природе языка как одной из функций человеческого организма.

Продолжая разговор о биологических предпосылках языка, следует указать на фантастические скорости, на которых рабо-

тает наше сознание (pico-seconds – миллион-миллионные доли секунды [Steffensen et al., 2010, p. 239]), что обеспечивает функционирование языка в режиме быстрой речи («коммуникативного цейтнота») [Архипов, 2008, с. 215–229]. Это, в свою очередь, ставит под сомнение идею «перевода» когнитивных структур, то есть языка мозга (mentalese), который имеет единый «словарь мозга» (the mental lexicon), на конкретный язык с помощью «мысленных модулей» (mental modules) посредством сложения предложения как бы из «кирпичиков» [Pinker, 1995, p. 22]. Указанные обстоятельства намекают на то, что когнитивные и языковые структуры должны выступать как минимум в виде неких гештальтов. Можно полагать, что на эту роль может претендовать слово, или мысль, облеченная в языковую форму. Действительно, можно полагать, что механизм человеческого познания сводится к процессу и отношению «что познал, то и назвал». Иными словами, по ходу данных процессов в организмах homo sapiens чувство уверенности в своих отношениях с окружающей средой складывается не раньше того, как человек дает предмету, явлению или их отдельному признаку имя [Кубрякова, 2009, с. 22–25; Кравченко, 2007, с. 12–13].

В свою очередь, это чувство, как и всё знание, формируется в процессах обмена сигналами со своей нишей окружающей среды с целью приспособления к ней и, далее, чтобы выжить. При восприятии сигналов речевого поведения говорящего, слушающий оценивает их в форме ощущения изменений, происходящих в его теле. Оценка сигналов и вывод их значений осуществляются на основе системных значений языковых форм, то есть памяти об изменениях соответствующих состояний нервной системы в результате воздействий материальных сигналов в прошлом. Эти изменения конвенционально ассоциируются с сигналами – данными формами в лексико-семантической системе индивидуального языка. В результате координации оценок изменений в теле под влиянием форм-сигналов и сопоставления с системными значениями степень неопределенности значения каждой формы снижается до уровня осознания их актуальных значений. Оценка и их координация контролируются внутренними ощущениями предполагаемой адекватности речевого поведения своего тела системным значениям слов в условиях данного контекста.

На основе осмысления комплексов подобных наблюдений изменений своей внутренней и внешней среды слушающий сводит неопределенность содержания происходящего «взаимодействия взаимодействий» [Кравченко, 2001, с. 227–237] в данном акте коммуникации к нулю, то есть догадывается о нем.

Поскольку мы видим, что весь механизм семиозиса в конечном счете сводится к реактивному поведению тканей тела, то описанное функционирование выглядит как примеры автоматизма адекватной функции всего тела, натренированного жизненным опытом коммуникации. Весь механизм срабатывает в каждом адекватном акте устной коммуникации и поэтому когнитивные и языковые структуры очевидно неразделимы (*they arise in union*). Это подтверждают данные, продемонстрировавшие, что акты (*events*) познания не локализованы (*cognition is not localized*) [Steffensen, Cowley, 2010, p. 336–351], и поэтому нет возможности определить переходы от одной стадии познания к другой, указать точку начала и конца нахождения конкретной структуры «в пространстве» тела.

Тем не менее, нетрудно догадаться об источниках представлений об обсуждаемых структурах. Ясно, что они возникли у лингвистов и у любых носителей языка при чтении или письме. Действительно, устная речь и письменная коммуникация не являются аналогами, и наоборот [Линелл, 2009], и достаточно вспомнить, как мы пишем: никогда строка не оказывается на бумаге в тот миг, как мы «подумали», что написать. Она либо сопровождает пишущую руку, либо «прокручивается» с вариациями, пока не появляется удовлетворительная форма. Действительно, ощущение перевода с языка мысли на язык слов присутствует в разной степени и, в первую очередь, в обратной зависимости от искусства писать. Эта практика внутреннего «проговаривания» готовящегося текста естественно фиксируется сознанием лингвистов и ложится в основу теорий «языка мозга». Должно ли это быть лишь предметом иронии? Нет, не должно. Потому, что всё, что оказывается не соответствующим действительности, но существует и тем более, если наблюдается в массовом масштабе, оказывается способом описания. И «раздельное существование» того, что подумал и того, что сказал, является неотъемлемым правом и особенностью каждого коммуниканта просто потому, что ему и им всем «так

легче договориться». И это тоже не должно вызывать усмешку, так как основная функция и эффективность языка заключается не в «познании объективного мира» (он этому способствует), а в обеспечении средств («хоть как-то договориться»). Следовательно, лингвисты имеют право (и им никто не может запретить) пользоваться «структурами» и «категориями», например, для построения классификаций, однако относиться к этому следует как «способу договориться» и не более того.

Если вернуться к (устному «истинному») языку, то есть поведению, взаимно-ориентирующему коммуникантов на выведение смысла (language as a natural phenomenon – a kind of dynamically complex patterned behavior [Kravchenko, 2010, p. 683]; dynamic behavior distributed across time, space and bodies behavior grounded in the physical context of the here-and-now [Kravchenko, Grammar as semiosis...in press]), то всё обстоит несколько иначе и всё, о чем речь шла выше, оказывается где-то «внутри» этого сложного поведения коммуникантов. Для этого, несомненно, понадобится новый метаязык, который предстоит создать.

Список литературы

- Архипов И.К. Язык и языковая личность. СПб., 2008.
- Гагарина Л.С. Вертикальный контекст речи (к проблеме СФЕ, содержащего несобственно-прямую речь). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Архангельск, 2003.
- Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск, 2001.
- Кравченко А.В. Гипотеза Сэпира-Уорфа в контексте биологии познания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. №7. Тамбов, С. 5–13.
- Кубрякова Е.С. О когнитивных процессах, происходящих в ходе описания языка // Когнитивные исследования языка. Вып V. Исследования познавательных процессов в языке. Москва – Тамбов, 2009. С. 22–29.
- Линелл П. Письменная языковая предвзятость лингвистики как научной отрасли // *Studia linguistica cognitiva* II. Наука о языке в изменяющейся парадигме знания. Иркутск (2005), 2009. С. 153–191.

Мамардашвили М.К. О призвании и точке присутствия // Конгенитальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М., 1999. С. 93–124.

Мангова О.Б. Фреймовый анализ полисемантической экономической терминологии // Вестник МГЛУ. Выпуск 544. Тенденции развития английского лексикона: вариативность и многозначность единиц языка. М., 2008. С. 186–195.

Матурана У. Биология познания // Язык и искусственный интеллект. М., 1995. С. 95–142.

Hoffmeyer J. A biosemiotic approach to health // Signifying Bodies: Biosemiosis, Interaction and Health. Braga, 2010. P. 21–41.

Kravchenko A.V. Grammar as semiosis: defining new agenda (in press).

Kravchenko A.V. Native speakers, mother tongues and other objects of wonder // Language Sciences. 2010. Vol. 32. № 6. P. 677–785.

Pinker S. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York, 1995.

Reeke G. N., Edelman G. M. Real brains and artificial intelligence // Daedalus. 1988. Vol. 117. № 1. P. 143–174.

Steffensen S.V., Cowley S.J. Signifying bodies and health: a non-local aftermath // Signifying Bodies: Biosemiosis, Interaction and Health. Braga, 2010. P. 331–356.

Steffensen S.V., Thibault P.J., Cowley S.J. Living in the social meshwork: the case of health interaction // Signifying Bodies: Biosemiosis, Interaction and Health. Braga, 2010. P. 207–244.

Archipov Igor Konstantinovich (Saint Petersburg, Russia)

**ON THE ONTOLOGICAL STATUS OF COGNITIVE
AND LANGUAGE STRUCTURES: A “PROVOCATION”
FROM THE WRITTEN LANGUAGE BIAS IN LINGUISTICS**

The paper deals with a clash between postulated cognitive and language structures and cognitive approach. The importance of heuristic method is discussed. Descriptions of mental structures and their functions are generally based on various assumptions which, however, seem to deal with abstractions as if they were entities. That can be avoided if emphasis is

placed on observations of communicative behavior rather than speculations as methods of research. It is suggested that the processes under study be simulated on a model of an individual cognizer. It is argued that the above postulate cannot be dispensed with unless heuristic behavior of an individual is integrated with a research agenda.

***Keywords:** cognitive and language structures, biology of cognition, biosemiotics, inferencing, communicative behavior, gestalt*

УДК 81.111

*Т.С. Бабарыкина (Северодвинск, Россия)***КОНЦЕПТ *CHILD* В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. К. РОУЛИНГ**

В статье рассматриваются особенности феномена «ребенок» в произведениях английской писательницы Дж. К. Роулинг. В центре внимания оказываются концептуальные признаки художественного концепта *CHILD*, выявленные на основе анализа контекстов, извлеченных методом сплошной выборки из произведений Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере.

Ключевые слова: феномен, художественный концепт, концептуальный признак, слой

Ребенок – это многомерный психосоциальный и культурный феномен, а детство является объективно неизбежным периодом человеческой жизни, одной из стадий развития индивида. Представляя собой социальную ценность в обществе, ребенок выступает как особый обобщенный субъект многоплановых, разнохарактерных отношений.

Научный интерес к ребенку и само современное понятие детства возникли относительно недавно, и хотя отнесение «открытия детства» к строго определенному историческому периоду вызывает сомнения у специалистов, все они соглашаются с тем, что Новое время ознаменовалось более четким различием детского и взрослого миров, ростом интереса к ребенку во всех сферах культуры, признанием за ним автономной социальной и психологической ценности [Кон, 2003].

Примечательным явлением современной английской литературы стало творчество Дж. К. Роулинг. С произведений этой английской писательницы начался новый этап в развитии детской литературы [Васильева, 2005].

Книги Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере порой называют культовыми [Бревнова, 2005]. Их необычайная популярность, распространившаяся на десятки стран всех континентов, вызвала большой резонанс в культурных кругах и нашла разнообразное

проявление. Несмотря на то, что произведение было адресовано детям и подросткам, интерес к нему продемонстрировали представители разных социальных и возрастных категорий. Произведение в жанре «фэнтези» пробуждало воображение читателей: миллионы людей по всему миру были покорены необычайно правдоподобным и завораживающим миром, который создала Дж. К. Роулинг. Об успехе произведений английской писательницы свидетельствуют данные официальных хит-парадов и опросов, высокие тиражи видео- и аудиоизданий и выпуск весьма востребованных в разных странах товаров, несущих атрибутику мира Дж. К. Роулинг [Бирюкова, 2004]. На неподдельный интерес к истории мальчика-волшебника указывает существование некоммерческих обществ поклонников творчества Дж. К. Роулинг: вокруг главного героя организовалось «движение» – «поттеромания», «поттеризм», существующее в основном виртуально и генерирующее произведения по мотивам книги-источника [Прасолова, 2009].

Ребенок является важной категорией, которая определяет специфику британского общества, формирует основные параметры образа мира в английской культуре, в искусстве и художественной литературе, и в частности, в творчестве английской писательницы Дж.К. Роулинг. Это приводит к выводу о возможности рассмотрения феномена «ребёнок» как художественного концепта.

Под художественным концептом понимается ментальное образование, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной деятельности личности и общества, несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, представленное в тексте посредством единиц языка и способное выступать в качестве материала при формировании новых художественных смыслов.

Художественный концепт CHILD в творчестве Дж. К. Роулинг рассматривается в совокупности двух слоев (образного и оценочного) на основе анализа 8148 художественных контекстов. Каждый слой структурируется определенными концептуальными признаками, которые не совпадают между собой ни количественно, ни качественно.

Образный слой художественного концепта CHILD структурируется концептуальными признаками, выявленными на основе зрительного и слухового модусов перцепции. Зрительный модус восприятия является базовым для 26 концептуальных признаков: «*colour of face*», «*colour of eyes*», «*colour of hair*», «*colour of ears*», «*colour of hands*», «*colour of lips*», «*colour of skin*», «*colour of eyebrows*», «*colour of forehead*», «*size of lips*», «*size of hands*», «*size of eyes*», «*size of hair*», «*size of teeth*», «*size of body*», «*size of nose*», «*size of face*», «*size of shoulders*», «*size of mouth*», «*form of nose*», «*form of face*», «*form of eyes*», «*form of hair*», «*injury of skin*», «*dirt on skin*», «*mimics*». Таким образом, Дж. К. Роулинг, рисуя детей, обращается к описанию, главным образом, деталей внешности детских персонажей: цвету, форме, размерам тела / частей тела ребенка, повреждению и загрязнению кожного покрова, мимике.

Цветовыми характеристиками наделяются лицо, глаза, волосы, уши, руки, губы, брови и лоб ребенка. Вместе с тем наиболее часто обращение к названиям цветового спектра наблюдается при описании лица, глаз и волос. Например: «*How are you doing that?*» demanded Hermione, who was **red-faced** ... [Rowling VI, p. 190]; His **light gray eyes** narrowed [Rowling VI, p. 112]; ... Harry looked around and saw that Ron and George were sitting at the scrubbed wooden table with two **red-haired** people Harry had never seen before, though he knew immediately who they must be [Rowling IV, p. 60].

Концептуальный признак «*size of body*» репрезентирован через вертикальную оппозицию «высокий – маленький» и горизонтальную оппозицию «худой – толстый». Например: ... «*Shut up,*» said Ron again. He was almost as **tall** as the twins already and his nose was still pink where his mother had rubbed it [Rowling I, p. 96]; ... A **skinny** boy of fourteen looked back at him, his bright green eyes puzzled under his untidy black hair... [Rowling IV, p. 23]; ... Malfoy's **thin mouth** was curving in a mean smile ... [Rowling III, p. 127]; «*You're – you're writing to him, are you?*» said Uncle Vernon, in a would-be calm voice – but Harry had seen the pupils of his **tiny eyes** contract with sudden fear [Rowling IV, p. 42].

В образном слое художественный образ ребенка воссоздается описаниями формы его носа, лица, глаз и волос. Например: ...

Karkaroff beckoned forward one of his students. As the boy passed, Harry caught a glimpse of a prominent curved nose and thick black eyebrows... [Rowling IV, p. 272]; Draco Malfoy, who was Snape's favorite student, kept flicking puffer-fish eyes at Ron and Harry, who knew that if they retaliated they would get detention faster than you could say «Unfair» [Rowling II, p. 186] и др.

Анализ визуально воспринимаемых характеристик детских персонажей показал, что представление о художественном образе ребенка складывается также за счет описаний особенностей его кожи. К особенностям детской кожи мы относим, во-первых, различные повреждения кожных покровов: шрамы, веснушки, синяки и ожоги. Например: «*And that's where...» Mr. Ollivander touched the lightning scar on Harry's forehead with a long, white finger [Rowling I, p. 83].*

Посредством цветовой концептуализации внешнего вида детских персонажей передаются определенные состояния их внутреннего мира или физиологические состояния.

Слуховой модус перцепции репрезентирован через концептуальные признаки «*loudness*», «*articulation*», «*tempo*», «*vocal features*», «*tone*». Например: *Goyle reached toward the Chocolate Frogs next to Ron – Ron leapt forward, but before he'd so much as touched Goyle, Goyle let out a horrible yell... [Rowling I, p. 109]; «You don't think they've been hurt, do you?» whispered Hermione... [Rowling I, p. 255]; «Ask her if she saw anything» Harry mouthed at Hermione [Rowling II, p.156] и др.*

Признак «*articulation*» в образном слое художественного концепта CHILD закрепляется контекстах, описывающих заикание, протяжное произношение, манеру говорить сквозь зубы, сдавленную манеру говорить, невнятную речь, четкую речь, ворчание, стоны и хныканье. Например: «*We were – we were—» Ron stammered ... [Rowling II, p. 288].*

Концептуализация звуковых образов осуществляется через концептуальные признаки «*sounds of inanimate nature*», «*sounds uttered by a person*» и «*voice of a child*». Например: *Harry was relieved to hear the lunch bell... [Rowling II, p. 94]; Harry heard the grinding of the benches and then the sound of the Slytherins trooping out on the other side of the Hall... [Rowling VII, p. 610]; ... He heard Hermione whisper, «It's bewitched to look like the sky*

outside. I read about it in Hogwarts, A History» [Rowling I, p. 116] и др.

Изучение оценочного слоя художественного концепта CHILD показывает, что в романах Дж. К. Роулинг детские персонажи и окружающий их мир оцениваются, в первую очередь, с эмоциональной и только затем с эстетической и утилитарной точек зрения.

Эмоциональная оценка репрезентирована через концептуальные признаки «*hatred*», «*punishments for children*», «*threat*», «*mockery*», «*happiness*»; эстетическая оценка – через концептуальные признаки «*beauty*» и «*ugliness*»; утилитарная – через концептуальный признак «*harm, making by a child in tantrum*».

Концептуальный признак «*hatred*» актуализируется в тех случаях, когда оценка исходит от детского персонажа и направлена по отношению к другим персонажам. Например: *Harry had never believed he would meet a boy he hated more than Dudley, but that was before he met Draco Malfoy...* [Rowling I, p. 143].

Негативная оценка взрослыми персонажами поступков детей находит выражение в системе наказаний. Например: *Being shut in a dungeon for an hour and a half with Snape and the Slytherins, all of whom seemed determined to punish Harry as much as possible for daring to become school champion ...* [Rowling IV, p. 326].

В художественных контекстах концептуальный признак «актуализируется только от ребенка к ребенку или от ребенка к взрослому. Например: ... *He tried not to look at Malfoy, Crabbe, and Goyle, who were shaking with laughter* [Rowling I, p. 137].

Негативная оценка, приписываемая поступкам детей, репрезентируется в концептуальном признаке «*threats*». Например: «*I'm warning you,*» *he had said, putting his large purple face right up close to Harry's, «I'm warning you now, boy – any funny business, anything at all – and you'll be in that cupboard from now until Christmas»* [Rowling I, p. 24].

Концептуальный признак «*happiness*» в рассматриваемом художественном произведении ассоциируется с восхищением, радостью и восторгом. Например: «*Hermione!*» «*Harry – you're a great wizard, you know*» [Rowling I, p. 286].

Эстетическая оценка проявляется в оценке детских персонажей глазами других персонажей и оценке действительности ре-

бенком. Позитивная эстетическая оценка детских образов содержится в концептуальном признаке «*beauty*»: *The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere* [Rowling I, p. 1]. Концептуальный признак «*ugliness*» содержит негативную эстетическую оценку ребенка: *Riddle's face contorted. Then he forced it into an awful smile...* [Rowling II, p. 317].

В целом, эстетическую оценку в романах Дж.К. Роулинг получает внешность персонажа; эта оценка чаще отрицательная.

Утилитарная оценка актуализируется через концептуальный признак «*harm making by a child in tantrum*»: *At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley good-bye but missed, because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls* [Rowling I, p. 2].

Таким образом, феномен «ребенок» в произведениях Дж. К. Роулинг представлен достаточно подробно, что позволяет говорить о детализации картины мира английской писательницы.

Список литературы

Бирюкова А.Ю. 1000 вопросов и ответов о Гарри Поттере. СПб, 2004.

Бревнова Ю.С. Становление и развитие молодежного культа на основе литературного произведения: На примере серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Дис. ... канд. культурологии. М., 2005.

Васильева Н.И. Фольклорные архетипы в современной массовой литературе: романы Дж.К. Роулинг и их интерпретация в молодежной субкультуре. Дис. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 2005.

Кон И.С. Ребенок и общество: учебное пособие. М., 2003.

Прасолова К.А. Фанфикшн: литературный феномен конца XX – начала XXI века (творчество поклонников Дж.К. Роулинг). Дис. ... канд. филол. наук. Калининград, 2009.

Rowling J.K. *Harry Potter and the Sorcerer's Stone*. N.Y., 1998. (Rowling I)

Rowling J.K. *Harry Potter and the Chamber of Secrets*. N.Y., 1999. (Rowling II)

Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. N.Y., 1999. (Rowling III)

Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of the Fire. London, 2000. (Rowling IV)

Rowling J.K. Harry Potter and the Half-Blood Prince. N.Y., 2005. (Rowling VI)

Babarykina Tatyana Sergeevna (Severodvinsk, Russia)

THE «CHILD» CONCEPT IN THE WORKS BY J.K. ROWLING

The given article is devoted to the peculiarities of the description of a child in the works by J.K. Rowling. In the focus of attention there are the essential features of the concept CHILD, revealed on the basis of analyzing the contexts elicited by way of continuous sampling from J.K. Rowling's books about Harry Potter.

Keywords: phenomenon, conceptual feature, layer

О.А. Березина (Санкт-Петербург, Россия)

СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНИЦИАЛЬНОГО ПРОНОМИНАЛА *it* В АНГЛИЙСКИХ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Структура безличного предложения в английском языке с необходимостью предполагает двусоставность, где субъектная позиция занята прономинальным элементом *it*, о статусе которого давно ведутся споры среди лингвистов. Также требующим своего решения остается вопрос о семантике инициального элемента и его «вклада» в общую синтаксическую безличную семантику.

Ключевые слова: личное местоимение, коммуникаторные / некоммуникаторные местоимения, амбиентность, грамматическое лицо, формальное подлежащее

Отличительной чертой английского безличного предложения (в традиционной терминологии) является обязательное наличие инициального элемента прономинальной природы «*it*». Причины наличия этого элемента в структуре английского безличного предложения получали различное толкование. Несомненно, что данный инициальный элемент морфологически принадлежит классу местоимений, поэтому необходимо рассмотреть его эволюцию и статус внутри лексико-грамматической категории местоимений, а также исследовать семантику данного элемента как дискретно, так и в соотношении с другими элементами данного лексико-грамматического класса.

На современном этапе развития лингвистики антропоцентричность языка уже ни у кого не вызывает сомнений: для многих языковых значений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчёта. Глагольные грамматические категории, формирующие предложение-высказывание, обусловлены, с одной стороны, онтологией, с другой стороны, гносеологией. Выбором говорящего определяются модальность, залог и лицо, которые обслуживают необходимые в данном случае коммуникативные функции языка. Темпоральность, аспектуальность и

число связаны с отражением ситуативных условий общения, т.е. с отражением мира в сознании человека. Из всех категорий категория личности/безличности оказывается в наибольшей степени зависящей от выбора самого говорящего. Это обусловлено тем, что категория лица относится к шифтерным категориям, ориентированным на прагматику высказывания, т.е. на установление связи между его пропозициональным содержанием и прагматическим компонентом, отражающим особенности речевого акта – лицо соотносит аргументы прагматического (речеактового) и семантического (пропозиционального) компонентов высказывания, указывая либо на тождество, либо на нетождество говорящего и субъекта действия [Богданов, 1990, с. 76].

Категория лица актуализируется в рамках двух лексико-грамматических разрядов слов – местоимения и глагола. Причем реализуется данная категория в местоименной и глагольной семантике по-разному. Если у глагола – это компонент грамматического значения, составляющего основу категории согласованности, формирующей предикативное отношение (см. [Виноградов, 1947; Шахматов, 1941]), то у личного местоимения (понимаемого в широком смысле – т. е. включая поссесивные и возвратные местоимения, генетически связанные с личными) значение персональности – это часть денотативного содержания.

По поводу местоимений, находящихся в фокусе данной работы, существует несколько точек зрения:

- местоимения – языковые единицы, значение которых зависит от ситуации и является каждый раз новым [Смирницкий, 1957; Кацнельсон, 1972];
- сущность природы местоимений – в их способности выражать отношения, связанные с актом речи и говорящим [Пешковский, 2001, гл. 8; Якобсон, 1972];
- местоимения – одно из главных средств установления референтной отнесенности высказывания [Падучева, 1985].

Таким образом, разнообразие трактовок подтверждает возможность неоднозначного подхода к классу местоимений в целом и к анализу его отдельных представителей, а также свидетельствует о широте и вариативности их функциональных значений. Что же касается парадигматических отношений и синтагматического потенциала собственно личных местоимений, то можно сказать, что

традиционно личная парадигма строится на противопоставлении трех лиц: лицо говорящего (1-е лицо), лицо адресата-слушающего (2-е лицо) и лицо неучастника коммуникации (3-е лицо) – «Три лица – это три основные точки языкового сознания...» [Пешковский, 2001, с. 317].

Семантика лица как категории, однако, не является системой дискретных значений с четко очерченными границами, но представляет собой полевую структуру, сформированную на основе категориального принципа, где можно выделить центральную область и периферию. Что касается центральной области рассматриваемой категории, то здесь однозначности нет. С одной стороны, отмечается уникальность 1-го лица глаголов и местоимений, репрезентирующего говорящего [Бенвенист, 1974, с. 259–269; 285–300; Падучева, 1985, с. 136–142; Бондарко, 2005, с. 26]. С другой стороны, отмечается специфическая семантика 2-го лица, лица слушающего, адресата, к тому же указывается на то, что исторически 2-е лицо, по всей видимости, «старше» 1-го лица, т. е. адресат сообщения начал осознаваться языковой личностью раньше, чем произошла самоидентификация говорящим самого себя в формах 1-го лица [Кацнельсон, 2010, с. 20–33].

Тем не менее, несмотря на разногласия среди ученых относительно центральности положения в рамках категории лица той или иной единицы, можно предположить, что центральное место в рассматриваемой категории, несомненно, принадлежит двум «коммуникаторным» значениям лица – 1-му и 2-му, ибо, по всей видимости, данные значения связаны отношениями интердепенденности, их корни лежат в той исторической области, когда началось формирование диалогической речи. Таким образом, статус значений 1-го и 2-го лица внутри категории лица не вызывает сомнений – безусловно, данные значения являются центральными. Более интересна проблема определения статуса так называемой «сферы третьих лиц» [Бондарко, 2005, с. 26], включающей собственно значения 3-го лица (как личного, так и предметного), значения обобщенно-личные, неопределенно-личные и безличные.

Особый интерес для данного исследования представляет 3-е лицо, так как традиционно употребляемая грамматическая форма так называемого безличного глагола – это, как правило, фор-

ма 3-го лица, которая в английском языке также сопровождается инициальным элементом, омонимичным форме личного местоимения 3-го лица ед. ч. Концепция функциональной грамматики в данном случае вполне четкая: ближайшая периферия, активно взаимодействующая с центром, – это значение 3-го «личного» лица, указывающего именно на лицо, а также значения обобщенности и неопределенности. На следующей ступени удаления от центра, в явно периферийном положении, находится значение предметного 3-го лица, что аргументируется противопоставленностью всех вышеперечисленных значений и значения предметного 3-го лица по признаку одушевленности (антропоморфности) – неодушевленности (вещности), а также по признаку участия – неучастия (актуального или потенциального) в акте речи. Значение форм безличности в данной концепции находится на крайней периферии, «... где признаки семантики лица отчасти размыты...» [Бондарко, 2005, с. 26].

О природе так называемого «безличного 3-го лица» существует много гипотез. В первую очередь отмечается семантическая широта местоименных и глагольных форм 3-го лица. Данному феномену дается различное объяснение. Э. Бенвенист, выстраивая личную парадигму глагола, утверждал, что собственно формами лица являются формы 1-го и 2-го лица, а 3-е лицо «... является уже в силу своей структуры неличной формой глагольной флексии» [Бенвенист, 1974, с. 264]. В системе личных местоимений 1-е и 2-е лицо обозначают двух непосредственных участников коммуникации и образуют подсистему коммуникаторных личных местоимений, в то время как 3-е лицо обозначает лица и предметы, не участвующие в акте коммуникации, и образует подсистему некоммуникаторных личных местоимений [Майтинская, 1969, с. 141–143]. Собственно именно некоммуникаторный характер 3-го лица и ведет к расширению семантики соответствующих форм. З.К. Тарланов, полемизируя с утверждением Э. Бенвениста о том, что функция 3-го лица «... состоит в том, чтобы выражать не-лицо» [Бенвенист, 1974, с. 262], объясняет специфику функционирования и семантики 3-го лица двумя факторами: во-первых, их сравнительно более поздним происхождением, а во-вторых, их неразрывной, практически генетической связью с монологической речью или текстом, т.е. «асинхронной

коммуникацией» (в отличие от форм 1-го и 2-го лица, которые, по мнению З.К. Тарланова, зародились в недрах диалога, или «синхронной коммуникации») [Тарланов, 1979, с. 70]. Таким образом, формы 1-го и 2-го лица семантически более конкретны и индивидуальны, в отличие от форм 3-го лица, совмещающих в своей семантике личное значение и значение нейтральное по отношению к лицу. А.М. Пешковский, говоря о форме безличного глагола, вводит понятие «ненастоящего 3-го лица единственного числа». И далее: «в безличном глаголе есть известный минимум лица, известный намек на лицо. Можно сказать, что при устранении какого бы то ни было лица из глагола неизбежно остается и должно остаться осознание того, какое именно лицо устранено. Поэтому наиболее точным названием было бы «глаголы с устраненным третьим лицом» и «предложения с устраненным третьим лицом» [Пешковский, 2001, с. 317].

Обратимся к материалу английского языка, т. е. рассмотрим эволюцию системы личных местоимений в английском языке. По мнению В.Я. Плоткина, в английском языке очевидно деление системы на две подсистемы: одну из них образуют личные местоимения 1-го и 2-го лица, другую – личные местоимения 3-го лица [Плоткин, 1975, с. 6]. К.Е. Майтинская объясняет глубокие различия между этими двумя подсистемами их неодинаковым происхождением. Как известно, личные местоимения 1-го и 2-го лица принадлежат к одному из древнейших слоев общеиндоевропейского фонда, тогда как личные местоимения 3-го лица возникли значительно позднее из указательных местоимений. Но длительное различие поддерживалось и поддерживается и иными факторами – семантическими и грамматическими. К первым относится оппозиция по коммуникаторности – некоммуникаторности, о чем говорилось выше. Грамматические категории реализовались в формах компонентов этих двух подсистем английского языка также неравномерно. Для коммуникаторных личных местоимений в древнеанглийском языке наиболее существенными являлись грамматические категории числа (наличие форм двойственного числа, не встречающихся у других классов именных слов) и падежа (последняя была организована совсем не так, как у существительных). Для некоммуникаторных личных местоимений наиболее релевантными были категории рода

(отсутствовавшая у коммуникаторных личных местоимений), падежа и числа (оппозиция единственного и множественного числа). В.Я. Плоткин отмечает, что для древнеанглийского лично-предметного некоммуникаторного местоимения характерны существенные грамматические отличия от коммуникаторных личных местоимений (отсутствие форм двойственного числа, отсутствие сушплетивности) и в то же время грамматическая близость к существительным и указательным местоимениям (наличие категории рода, близость форм актуализации категории падежа) [Плоткин, 1975, с. 8].

В среднеанглийский период произошла серьезная перестройка системы личных местоимений: было устранено различие по числу лиц у местоимений 1-го и 2-го лица – исчезло двойственное число, позже ослабили числовые различия у личных местоимений 2-го лица, важнейшим событием было разложение единого местоимения 3-го лица на четыре особых местоимения, поскольку родовые формы местоимения потеряли опору в грамматическом роде существительного. Описывая эволюционные изменения в системе личных местоимений в среднеанглийском языке, В.Я. Плоткин выявляет пять бинарных оппозиций признаков, которые участвуют в противопоставлении элементов системы, возникших как результат эволюционных изменений системы собственно-личных местоимений: коммуникант/некоммуникант, коммуникант активный/коммуникант пассивный, единичность/объединенность, некоммуникант мужского пола/некоммуникант без признаков пола, некоммуникант женского пола/некоммуникант без признаков пола. Далее, говорится, что «... среди некоммуникаторных личных местоимений одно – местоимение *it* – не маркировано ни по одной оппозиции. Оно не имеет положительных признаков объединенности и пола. Отсюда отличающая *it* от прочих личных местоимений широта диапазона употребления, его способность занимать в предложении и словосочетании именные позиции, не требующие никакого семантического наполнения, – позиции т. н. формального подлежащего и дополнения» [Плоткин, 1975, с. 10]. Функциональный потенциал данного местоимения в английском языке, как уже было сказано, чрезвычайно широк. В зависимости от типа предложения местоимению *it* в позиции подлежащего могут быть приписаны следующие функции:

1. личное местоимение, имеющее антецедент и замещающее его (*It is written*);

2. безличное, то есть формальный элемент, служащий лишь приметой синтаксической конструкции предложения, характеризующегося в английском языке двусоставностью (*It rains*) – в зарубежной лингвистической парадигме местоимение в такой функции называют по-разному: impersonal it [Curme, 1931, с. 7], formal it [Kruisinga, 1932, с. 265], unspecified it [Jespersen, 1937, с. 83];

3. указательное местоимение, выполняющее дейктическую функцию (*It is he*);

4. предварающее (preparatory, anticipatory) местоимение, замещающее настоящее подлежащее (*It is clear that we'll go*), по терминологии О. Есперсена – dummy subject [Jespersen, 1937, с. 83].

Взаимосвязь категорий части речи и члена предложения давно признана [Кацнельсон, 1972 и др.], и считается, что «... на инвариантном уровне структура предложения объективно соотносена с основными частями речи» [Юрченко 1979, с. 78]. Тем не менее, частеречный и сентенциональный статусы местоимения *it* вступают в некоторое противоречие, которое снимается при обращении к семантическому плану. Еще А.М. Пешковский очень тонко подметил, что 3-е лицо обозначает внешний мир, объемлющий лицо говорящего и лицо слушающего – последнее может быть личным или предметным [Пешковский, 2001, с. 317]. Из этого следует, что местоимение *it* в «безличном» употреблении ни в коем случае не является десемантизированным, или семантическим «нулем» – «пустой категорией». Д. Болинджер убедительно доказал семантическую наполненность инициального *it* в безличных структурах. Лексическое денотативное значение данного прономинала в его терминологии – амбиентность, или «всеобщность», «всеохватность» [Bolinger, 1973]. Что касается данного признака, то, по всей видимости, он реализуется все же не на уровне лексической семантики инициального *it* – лексикографические данные не отражают этого факта, однако, можно с уверенностью сказать, что признаки такого уровня абстракции могут быть элементами концептуальной структуры, т. е. лексически-репрезентируемыми концептами (см. [Березина, 2010]).

Таким образом, инициальный элемент *it* чрезвычайно «весом» в концептуальном плане – по сути, он репрезентирует весь окружающий человека мир, позволяет описывать мир и себя как бы «со стороны», также участвует в концептуализации по линии «часть – целое». Д. Болинджер также очень тонко подметил еще один облигаторный семантический признак, актуализирующийся при «безличном» употреблении инициального *it* – «непосредственная наблюдаемость» (*obviousness* – в его терминологии; см. [Bolinger, 1973]). Однако представляется, что и в этом случае включение данного признака в сферу лексической семантики языковой единицы также является слишком узким с точки зрения функционального потенциала данного прономинала. Скорее всего, признак «наблюдаемости» реализуется на синтаксическом уровне как presupпозиция наличия перцептора.

Таким образом, концептуальная структура, отражаемая в семантике местоимения *it*, является мощным средством языкового отражения «космологического объективизма» в концептуальной картине мира, когда человек представляет себя **наблюдателем** роковых процессов, в нем и вне его совершающихся.

Список литературы

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

Березина О.А. К вопросу об иерархической структуре синтаксически-репрезентируемого концепта «безличность» // Когнитивная лингвистика: механизмы и варианты языковой репрезентации: сб. статей к юбилею профессора Н.А. Кобриной. СПб., 2010. С. 200–206.

Богданов В.В. Речевое общение. Прагматические и семантические аспекты. Л., 1990.

Бондарко А.В. Полевые структуры в системе функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. СПб, 2005. С. 12–28.

Виноградов В.В. Русский язык. М.– Л., 1947.

Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Кацнельсон С.Д. Историко-грамматические исследования. СПб., 2010.

Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.

Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001.

Плоткин В.Я. Перестройка личных местоимений в истории английского языка // Исследования по германской филологии. Кишинев, 1975. С. 3–20.

Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1957.

Тарланов З.К. Глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке // Вопросы языкознания. 1979. № 1. С. 63–73.

Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.

Юрченко В.С. Структура предложения и система синтаксиса // Вопросы языкознания. 1979. № 4. С. 77–89.

Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Bolinger D.L. Ambient «it» is meaningful too. // Journal of Linguistics. 1973. Vol. 9. № 2. P. 261–270.

Curme G.O. A Grammar of the English Language. Vol. III. Syntax. Boston, New York, London, 1931.

Jespersen O. Analytic Syntax. Copenhagen, 1937.

Kruisinga E. A Handbook of Present-Day English. Part II. English Accidence and Syntax. P. Noordhoof – Groningen, 1932.

Berezina Olga Aleksandrovna (Saint Petersburg, Russia)

SEMANTIC AND FUNCTIONAL POTENTIAL OF THE INITIAL PRONOUN *IT* IN ENGLISH IMPERSONAL SENTENCES

The impersonal sentence structure in the English language is obligatorily two-member, in which the subject position is filled with the pronoun “it” whose status has been argued about by linguists. Besides, the semantics of the initial constituent under question and its contribution

towards the general impersonal semantics of the sentence structure are still a problematic issue to be solved.

Keywords: personal pronoun, communicator / non-communicator, ambience, category of person, grammatical person, formal subject

В.В. Меняйло (Санкт-Петербург, Россия)

АБСТРАКТНОЕ ИМЯ И КОНЦЕПТЫ АБСТРАКТНЫХ НОМИНАЦИЙ

Статья посвящена анализу феномена концептов абстрактных номинаций. Проводится сравнение концептов, стоящих за абстрактным и конкретным именами для выявления отличительных черт первого, и описывается соотношение абстрактной сущности и репрезентирующих концепт языковых единиц. Исходя из особенностей абстрактных концептов, предлагается ряд методов для их исследования.

Ключевые слова: концепт, абстрактный концепт, концептуальный анализ

Абстрактные концепты («концепты абстрактных номинаций» [Бабушкин, 1998]), к которым относится, например, английский концепт FREEDOM, представляют сложность для концептуального анализа. Их сущность размыта, неконкретна и субъективна по своему характеру. Их трудно классифицировать, поскольку носители языка владеют ими бессознательно, а толковые словари фиксируют лишь их общие признаки.

Вопрос об абстрактной сущности возник в рамках философии и рассматривался в работах Г. Гегеля, И. Канта, Г. Лейбница, Дж. Локка и других мыслителей. С традиционной логико-философской точки зрения абстрактные сущности считаются предметами мира идеального, противопоставленными предметам мира видимого, реального, вещного. В истории философии, до Гегеля, конкретное понималось как чувственно данное многообразие единичных вещей и явлений, а абстрактное – как характеристика исключительно продуктов мышления. Гегель рассматривал конкретное и абстрактное в диалектической связи, считая последнее этапом развития первого. В настоящий момент в философии в качестве абстрактных объектов рассматривают целостные образования, составляющие непосредственное содержание человеческого мышления (понятия, суждения, умозаключения,

законы, математические структуры и др.). Под конкретным понимается нечто реально существующее, вполне определенное, точное, предметное, вещественное, рассматриваемое во всем многообразии свойств и отношений. Конкретное в мышлении – это содержание понятий, отражающих предметы или явления в их существенных признаках. В логике деление понятий на конкретные и абстрактные является следствием различения отображения предмета и его свойства [Философский словарь, 1981, с. 11].

В психологии и когнитивной лингвистике концепты часто различаются по степени конкретности-абстрактности. Конкретные концепты («чашка», «стол», «книга», «холодный», «горький») сохраняют преимущественно чувственный, эмпирический характер и потому легко опознаются и относительно легко различаются и классифицируются. Их содержание легче проиллюстрировать демонстрацией соответствующих предметов, чем описать словами, поскольку эмпирических знаний, которые они отражают, чаще всего оказывается достаточно для осмысления этих предметов или для использования их в предметно-практической деятельности. Абстрактные концепты («управление», «демократия», «время») труднее поддаются описанию, их не так легко классифицировать. Наличие абстрактных концептов у человека определяет принципиальное отличие его мышления от мышления животных, которые мыслят концептами конкретно-чувственной природы [Болдырев, 2000, с. 26–27].

Абстрактные концепты исключают чувственный компонент и то, что не дано в конкретном наблюдении, а являются обобщающей абстракцией свойств и отношений конкретного. «Концепты этого рода больше других нуждаются в опоре на знак, они возникают и существуют на знаковом уровне сознания в результате обобщения и отвлечения от конкретности концептов-образов в их знаково выраженной форме» [Никитин, 2003, с. 22].

Абстрактные концепты репрезентируются в языке именами абстрактной семантики, когнитивное постижение которых происходит как на рациональном, так и на ассоциативно-образном уровне [Бабушкин, 1998, с. 33]. Единственное, что объективно отличает конкретное имя от абстрактного, – это «чувственно осязаемый образ означаемого», инвариантный в своих контурах для среднестатистического носителя языка. Оно наглядно, по-

скольку за ним стоят реальные и чувственно воспринимаемые вещи, след которых остается в сознании в виде прототипа – эталонного наглядного образа [Чернейко, 1997, с. 46, 57]. Однако абстрактные имена также не являются «пустыми», «безликими» сущностями, – за ними стоят личностные образы, позволяющие осознать сложные вещи посредством их сближения с физически ощутимыми, конкретными реалиями» [Бабушкин, 1998, с. 33].

Очевидно, что характер прототипа у абстрактного имени весьма специфичный, поскольку то, что стоит за абстрактным именем расположено в иной плоскости действительности, чем то, что стоит за конкретным именем. Если говорить о языке виртуальном, то прототипы всех имен принадлежат языковому сознанию – идеальному действительному миру. Если говорить о дискурсе, то прототип конкретного имени (идея) соотносится с материальным явлением в его пространственно-временной определенности через актуализацию языка (конкретно референтное употребление имени в речи). Абстрактное имя в таком типе текста не возможно по своей природе, так как оно и означает в языке, и обозначает в речи «бестелесные вещи». Десигнат абстрактного имени отражает нечто такое, информацию о чем не передаст ни одно из ощущений в отдельности, ни все они в совокупности. Если понятия, заключенные в именах «дерево» или «стол», формируются на базе ощущений, то понятия, заключенные в именах «счастье» или «свобода», формируются на базе понимания. Абстрактное имя является результатом не столько отвлечения каких-то свойств от объектов, явлений, сколько их «извлечения» из таких протяженностей, как эмоциональные состояния, социальные отношения, и таких квантов действительности, как ситуации, являющиеся пространственно-временными свойствами вещей. Однако в абстрактном мире помимо «извлечения» (обуславливающего его сложность) есть и существенные добавления (обуславливающие еще большую сложность). Их источник – представление человека о существующем мире не с позиций сущего, а с позиций должно, то есть некоего идеала [Чернейко, 1997, с. 68, 79].

Моделируемая Л.О. Чернейко шкала субстантивов по параметру «конкретность/абстрактность» демонстрирует убывание конкретности знака и возрастание его абстрактности вплоть до утраты знаком своей «знаменательности». Автор полагает, что чем

больше органов чувств активизируется в человеке в пространстве «человек-предмет», тем ближе объект к субъекту. Так, в зону конкретных имен на первую ступень шкалы, соответствующую *самому конкретному в мире человека*, помещается группа имен, попадающих в категорию «Пища», поскольку пища видима, обоняема, осязаема, вкушаема и даже слышима. На следующей ступени располагается группа имен из категории «Вещи». Сюда же попадают имена обозримых ситуаций. Имена «пожар», «взрыв», «беседа», таким образом, оказываются в группе конкретных имен ситуаций, а имена «конфликт», «война», «поражение» – на несколько ступеней выше – в зоне абстрактных имен. В следующую группу имен включены артефакты («стадион», «больница») и имена естественных объектов («ландшафт»), которые замыкают зону конкретных имен, как наиболее абстрактные из них. *Переходная зона* между конкретными и абстрактными субстантивами в моделируемой шкале – это мир невидимого, но вполне материального, мир, в центре которого стоит человек: внутренний мир физических и эмоциональных состояний и внешний мир отношений. Между именами чувств и отношений и именами оценок размещаются «имена-агрегаты», заключающие в себе идею собирательности («человечество», «народ»). *На высшей ступени абстракции* находятся имена-абсолюты, означаемое которых является объектом веры. Здесь расположена группа имен, характеризующих жизнь и ее параметры («жизнь», «смерть», «судьба») и категории мироздания («пространство», «время») [Там же, с. 103–119].

Из предложенного описания шкалы «конкретных/ абстрактных субстантивов» можно сделать следующий вывод: максимальная степень конкретности присуща реалиям, информация о которых передается пятью органами чувств, в то время как минимальная – реалиям, не поддающимся наглядному представлению. В случае «ускользающего, познаваемого скорее интуитивно, чем логически концепта, метафора становится необходимым инструментом мышления. Она нужна для того, чтобы благодаря полученному наименованию, сделать мысль одного человека доступной для других людей, она необходима и самому человеку для того, чтобы объект стал доступен его мысли. Поскольку не все объекты доступны для мышления, поскольку не обо всем

можно составить отдельное, ясное и четкое представление, сознание человека вынуждено обращаться к легко доступным объектам, чтобы, приняв их за отправную точку, составить себе понятие об объектах сложных и трудно уловимых» [Гурочкина, 2011, с. 185].

Общим свойством абстрактных имен, отражающих умопостигаемый метафизический мир, является мифологичность, определяющаяся невидимостью стоящего за именем фрагмента действительности. Чем выше находится имя на шкале «конкретность/абстрактность» и чем более оно умозрительно, тем менее вероятно его образное употребление (поскольку данное имя лишено наглядности). Однако в том случае, если сущность, стоящая за абстрактным именем, является экзистенциально значимой, имя становится метафоризируемым. Так, метафоризации подвергается индивидуально-авторский концепт FREEDOM в картине мира Дж. Фаулза. Поскольку автор постоянно обращается к осмыслению идеи свободы, ее составляющих и ипостасей, данный концепт включается в систему авторских ассоциаций и образных рядов, в результате чего абстрактное имя, репрезентирующее концепт, используется автором для апеллирования к конкретным наглядным образам: образам природы, образу дома, образу женщины.

Зачастую для актуализации абстрактного концепта, в отличие от конкретного, недостаточно значения одного слова. Концепты такого рода обычно трудно выразить одним предложением или в виде простого определения. Они требуют осмысления большого количества ситуаций, отражающих взаимосвязанные аспекты названных концептов. Абстрактные концепты часто требуют развернутых описаний – научных или словарных дефиниций, текстовых иллюстраций, примеров. Отдельные абстрактные концепты (Ср. «русский характер», «русская душа», «английский юмор», «чувство собственности») могут быть переданы только с помощью целого текста или ряда произведений одного или нескольких авторов [Болдырев, 2000, с. 28]. Примеры развернутых апелляций при репрезентации абстрактного концепта типичны для романов Дж. Фаулза. Так, вербализация концепта FREEDOM не ограничивается использованием отдельных лексем-репрезентантов. Как правило, их появление в тексте служит лишь толчком для раз-

вертывания авторских ассоциаций, сопровождается подробным комментарием или актуализирует ряд смежных концептов.

Главной особенностью абстрактного имени является то, что его инвариантное, общее для всех носителей языка содержание значительно меньше вариантной части, производной от опыта личности. В лексикографической практике эта особенность проявляется в разнообразии дефиниций, в дискурсе – в самом факте их существования, поскольку в основе отношения носителя языка к абстрактному имени лежат те представления о стоящей за ним абстрактной сущности, которые сложились в данной культуре и сохранены традицией. Целью концептуального анализа абстрактного имени является познание и понимание стоящего за ним фрагмента идеальной действительности и самого языкового сознания.

Сложившиеся в культуре представления о времени, судьбе, совести, власти, свободе, мысли и подобном отражаются в языке, в первую очередь, через несвободную сочетаемость абстрактных имен, которая была впервые независимо проанализирована Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1976], а позже В.А. Успенским [Успенский, 1979] и Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Lakoff, Johnson, 1980]. Несвободная сочетаемость является внешним, поверхностным проявлением глубинных ассоциативных контуров имени. Через сочетаемость осуществляется символизация умопостигаемой (абстрактной, отвлеченной) сущности, стоящей за абстрактным именем. Переживание абстрактной сущности индивидуумом неизбежно приводит к ее проекции на эмпирически постигаемые элементы опыта, что ведет к соединению абстрактного имени с предикатами физического действия, дескриптивными прилагательными, конкретными вещными существительными. Абстрактные имена через сочетаемость представляют стоящую за ними сущность и как активный субъект действия (агенса) чаще всего в акте персонификации (олицетворения), и как объект воздействия в акте реификации (овеществления) [Чернейко, 1997, с. 291].

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что, поскольку концепт является сложным ментальным образованием и обладает комплексной структурной организацией, при его анализе следует учитывать его тип и степень абстракции. Так, в случае

принадлежности концепта к классу абстрактных сущностей его анализ не должен ограничиваться описанием словарных дефиниций имени, репрезентирующего концепт в лингвокультуре. Такое описание даст лишь поверхностное представление о сложном умопостигаемом фрагменте действительности, который стоит за абстрактным концептом. Для конкретизации представлений необходимо искать и анализировать дополнительные средства апелляции к абстрактному концепту.

Концепт FREEDOM, занимающий ключевое место в английской национальной картине мира, относится к группе имен-абсолютов (по шкале «конкретность/абстрактность» Л.О. Чернейко), то есть находится на высшей ступени абстрактности. Все его слова-репрезентанты в английском языке отсылают не к конкретной вещественной, а к умопостигаемой сущности, представления о которой сформировались у носителей этого языка в результате ценностного осмысления событий, процессов и явлений окружающей действительности. Репрезентируемый абстрактным именем феномен свободы является экзистенциально значимым, т.е. относится к группе ценностных параметров, характеризующих жизнь. Это подтверждается метафоризацией абстрактного имени FREEDOM, его вхождением во фразеологический фонд английского языка и частотностью появления в разнообразных текстах английской лингвокультуры.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.

Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. Воронеж, 1998.

Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов, 2000.

Гурочкина А.Г. Концептуальное взаимодействие и его роль в познании // Когнитивные исследования языка. Вып. IX. Взаимодействие когнитивных и языковых структур. Москва-Тамбов, 2011. С. 183–191.

Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. СПб., 2003.

Успенский В.А. О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. С. 142–148.

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1981.

Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.

Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago, 1980.

Menyaylo Vera Vladimirovna (Saint Petersburg, Russia)

ABSTRACT NOMINEES CONCEPTS

The article is dedicated to the analysis of the phenomenon of the abstract nominee concept. In the article an abstract nominee concept is compared to the one of a concrete nominee, consequently its special features of are listed. The article also considers linguistic means of abstract nominees concepts representation and possible methods of their analysis.

Keywords: concept, abstract nominee concept, conceptual analysis

УДК 811.111'37

Н.А. Пузанова (Санкт-Петербург, Россия)

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ (КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Существование синонимических рядов в языке всегда мотивировано интерпретацией Наблюдателя, а одним из когнитивных механизмов, с помощью которого оперирует обыденное сознание, является лексический прототип. В статье показано, что динамичный характер и залог развития языка являются результатом осознания человеком своей предметной и интеллектуальной деятельности. Ментальные процессы, образуемые языковой деятельностью, порождают поведенческую реляционную динамику «организма – среды».

Ключевые слова: Наблюдатель, когнитивное взаимодействие, лексический прототип, языковая личность, коммуникация

Одной из главных тенденций гуманитарных наук во второй половине XX века, сопровождающей процесс их дифференциации и внутреннего развития, стал поиск точек соприкосновения и междисциплинарный подход для комплексного решения научных задач. В этой связи исследователи всё чаще обращаются к выработке синтетического метода к использованию данных смежных наук. Таким подходом и методом в языкознании стала когнитивная наука, которая поставила вопрос о связи языка и познания, включив в свою научно-исследовательскую парадигму данные нейробиологии, психологии, медицины и философии. Новый ракурс рассмотрения научного объекта создал своеобразную «метанауку», способную изучить когнитивные языковые структуры, отражающие способы познания человеком действительности. В центре внимания ученых оказался человек, личность, обладающая сложным внутренним миром. Обращение к «фактору человека» имело своим следствием сближение логики, лингвистики и когнитивной психологии и закономерно привело к исследованию менталистских понятий: восприятие, память и эмоциональные состояния были соотнесены с категориями знания и сознания [Щирова, 2000, с. 90–91].

В задачи когнитивной науки входит и описание/изучение систем представления знаний и процессов обработки и переработки информации, и – одновременно – исследование общих принципов организации когнитивных способностей человека в единый ментальный организм, и установление их взаимосвязи и взаимодействия [Кубрякова, 2004, с. 8–9]. Человек изучается когнитивной наукой как система переработки информации, а его поведение описывается в терминах его внутренних состояний, таких как получение, переработка, хранение, а затем мобилизация информации для рационального решения задач [Демьянков, 1994, с. 17]. Ученые, прежде всего, ставят перед собой задачу понять, как люди думают, то есть изучают когницию, осуществляемую человеком, а главной составляющей когниции является язык [Кубрякова, 1991, с. 8].

Предметом исследования в данной статье выступает механизм становления глаголов, выражающих положительную эмоциональную оценку: «to love», «to cherish», «to treasure», «to value» и «to appreciate».

На понимание реального для человека мира всегда влияли оценки, эмоции и желания. Проблема связи эмоций и когниции неоднократно обсуждалась как в теоретическом, так и в эмпирическом плане. Когниция неотделима от эмоций [Коули, 2009, с. 199]. В языковой картине мира отражен эмоциональный мир человека, что проявляется в обилии и многообразии арсенала языковых средств, призванных обозначать и выражать эмоции. Изменения в системе языка происходят в результате коммуникативной активности пользующихся этим языком. «...постепенное накопление таких изменений при определенных обстоятельствах в тот или иной момент истории языка как бы выплескивается на поверхность, меняя – иногда довольно радикально – облик структурных языковых черт предыдущего периода развития» [Ярцева, 1989, с. 124]. Эмотивная лексика отражает факт эмоционального переживания субъектом определенного объекта действительности. Когниция вызывает эмоции, эмоции же влияют на когницию, поскольку они входят во все уровни когнитивных процессов. Ведущим фактором закрепления / исчезновения глаголов-синонимов, как представляется, является выбор языковой личности – Наблюдателя во время акта коммуникации.

Современное языкознание характеризует рост интереса к концептуализации внутреннего мира человека. Невозможно представить себе жизнь, лишенную эмоций и чувств. Эмоции окрашивают наши жизненные впечатления и сообщают нам о том, кто мы, в каком состоянии находятся наши взаимоотношения с другими людьми. Лингвистика эмоций своими корнями восходит к давнему спору большой группы лингвистов (М. Бреаль, К. Бюлер, Э. Сепир, ван Гиннекен, Г. Гийом, Ш. Балли и др.) о том, должна ли лингвистика заниматься эмоциональными составляющими. Долгое время ученые расходились в решении этого вопроса. Часть из них считала, что доминантой в языке является когнитивная функция, и потому они исключали изучение эмоционального компонента из исследований о языке (К. Бюлер, Э. Сепир, Г. Гийом). Другая группа ученых (Ш. Балли, ван Гиннекен, М. Бреаль) считала выражение эмоций центральной функцией языка. Следует отметить, что традиционно рассматриваются две семиотические системы эмоций – «Body language» и «Verbal language». В общих чертах уже установлено, что первичная семиотическая система превосходит вторичную (вербальную) по надежности, скорости, прямоте, степени искренности и качества выражения и коммуникации эмоций. Однако, современная когнитивистика считает и эмоции, и язык, и тело неизменными формами, участвующими в выражении чувств. Эмоции могут быть рассмотрены как определенный культурный концепт языка. Они являются составной частью культуры любого народа и обязательно концептуализируются и вербализуются в языке. По мнению Ш. Балли, эмоциональные компоненты существуют на всех уровнях языка, что подтверждается современной лингвистикой эмоций [Шаховский, 2001; Филимонова, 2001 и др.].

На современном этапе исследований имеет место отказ от описания значений как изолированных и автономных сущностей. Такой подход являлся наследством идеологии структурализма, результатом отношения к языку как к продукту. Современные теории языка характеризуются существенно иными акцентами: с одной стороны, стремлением встроить язык в систему других когнитивных механизмов человека; с другой – объяснить связь между познанием и человеком. «Язык несет отпечаток человеческих способов освоения реальности, и в то же время, буду-

чи средством концептуализации этой реальности, воплощением языковой картины мира, накладывает отпечаток на восприятие реальности человеком» [Кустова, 2000, с. 25]. Живой язык не является создателем, а непрерывно создается языковой деятельностью наблюдателя.

В последние годы в рамках когнитивной науки появилось множество исследований, посвященных рассмотрению когнитивных и лингвистических аспектов явлений окружающего мира, сущности концептуализации и категоризации как основных познавательных процессов. Когниция рассматривается учеными как деятельность всего человеческого организма, осуществляемая в ходе его взаимодействия со средой с целью адаптации к среде для выживания. Одним из наиболее значимых исследований в этом плане, результаты которого важны в данной работе, является исследование нейробиологов У. Матураны и Ф. Варелы. Авторы предложили интересную концепцию живых систем, основанную на принципе: живые системы – это познающие системы, а жизнь – это процесс познания. В центре любого познания стоит Наблюдатель. Наблюдатель определяется как живая система с круговой организацией. Для такой системы У. Матурана использует термин «аутопоэтическая» [Матурана, 1995]. Окружающие индивида субъекты являются неотъемлемой частью его ниши, и взаимодействия с ними служат адаптации внутри ниши. Таким образом, ментальные процессы, образуемые языковой деятельностью, порождают поведенческую реляционную динамику «организма – среды» [Матурана, 1995].

Когниция динамична и ситуативно обусловлена [Жоули, 2009, с. 196], она сопряжена с коммуникацией и опирается на опытное знание. Познавательная деятельность связана с воспринимаемыми аспектами среды, корреляция с которыми ведет к приобретению опыта. Организм человека активно взаимодействует со средой, при этом все чувственные анализаторы участвуют в когнитивном взаимодействии с тем или иным компонентом среды. Репрезентации таких взаимодействий имеют устойчивый характер, при этом происходит накопление репрезентаций разного уровня сложности, образующий ментальный инвентарь памяти. [Кравченко, 2001, с. 114] Инвентарь составляет основу механизма восприятия как когнитивного взаимодействия со средой, име-

ющего ориентирующий характер. Один организм предопределяет последующее поведение другого – именно такое поведение лежит в основе дружбы и любви. Подобные отношения часто имеют положительный эмоциональный фон и выражаются лексикой с позитивной коннотацией.

Главная особенность человеческого мышления заключается в способности реагировать на различные раздражители, в том числе на звуковые – слова. Благодаря языку человек воспринимает мир и познает его в процессе общения. Коммуникация и когниция возникают при нашем взаимодействии с миром. По терминологии Хатчинса, мы то перемещаемся в пространство распределенных когнитивных систем, то выдвигаемся из него. При этом следует помнить, что наши социальные стратегии основываются на выражениях эмоций и языка [Коули, 2009, с. 197]. Люди, определенным образом приспособляются и ассимилируются, и так создают основу для совместного действия. В основе коммуникации лежит «взаимная нуждаемость». Недостаточность личности в каком-либо отношении является как бы импульсом, побуждающим искать ее восполнение в другой личности. «Общение по своей сути диалогично и диалог признаётся «естественной» формой существования языка» [Гурочкина, 2009, с. 43].

Рассматриваемые в статье глаголы «to love», «to cherish», «to treasure», «to value» и «to appreciate» выражают положительную оценку. Оценочная деятельность – неотъемлемая часть человеческого сознания. Употребляя глаголы с положительной оценкой, наблюдатель выражает отношения любви или дружеского расположения к другому человеку. Эмотивная лексика, объединенная в синонимические ряды, представляет собой определенную категоризацию окружающего мира. Синонимические ряды постоянно изменяются, так как один и тот же объект, находящийся в зоне человеческого взаимодействия, может меняться, и соответственно у наблюдателя меняются реакции на него. В концепции натурализации, слова рассматриваются как сущности, характеризующие человеческую деятельность. Таким образом, знак становится стимулятором поведения и ориентирует человека в определенной нише, адаптирует его к среде. Положительные эмоции определяют жизнеспособность человека в мире. Социальная природа человека заставляет его вступать в коммуникацию с другими индиви-

дами для адаптации в области своего существования [Матурана, Варела, 2001, с. 160–161].

Дружба – это своего рода симбиоз, взаимодействие, направленное на поддержание друг друга. Друзья часто помогают друг другу, совершают альтруистические действия, которые вызывают положительные эмоции. Наиболее часто встречающееся слово со значением друг/friend в древнеанглийском языке – это существительное «freond», образованное с помощью суффикса причастия настоящего времени от глагола «freogan/Freon» со значением «to honour», «to love». Этот глагол восходит к общеиндоевропейскому корню «prei» («to love») [ASD]. Можно сделать вывод, что в основе отношений, которые в человеческом обществе принято называть friendship/дружба лежат такие чувства, как любовь, уважение к другому человеку, а отглагольная природа существительного свидетельствует об активности предпринимаемых действий. Внутренняя прототипическая форма лексемы отражает универсальные черты положительных эмоций.

В среднеанглийский период существовало несколько омонимичных глаголов с положительной эмоциональной оценкой, выражающих чувства любви и дружеского расположения. Глагол «loven1» происходит от др.англ. *lufian* и имеет следующие значения: 1 «to feel affection or friendship for»: «чувствовать дружеское расположение»; 2. «to love (God, Christ), feel the emotion of love; behave in a loving manner» – «любить»; 3 «to love each other or one another, be or become friends» – «любить друг друга», «быть друзьями». Глагол «loven2» происходит от др.англ. «lofian» и имеет следующие значения: 1. to praise (sb. or sth.) usually for a specific act or favor, – «восхвалять», «хвалить»; 2. «to approve (sth.), agree to; consent to (an action); recommend» – «одобрять», «соглашаться»; 3. «to appraise» – «соглашаться, назначать цену». Глагол **loven3** происходит от др.англ «lof», означавшего «praise, glory, song of praise». В среднеанглийский период глагол имеет значения: «to sail close to the wind; *fig.* take unnecessary risks» – «идти под парусом», «рисковать без надобности».

Значения всех трех глаголов, как видим, близки. У первого глагола присутствует сема любви к людям, к Богу, к миру. «loven2» своим значением связан с «loven1», так как объект любви обычно восхваляется и превозносится. «loven3», вероятно, также опосре-

дованно связан с двумя другими глаголами, поскольку чувство любви и привязанности, которое один человек испытывает по отношению к другому, может нести в себе риск быть отверженным. В среднеанглийский период существовали французские заимствования: «*appreciaten*» употребляется с 1650 года со значением «*to esteem or value highly*»- «ценить, принимать»; *tresuren* – с 14 века со значением «*to value as a treasure*» – «высоко оценивать»; «*cherischen*» – с 14 века со значением «*to hold dear*» – «быть близким, дорогим»; «*valuen*» употребляется с середины 15 века и означает «*to be worth*» – «стоить, оценивать» [MED]. Форма слова не несет в себе никакого содержания, но является максимально эффективным сигналом для коммуникантов и запускает в их сознании один и тот же механизм формирования системного значения, а также вывода актуального значения из него. Значение, которое хранится у человека в сознании, характеризует индивидуальную систему языка и носит название лексического прототипа. [Архипов, 2008]. Это значение является первой осознаваемой реакцией на форму слова. Тождественность формы приводит к неудобству, в реальных речевых актах может возникнуть определенная сложность в понимании другого коммуниканта. Таким образом, у Наблюдателя был выбор – использовать форму «*loven*» для выражения понятия «любить» или использовать глаголы «*appreciaten*», «*tresuren*», «*cherishen*» и «*valuen*», которые являются уникальным способом передачи эмоций любви и дружбы. В формах рассматриваемых глаголов можно увидеть наличие общего прототипа – «выражение привязанности к другому человеку». Глаголы «*appreciaten*», «*tresuren*», «*cherishen*», «*valuen*» имели специфичные формы выражения, существовали на протяжении длительного времени наряду с формами *Loven*_{1, 2, 3} и являлись удовлетворительным средством выражения эмоционального состояния дружеского расположения. Все глаголы различались степенью интенсивности и передавали различные оттенки чувств: от осознания ценности человека или мира, их принятия, до любви и последующего восхваления и почитания. В результате, Наблюдателю приходилось делать выбор между несколькими языковыми средствами. Добиваясь снятия неопределенности в речевой коммуникации, Наблюдатель осуществил определенный выбор с целью адаптации к изменению среды. Кроме того, в среднеанглийский период существова-

ла «мода на всё французское» и высший свет общества старался употребить заимствованные слова, обозначающие чувства приязни и любви, чтобы показать свою принадлежность к элите общества. Это также способствовало закреплению глаголов в системе языка. Как следствие, глаголы *loven2* и *loven3* исчезли из языка, а их значения начали передаваться французскими заимствованиями. Существование синонимических рядов в естественном языке всегда мотивированно и обусловлено интерпретацией языковой личности-Наблюдателя.

Слово является своеобразным отправным пунктом изучения динамики языка, единицей, которая отражает окружающую нас действительность и испытывает воздействие гносеологических, когнитивных и онтологических факторов. Каждый из этих факторов имеет динамический характер, способствующий изменению слова и его внешних (экстралингвистических и внутренних) компонентов. Это свидетельствует о том, что слова участвуют в когнитивных процессах получения и обработки информации, возникающей в «результате осознания человеком своей предметной и интеллектуальной деятельности» [Лапшина, 1996, с. 13].

Список литературы

Архипов И.К. Язык и языковая личность: Учебное пособие. СПб., 2008.

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.

Гурочкина А.Г. Диалогический дискурс как среда и результат межличностного взаимодействия // *Studia Linguistica*. Вып. 18. Актуальные проблемы современного языкознания. СПб., 2009. С. 43–48.

Коули Дж. Понятие распределенного языка и его значение для волеизъявления // *Studia Linguistica cognitiva*. Вып. 2. Иркутск, 2009. С. 192–228.

Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск, 2001.

Кубрякова Е.С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 28–34.

Кустова Г.И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений // Вопросы языкознания. 2000. №4. С. 23–28.

Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова (изучение лексики в когнитивном аспекте). СПб., 1998.

Матурана У.Р. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1995. С. 95–142.

Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М., 1991.

Щирова И.А. Художественное моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе XX века. СПб., 2000.

Ярцева В.Н. Пути и формы исторических изменений языка. М., 1989.

Филимонова О.Е. Категория эмотивности в английском тексте (когнитивные и эмотивные аспекты): Дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2001.

Шаховский В.И. Когнитивные ресурсы эмоциональной языковой личности // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. Волгоград, 2001. С. 11–16.

Puzanova Natalia Aleksandrovna (Saint Petersburg, Russia)

THE SEMANTIC EVOLUTION OF THE EMOTIONAL LEXICON

Synonymic rows in the natural language are always motivated by the interpretation of an Observer on the basis of defining a lexical prototype. The article shows that the dynamic character and the base for the development of the language are the result of the ability of a language personality to interpret the acquired knowledge and to reconsider the intellectual paradigm. Mental processes generate the relative dynamics of the «body- environment» type.

Keywords: Observer, cognitive interaction, lexical prototype, language personality, communication

А.С. Румянцева (Санкт-Петербург, Россия)

МЕТАФОРА: ПРИРОДА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЧИ

Данная статья посвящена анализу природы метафоры, оснований ее разделения на языковую и речевую и основных теорий, объясняющих механизм ее функционирования в речи индивида. Особое внимание уделяется альтернативной теории механизма метафоры, в основе которой лежит понятие лексического прототипа.

Ключевые слова: метафора, механизм метафоры, языковая метафора, речевая метафора, лексический прототип

Истоки интереса к метафоре обычно связывают с именем древнегреческого философа Аристотеля, который давал ей определение как способа переосмысления значения слова на основе сходства и сопоставления, т.е. это способ называть предмет тем именем, которое ему не принадлежит. Он считал, что метафоры являются не чем иным, как скрытым сравнением. Древнеримский философ Цицерон, в свою очередь, отмечает другой аспект метафоры, а именно: это способ формирования не достающих языку значений в случае отсутствия слова, соответствующего понятию [цит. по: МакКормак, 1990, с. 360; Складневская, 1993, с. 5]. Таким образом, древние мыслители положили начало дальнейшим попыткам интерпретации данного языкового процесса.

Прежде всего, следует отметить, что традиционно выделяют две разновидности метафоры: языковая («established, dead metaphors») и речевая («novel, creative metaphors»). Впервые это различие провел Ш. Балли, который отмечал, что языковая метафора «первозданна», а речевая – является результатом «целенаправленных и сознательных поисков» [Балли, 2009, с. 333]. Согласно этой точке зрения, языковая метафора существует сама по себе и предшествует речевой. Подобное объяснение предполагает, что она существует от Бога и не предполагает никакой роли говорящего как творца «первого» высказывания.

В качестве альтернативы может быть предложено следующее понимание языковой и речевой метафор.

В речи человек использует как прямые, так и переносные значения. При использовании любых значений люди не отражают связей объективного мира, а создают те, которые соответствуют субъективной природе человеческого познания. Только в дальнейшем они устанавливают «объективные» связи на основе опытных данных [Архипов, 2008, с. 90].

В некоторых иных ситуациях индивид осознает необходимость в номинации такой реалии, для которой в его ментальном лексиконе еще нет подходящего наименования. Обязательным условием этого механизма является осознаваемое или не осознаваемое нарушение картины онтологии мира. В результате нарушаются существующие в языке правила сигнализации, т.е. сочетаемости слов. Метафорические высказывания, основанные на ассоциациях сравнения, по своей природе неточны, противоречивы и указывают на необъективные связи между предметами и признаками. Это компенсируется тем, что метафорические значения используются для «максимально быстрого» установления связей между предметами и понятиями о них [Архипов, 2008, с. 90].

Традиционно считается, что когда речевая метафора «стирается», т. е. образ, лежащий в ее основе, блекнет для носителей языка, она переходит в разряд языковых [Скляревская, 1993, с. 31; Taylor, 2002, p. 333]. Здесь, естественно, возникают вопросы о том, сколько времени должно пройти, чтобы это произошло и какие изменения образного ряда кроются за этим процессом.

Однако оставаясь в рамках реализма, можно предположить, что за каждым словом может стоять некоторое «когнитивно-информационное состояние сознания», соответствующее набору интегральных и дифференциальных признаков слова, который можно назвать его «лексическим прототипом» или «концептом», но не обязательно образом. Поэтому, очевидно, целесообразнее, прежде всего, концентрировать внимание на *механизме* переноса значений в индивидуальном сознании и, соответственно, на «ассоциации представлений и/или понятий», и только после этого интересоваться образами [Архипов, 2008, с. 92].

Используя метафору, можно сказать, что когда высказывание не соответствует реальному положению дел в мире, в сознании говорящего загорается «красная лампочка». Она стимулирует поиск ассоциаций вероятных связей между предметами для того,

чтобы вывести нужное значение, и этот механизм, очевидно, работает в любых условиях. Что же касается «языковых», «стершихся», в традиционном понимании, метафор, то к некоторым из них следует присмотреться повнимательнее. Может оказаться, что это просто не метафоры и за данной формой слова стоит новый смысл, непосредственно не связанный с мотивирующим. Это явление называется «катахрезой», и это тот случай, когда содержание соответствует не «стершемуся, побледневшему», а абсолютно иному образу [Архипов, 2008, с. 92–95].

Из сказанного следует, что, с теоретической точки зрения, традиционное разграничение языковой и речевой метафор вызывает вопросы. Языковая метафора – это то, что в результате многократного употребления в речи ощущается носителями языка как (всем) известная единица. Речевая метафора – это то, что в определенном контексте создается в речи на глазах носителя языка и еще не составляет словарной нормы. На этом различие кончается. Кроме того, их, наоборот, может объединять наличие *общего* признака, положенного в основу сравнения. Если такой общности нет, то нет и никакой метафоры.

Существует еще одна существенная проблема – интерпретация механизма метафоры. Так, традиционная лингвистика (Ф. де Соссюр) придерживается мнения о том, что границы содержания слова *четко очерчены* и каждое, в том числе метафорическое значение, каким-то образом изначально зафиксировано в голове носителя языка в виде конфигурации из основного (прямого) значения и значений, зависимых от него [Соссюр, 1977, с. 57]. Для наглядности рассмотрим пример В.Г. Гака: «Она – лиса» в значении «*хитрый человек*» [Гак, 1998, с.461]. Суть процесса употребления слова «*лиса*» в значении «*хитрый человек*», очевидно, сводится, с указанной точки зрения, к тому, что говорящий вызывает из долговременной памяти всю семантическую структуру слова в оперативную память и обзревает ее. Затем он осознанно выбирает значение, нужное в данной ситуации. Но данный подход неадекватен в жестких условиях быстрой речи, требующих мгновенной реакции и необходимости «протокнуть» большое число языковых единиц в короткое время. Кроме того, нет данных, свидетельствующих о наличии «складов» значений в долговременной памяти.

Существует также теория механизма действия метафоры на основе структуры, состоящей из ядра и периферии семантики слова. Она исходит из того же гипотетического наличия *четких* границ значения слова, которое изначально зафиксировано в памяти носителя языка. Так, номинативно-непроизводное, или прямое, значение слова «*лиса*», согласно этой теории, включает ряд сем: категориальную архисему (одушевленное существо) и родовую сему (животное) с видовой дифференцирующей семой (животное с определенными биологическими признаками), вместе составляющих ядро значения. Его периферия состоит из потенциальных сем (например, приписываемое лисе качество – хитрость). В результате метафоризации действительно можно наблюдать, что родовая и видовая семы устраняются, и актуализируется потенциальная сема. Однако в отношении того, чем инициируется этот процесс и почему он проходит именно так, можно только строить предположения. Не вызывает сомнений, что при метафорическом переносе говорящий, располагая знаниями потенциальных сем, выстраивает языковой контекст таким образом, что в семантической структуре слова слушающий, прежде всего, воспринимает периферийные признаки – он переносит эти признаки в денотативную часть, что обеспечивает понимание слова в нужном (метафорическом) значении [Гак, 1998, с. 461]. Но, как представляется, и в этом случае не учитывается время необходимое на обработку сообщения.

Практически тот же подход характеризует два следующих механизма, хотя они, как представляются, больше соответствуют действительности, так как учитывают роль языковой личности в семиозисе.

Так, при интерпретации метафоры «*Она – лиса*» как скрытого сравнения («*comparison theory of metaphor*») индивид осознает, что, относясь к человеку, (метафорическое) выражение не соответствует онтологии мира. Это стимулирует его к сравнению и к поиску вероятных связей между человеком и животным. На основе подобных рассуждений носитель языка приходит к выводу, что в этом случае основанием для сравнения является признак «хитрость» [Блэк, 1990, с. 158–159; Дэвидсон, 1990, с. 175–176, 182].

Аналогичным взглядом на метафору является интеракционистская теория («*an interaction theory of metaphor*»). Согласно

но ей, в сознании говорящего при актуализации метафоры «Она – лиса» возникают мысли о двух разнородных референтах: основном субъекте («primary subject, focus») – лисе как источнике хитрости и вспомогательной сущности («secondary subject, frame») – человеке. При этом говорящий осознает несоответствие высказывания реальному положению дел в мире, что заставляет его думать об обеих сущностях одновременно, актуализируя их признаки, имеющие отношение к актуальной ситуации. В результате он выбирает из совокупности только тех свойств обоих референтов, которые связывают две сущности на основе релевантных ассоциаций. Это позволяет синтезировать новую информацию об этом человеке [Блэк, 1990, с. 162–165, 168; Лапшина, 1998, с. 90–91].

Как представляется, недостаток указанных теорий заключается в подразумеваемом наличии складов речевых значений, которые «перегоняются» из речи в «склады» и обратно. Реальность такого механизма в процессе создания речи (речетворчества) спорна в силу ограниченности способности человеческой памяти хранить информацию.

Недостатки описанных выше механизмов действия метафоры принимает во внимание когнитивная лингвистика. Первый шаг в данном направлении делает Дж. Серль, который отмечает разницу между интерпретацией коммуникантами смысла предложений, в которых слова используются в прямом смысле, и высказываниями, где сочетаемость компонентов не соответствует онтологии мира. Он справедливо считает, что разграничить эти два явления может только человек, который в состоянии понять, употреблено ли высказывание метафорически или это его прямое значение [Searle, 1993, p. 84–102].

Таким образом, в анализ метафорического значения вводится *субъективный фактор*, что естественно, т. к. человек является точкой отсчета всех лингвистических измерений и без него языка просто не существует [Лапшина, 1998, с. 92]. Это видение лежит в основе одной из основных черт человека – антропоморфизма, т. е. его стремления описывать окружающий мир через призму своего восприятия, своего личного тезауруса. Именно человек выбирает «носителя метафоры, донора», т. е. то языковое выражение, которое «делится» своей формой с новым понятием [Ульманн,

1970, с. 277–278]. Данный вывод основывается на том, что такие когнитивные структуры, как восприятие, мышление, память, язык, неразрывно связаны между собой при обработке и усвоении знания. Целостность взаимодействия сенсорных механизмов и психики позволяет человеку «сопоставлять несопоставимое» и «соизмерять несоизмеряемое», приводя результаты этих процессов, в конечном счете, в соответствие с законами логики [Арутюнова, 1978, с. 341].

Учет личностного фактора позволяет объяснить *расплывчатость понятий* ментального лексикона, т. к. именно ими оперирует человек на уровне системы языка. Объем его словарного значения может варьироваться в зависимости от опыта говорящего индивида. Тем самым он получает возможность фиксировать в сознании все результаты освоения им внеязыковой действительности и на их основе выводить абстракции. Поэтому к метафоре, прежде всего, обращаются в процессе номинации абстрактных сущностей, для которых нет подходящего наименования. Это происходит потому, что другого средства в распоряжении говорящего просто не имеется [Гак, 1998, с. 454; Лапшина, 1998, с. 88].

Итак, сторонники когнитивной лингвистики выдвигают новую концепцию механизма метафоры. Как известно, знания о мире не структурированы сами по себе – их организует в процессе познания индивид в виде концептуальных сфер или семантических полей («domains») [Lakoff, 1993, p. 203, 206, 245; Johnson, 1999, p. 156]. Процесс метафоризации слова «*лиса*», таким образом, представляет собой перенос значения между концептуальными сферами: исходной (лиса) и конечной (человек) («source domain; target domain»). Говорящий накладывает («mapping») исходную структуру (лиса) на конечную (женщина). При этом переносятся не все черты и характеристики «лисы», а только те, которые необходимы для понимания речевой ситуации, т.е. описания хитрого человека [Dirven, 2002, p. 87–89].

Таким образом, в представлениях о механизме метафоры критику вызывает, прежде всего, то, что в его рамках предполагается обзор всех семантических признаков слова. В условиях коммуникативного цейтнота, т.е. актуализации большого числа языковых единиц в короткий промежуток времени, подобный анализ требу-

ет времени на обработку сообщения, что происходит на высоких скоростях, измеряемых в пикосекундах [Major, Dinis, 2010, p. 14]. Следовательно, адекватное описание механизма метафоры требует использования коммуникантами такой «компактной» единицы семантической структуры слова, которая бы обеспечила мгновенное понимание и декодирование сообщений.

Объясняя механизм функционирования метафоры в речи, И.К. Архипов полагает, что за каждым переносным (метафорическим) употреблением говорящий видит какое-то значение слова, которое объединяет все его лексико-семантические варианты (далее ЛСВ) и выступает в роли их «действительного мотиватора». Это значение получает название «лексического прототипа» (далее ЛП), под которым понимается «лучший представитель» семантики словоформы на уровне системы языка, т. е. инвариант. Он является «минимальным пучком интегральных и дифференциальных признаков, необходимых для идентификации предмета или понятия». Это дает возможность представить совокупность необходимых для каждой ситуации общения абстрактных (в том числе метафорических) смыслов, которые известны любому носителю языка [Архипов, 2008, с. 99, 115].

Лексический прототип имеет две разновидности: «ближайший» и «дальнейший». Ближайшим ЛП является значение слова, которое первым приходит на ум большинству носителей языка при встрече с данной словоформой, т. е. ее номинативно-непроизводное значение. Это значение лежит в основе деривации всех остальных ЛСВ слова. Для того чтобы описать максимально широкую семантику содержательного ядра многозначного слова, И.К. Архипов предлагает расширить «смысл ближайшего ЛП с помощью компонента сравнения» (напр. ЛП прилагательного *hot – having a high temperature or a feature like high temperature*). Таким образом, инвариантное значение, или «дальнейший ЛП» характеризуется как высшая степень обобщения значения. Это придает ЛП статус семантического ядра, достаточно компактного для хранения в долговременной памяти. В то же время «прикладывая» ЛП к ситуации общения, он получает возможность мгновенно выводить необходимые минимальные признаки лица, соответствующие данной характеристике в данном контексте [Архипов, 2008, с. 153–154].

Располагая лексическим прототипом слова «*лиса – животное с рыжей шерстью, вытянутой мордой, острыми ушами и пушистым хвостом или любое существо, напоминающее лису*», говорящий выстраивает такой языковой контекст, который помогает правильно интерпретировать смысл актуального значения многозначного слова. Со своей стороны, зная ЛП и услышав форму высказывания «*она – лиса*», слушающий обращается к нему и использует тот же механизм в обратной последовательности [Архипов, 2008, с. 157].

В рамках теории ЛП, все возможные метафорические значения слова оказываются равностатутными, т.е. равноудаленными от прототипа, актуализациями, не зависящими друг от друга. Преимуществами данной теории, судя по всему, являются, во-первых, соответствие в большей степени реальностям системы языка, состоящей из единиц содержания высокой степени абстракции и являющихся основой вывода всех ЛСВ. Во-вторых, этот механизм отвечает условиям коммуникации, проходящей на исключительно высоких скоростях, измеряемых в пикосекундах.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры // Известия АН СССР, Серия лит. и языка. 1978. Т. 37. № 4. С. 333–343.

Архипов И.К. Язык и языковая личность. СПб., 2008.

Балли Ш. Французская стилистика / пер. с фр. М., 2009.

Блэк, М. Метафора / пер. с англ. // Теория метафоры. М., 1990. С. 153–172.

Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.

Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 173–193.

Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова. СПб., 1998.

МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры / пер. с англ. // Теория метафоры. М., 1990. С. 358–386.

Склярская Г.Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993.

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию / пер. с фр. М., 1977.

Ульманн С. Семантические универсалии // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. V. Языковые универсалии. М., 1970. С. 250–299.

Dirven R. Metonymy and metaphor: different mental strategies of conceptualisation // *Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast*. Vol. 20. Berlin, New York, 2002. P. 75–112.

Johnson Ch. Metaphor vs. conflation in the acquisition of polysemy: the case of see // *Cultural, Psychological and Typological Issues in Cognitive Linguistics: Selected Papers of the Bi-annual Icla Meeting in Albuquerque*. Amsterdam / Philadelphia, 1999. P. 155–169.

Major J.C., Dinis A. Introduction // *Signifying Bodies: Biosemiosis, Interaction and Health*. Braga, 2010. P. 4–20.

Lakoff G. The Contemporary theory of metaphor // *Metaphor and Thought*. Cambridge, 1993. P. 202–252.

Searle J. R. Metaphor // *Metaphor and Thought*. Cambridge, 1993. P. 83–112.

Taylor J. R. Category extension by metonymy and metaphor // *Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast*. Vol. 20. Berlin, NY, 2002. P. 323–348.

Rumyantseva Anna Sergeevna (Saint Petersburg, Russia)

METAPHOR: ITS NATURE AND USE IN THE COMMUNICATION

The paper analyses the nature of the metaphor, the reasons for distinguishing between dead and creative metaphors, and the main theories explaining the mechanisms of its use in the speech of the languaging individual. Special attention is paid to the alternative metaphor mechanism description, which is based on the notion of the lexical prototype.

Keywords: metaphor, metaphor mechanism, dead metaphor, creative metaphor, lexical prototype

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ

УДК 811.11

Т. М. Большакова (Санкт-Петербург, Россия)

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО И ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАТЕГОРИИ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ

В статье поднимаются вопросы интеграции функционально-семантического и прагмалингвистического подходов при исследовании особенностей языковой реализации категории побудительности в немецкоязычных директивно-регулятивных текстах.

Ключевые слова: категория побудительности, функционально-семантическое поле, прагматика, речевой акт, директивно-регулятивный текст

С позиций функциональной грамматики категория побудительности рассматривается как функционально-семантическая категория с полевым принципом построения языковых средств, выражающих различные оттенки побуждения.

Учитывая такие параметры, как семантическая структура языкового средства (универсальность или специфичность выражения побуждения) и его функциональная характеристика (функциональная широта или ограниченность), мы можем построить – в нашем случае на материале немецкого языка – функционально-семантическое поле (ФСП) побудительности, ядерный уровень которого включает в себя императив, центральный – презенс индикатива; футурум индикатива; инфинитив; конструкции «модальный глагол + инфинитив I актив/пассив», модальные инфинитивы (конструкции «haben + zu + инфинитив», «sein + zu + инфинитив»); инфинитивную конструкцию с глаголом *lassen*, а периферия структурируется, например, презенсом конъюнктива, кондиционалисом I, причастием II и рядом других грамматических единиц [Большакова, 2005, с. 31].

В рамках функционально-семантического подхода важную роль играет понятие взаимодействия системы и среды, которое заключает в себе потенции и реализации связей между строем языка и речевым функционированием его элементов. Результаты взаимодействия грамматической системы и ее среды проявляются в текстах. Среда трактуется А.В. Бондарко как множество языковых, а также внеязыковых элементов, играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым она выполняет свою функцию [Бондарко, 2000, с. 20].

Из выделяемых автором двух основных типов среды – системноязыковой (парадигматической) и речевой, включающей в себя контекст и речевую ситуацию, – нас интересует, прежде всего, последний. Контекст, представленный языковыми единицами и их сочетаниями, включается, в свою очередь, в понятие внутриязыковой среды, а речевая ситуация относится к внеязыковой среде. Речевая ситуация включает в себя те компоненты речевого акта, которые взаимодействуют со значениями языковых средств и участвуют в формировании содержания высказывания. Это понятие охватывает также социальные факторы, например, социальные установки, статус и ролевые отношения участников речевого акта и другие [там же].

Опираясь в исследованиях на понятие речевой среды, мы можем дополнить функционально-семантическое описание категории побудительности путем включения в анализ языкового материала приемов и методов, которыми располагает прагматическая лингвистика (лингвистическая прагматика).

С прагмалингвистической точки зрения побудительность понимается, в частности, как иллокутивная сила, в которой находит воплощение прежде всего «целевой аспект языкового общения» [Сусов, 1988, с. 125]. Конкретное содержание данной категории складывается из исходной ситуации, речевого акта, аудитивного акта, предметно-практического действия слушающего, то есть практического акта, и результирующей ситуации. Коммуникативно-прагматический анализ позволяет учитывать комплекс данных элементов побудительной ситуации и намечать исходное разбиение всех побудительных (директивных) речевых актов для осуществления функционально-семантического исследования [Там же, с. 126].

Центральное место в прагматике занимает теория речевых актов. Вербальная экспликация категории побудительности в тексте непосредственно связана с речевыми актами (РА).

Интеграция функционально-семантического подхода к изучению побудительности и теории РА нашла свое развернутое воплощение, например, в работах Е.И. Беляевой [Беляева, 1988; 1990], исследовавшей на материале английского языка грамматический и прагматический аспекты ФСП императивной модальности, а также описавшей состав ФСП директивных РА.

Под директивными РА традиционно понимаются высказывания, иллокутивная направленность которых состоит в том, чтобы добиться от слушающего совершения определенного действия [Серль, 1999, с. 241].

Е.И. Беляева, в свою очередь, понимает под директивным РА функционально-прагматическую категорию, которая объединяет различные средства выражения коммуникативного намерения говорящего, цель которого заключается в том, чтобы побудить адресата совершить или не совершить действие, а также в том, чтобы изменить или сохранить некоторое состояние. По её мнению, структура плана содержания директивных РА определяется тремя прагматическими признаками, отражающими такие существенные аспекты ситуации побуждения, как приоритетность/неприоритетность позиции говорящего; облигаторность/необлигаторность выполнения каузируемого действия для адресата; нефактивность действия для говорящего или слушающего.

На основании данных признаков выделяются три прагматических типа директивов: прескриптивные (приказ, распоряжение, разрешение, запрещение, инструкция, предписание, собственно побуждение и заказ), реквестивные (просьба, мольба, приглашение), суггестивные (совет, предупреждение и предложение) [Беляева, 1988, с. 7, 21].

Мы провели с прагмалингвистических позиций исследование немецкоязычных директивно-регулятивных текстов разных типов – директивно-прескриптивного (малоформатный публичный прескриптивный текст), директивно-нормативного (правила внутреннего распорядка школы) и регулятивно-рекомендательного (журнальный рекомендательный текст), что позволило прийти к следующим выводам. Во-первых, каждому типу текста соответ-

ствует определенный инвентарь речевых актов, иллюкутивными показателями которых выступают языковые единицы из состава ФСП побудительности. Кроме того, совокупность различных видов директивных РА – прескриптивных, реквестивных или суггестивных – при выделении доминирующего типа определяет иллюкутивный профиль того или иного типа директивно-регулятивных текстов. Например, прескриптивы выступают в качестве базовых РА в малоформатных публичных прескриптивных текстах и правилах внутреннего распорядка школы, а суггестивы – в журнальных рекомендательных текстах.

При этом специфика реализации директивных интенций адресантов – создателей директивно-регулятивных текстов того или иного типа – заключается в том, что одни и те же единицы побудительной семантики, актуализирующие свое значение в роли иллюкутивных индикаторов РА, оформляют в зависимости от текстотипа разные прагматические типы речевых актов.

Так, например, императив выступает маркером прескриптивных РА предписания в малоформатном публичном прескриптивном тексте («*Melden Sie sich an der Rezeption!*») и в правилах внутреннего распорядка школы («*Klopfe nur in dringenden Fällen am Lehrerzimmer; wende dich an die Aufsicht!*») и иллюкутивным индикатором суггестивного РА рекомендации в журнальном рекомендательном тексте («*Hämmern Sie gleich in Ihre Tastatur <...>*»).

В то же время такое языковое средство, как форма презенса индикатива, способная актуализировать значение настоящего предписания и выступающая индикатором прескриптивных РА предписания в исследованных текстах правил внутреннего распорядка школы (например, «*Beim Wechsel eines Unterrichtsraumes nehmen die Schüler ihre Schultaschen mit*»), вообще не участвует в оформлении РА предписания в малоформатных публичных прескриптивных текстах.

По понятным причинам презенс индикатива не используется адресантами при вербальной реализации их суггестивных интенций в журнальных рекомендательных текстах. Иллюкутивный профиль журнальных рекомендаций в силу ослабления социально-статусной маркированности взаимоотношений адресанта и адресата определяется прежде всего речевым актом рекомендации. Прагматическая надежность и эффективность

текстов-рекомендаций обеспечивается в подавляющем большинстве случаев узким набором языковых средств побудительной семантики – вежливым императивом, директивным инфинитивом, претеритом конъюнктива глагола *sollen* и модальными глаголами, например: «*Probleme ansprechen, Lösungen zeigen!*»; «*Regelmäßig benötigte Mittel sollten ohnehin mitreisen*»; «*Sonnenschutz, Getränke, Snacks, Pulli und Handtuch müssen ebenfalls mit*».

Прагматический потенциал конstituентов микрополей положительной и отрицательной побудительности вступает во взаимодействие с различными как общими, так и частными (например, дефицит времени у получателя малоформатного публичного пре-скриптивного текста) экстралингвистическими факторами коммуникативной ситуации. Однако важнейшим прагматическим детерминантом механизма отбора языковых единиц из корпуса средств положительной или отрицательной побудительности выступают отношения коммуникантов, характеризующиеся той или иной степенью статусной маркированности.

Одни и те же языковые единицы из состава микрополей положительной и отрицательной побудительности, выделяемых внутри ФСП побудительности немецкого языка, либо оформляют в зависимости от типа текста ядерную, центральную или периферийную зоны, либо совсем не участвуют в процессе контекстуализации.

Например, ядро микрополя положительной побудительности подтипа текста «предписание» из состава малоформатных пре-скриптивных текстов представлено директивным инфинитивом, ядро микрополя положительной побудительности правил внутреннего распорядка школы оформляется презенсом индикатива в функции «настоящего предписания», а ядро микрополя положительной побудительности журнальных рекомендательных текстов конституируется (вежливым) императивом. Ядром же универсального, исходного для нашего исследования ФСП побудительности, в немецком языке выступает императив, выражающий семантику побуждения в своем прямом значении и оформляющий побудительное предложение в рамках структурно-системной парадигмы.

Все вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что интеграция функционально-семантического и прагмалинг-

вистического подходов при изучении категории побудительности дает возможность успешно исследовать и описывать такой аспект языковой манифестации категории побудительности, как коммуникативно-прагматическая активность языковых средств – конститuentов функционально-семантического поля побудительности.

Список литературы

Беляева Е.И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в современном английском языке. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1988.

Беляева Е.И. Поле императивной модальности в английском языке: грамматический и прагматический аспекты // Функционально-типологические аспекты анализа императива. Ч. 1. Грамматика и типология повелительных предложений. М., 1990. С. 4–8.

Большакова Т.М. Состав и функционирование прескрипций и прохибитивов в немецкоязычных текстах директивно-регулятивного типа (прагмалингвистический и социокультурный аспекты). Дис. ... канд. филол. наук. СПб. 2005.

Бондарко А.В. Системные и коммуникативные аспекты анализа грамматических единств // Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000. С. 9–35.

Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Зарубежная лингвистика. Вып. II. М., 1999. С. 229–253.

Сусов И.П. Побудительность: деятельностьно-коммуникативное и функционально-семантическое представления // Императив в разноструктурных языках: тезисы докладов конференции «Функционально-типологическое направление в грамматике. Повелительность». Л. 1988. С. 125–127.

Bolshakova Tatiana Mikhailovna (Saint Petersburg, Russia)

INTEGRATION OF THE FUNCTIONAL-SEMANTIC AND PRAGMATIC APPROACHES IN THE STUDY OF THE IMPERATIVE CATEGORY

In this article the value of the integration of functional-semantic and pragmatic approaches for research is discussed to characterize the verbal realization of the category of inducement in German directive texts.

***Keywords:** the category of inducement, functional-semantic field, pragmatics, speech act, directive text*

Ю.В. Сергаева (Санкт-Петербург, Россия)

ОПТИМИЗАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В ПРОЦЕССЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВА

Проблема создания нового имени в процессе словотворчества рассматривается в статье с точки зрения оптимальности номинационного выбора, выявляются факторы оптимизации, критерии оптимальной номинации и анализируется продуктивность определенных словообразовательных моделей.

Ключевые слова: оптимизация, теория оптимальности, номинация, словотворчество, словообразовательная модель, новообразование

Поиск и выбор нового слова – это всегда особый творческий процесс, который представляет собой сопряженную с разными временными затратами поэтапную селекцию, подбор нужного варианта. При создании новой языковой единицы, с одной стороны, стремление человека удовлетворить все свои запросы в вербализации понятий, оценок, эмоций всегда вынуждено преодолевать «неадекватность номинативной системы потребным задачам выражения» [Никитин, 2007, с. 203]. С другой, – творческая языковая личность сама меняет язык, проектирует его развитие и реализует заложенный в нем потенциал. При этом, как правило, меняющаяся реальность во всей совокупности её свойств предопределяет тенденции и формы этого развития.

Так, характеризующие современную цивилизацию ключевые черты «изменение», «новизна», «скорость», «интеграция» и «сложность» не просто стимулируют языковую личность к непрекращающемуся процессу языкового описания картины мира, но и в «усложнившемся глобальном контексте» [Щирова, 2009, с. 9] определенным образом влияют на выбор средств номинации. Например, такие, характерные для многих современных сообществ явления, как амбивалентность чувств и оценок в отношении действительности, стирание границ между гендерными ролями, гибридизация и комбинирование функций и свойств

для большей эффективности «требуют» от языковой личности творческого поиска ёмких многокомпонентных номинаций. Это может быть проиллюстрировано лексемами-блендами *abordable* (*abhor + adorable*), *murse* (*male + purse*), *labradoodle* (*Labrador + poodle*), соответственно. Таким образом, словослияние, порождающее бленды (телескопические образования), оказывается, как представляется, оптимальным для данных целей способом словообразования, востребованным для отражения в языке указанных выше личностных и социальных тенденций.

По определению Е.С. Кубряковой, «процедура, которую в психолингвистике недифференцированно называют поиском слова, являет собой не столько выбор единицы из числа существующих, сколько – *в целях оптимального решения задачи* – творческий акт создания новой единицы номинации» [Кубрякова, 1984, с. 16] (курсив мой – Ю.С.). Иными словами, именно возникшее в результате словотворчества новообразование чаще всего является оптимальным номинационным выбором, который отвечает требованиям ситуации и особенностям языковой личности. При этом механизм отбора нужных словообразовательных средств и представление об оптимальности номинации зависят от многих факторов и, прежде всего, от ономаσιологического и коммуникативного заданий: чем сложнее дескрипт, чем более явно выражена установка на творческое состязание и игру, тем выше степень креативности, проявляемой при создании новой единицы. Насколько субъективно понимание оптимального выбора, и не противоречит ли возможность субъективного восприятия оптимума самому понятию оптимизации?

Понятия «оптимизация» и «оптимальный» широко используются в сфере точных и социальных наук (например, в математике и экономике), а также в информационных технологиях, в производстве и пр. В наиболее общем смысле *оптимизация* (от *optimus* (лат.) – наилучший) – это выбор (или процесс выбора) наилучшего варианта из множества возможных [СЭС]. Словарь *Merriam-Webster dictionary* определяет процесс оптимизации, делая акцент на его прагматической составляющей: «to optimize is to make as perfect, effective, or functional as possible» [MWD].

Теоретические основания и практическая реализация оптимизации становятся предметом изучения интегративной науки

оптимологии (термин популяризирован О.С. Разумовским [Разумовский, 1989]), в фокусе интересов которой – методика поиска оптимальных решений, проектирование оптимизации процессов, описание критериев оптимальности. В лингвистику понятие оптимизации проникает опосредованно – через прагматику, теорию коммуникации и социальную психологию. Предметом лингвистических исследований становятся оптимизация речевого воздействия, поиск механизмов и способов гармонизации и оптимизации текста, анализ фоносемантических принципов благозвучия (принципов гармонии), анализ моделей построения правильнооформленных предложений и др. Оптимизация лежит в основе таких универсалий, как закон языковой экономии, максимы общения, принципы порождения правильных грамматических структур в универсальной грамматике и т. д. (см. [Optimality Theory and Pragmatics, 2004]).

Экстраполируя основные положения теории оптимальности на лексико-семантический уровень языка, а именно на результаты словотворчества человека – новые слова (coinages), можно охарактеризовать оптимизацию следующим образом.

Оптимизация – это процесс номинационного выбора, в основе которого лежат лингвокогнитивные механизмы а) порождения (Generator) возможных номинаций-«кандидатов» с различной комбинацией звуков, слогов, морфем; и б) оценки (Evaluator) «кандидатов» по разным параметрам, в том числе с точки зрения соответствия исходной и результирующей формы. При этом выстраивается иерархия ограничений (Constraints), влияющих на выбор оптимальной формы как на глубинном уровне порождения, так и на поверхностном уровне выражения. Согласно теории оптимальности, оптимальной номинацией является языковая форма, нарушающая минимальное количество наименее значимых ограничений. Это правило причисляется к универсальным [см. об этом, напр., Optimality Theory and Language Change, 2003]. Однако, при создании новой номинации процесс её оптимизации не ограничивается *универсальными* правилами и критериями. Специфика механизмов номинационного выбора определяется той *значимостью*, которую отдельный язык или *отдельная языковая личность* придают универсальным принципам гармонии, выстраивая в каждом случае *свою* иерархию требований и ограничений.

Итак, учитывая такие важные ориентиры современной научной парадигмы, как функционализм, антропоцентризм и вариативность, сформулируем определение оптимизации, которое может использоваться для описания проблем номинационного выбора в процессе словотворчества: *Оптимизация – выбор наилучшего из возможных вариантов наименования означаемого, определяемый коммуникативно-прагматическими целями лингвокреативного субъекта и потенциалом языковой системы.*

Моделирование лингвокреативной деятельности языковой личности и собственно выбор оптимальной номинации осуществляются, под влиянием ряда лингвистических и экстралингвистических факторов (напр., возможности системы языка, национальные, интеллектуальные, психологические, социальные и возрастные особенности лингвокреативного субъекта, его прагматические цели и стратегии и т. п.), которые взаимосвязаны с уровнями, традиционно выделяемыми в структуре языковой личности [Караулов, 1987, с. 5]: 1) вербально-семантическим (языковым); 2) когнитивным (тезаурусным); 3) прагматическим (мотивационным).

Когнитивный выбор номинирующего субъекта – это выбор мыслительной операции, лежащей в основе именованья (аналогии, ассоциации, концептуальной интеграции, гибридации, перекатегоризации, семантической компрессии и декомпрессии). Ни один из этих процессов не протекает вне связи с другими уровнями, а, как отмечает А.Г. Гурочкина, ментальные операции соотнесения и сравнения концептов, анализа и синтеза, их упорядочивания и интеграции предполагают, прежде всего, «прагматическую обработку концептов», что является проявлением концептуального взаимодействия [Гурочкина, 2011, с. 183]. *Языковой (словообразовательный)* уровень – это выбор средства вербализации номината (аффиксации, словосложения, семантической деривации и др.) Особенно важным для словотворчества, как только что было отмечено, является *прагматический*, уровень структуры языковой личности, – уровень выбора лучшего из вариантов в контексте прагматической цели. Мотивы, установки, интенции говорящего детерминируют два других этапа, предопределяя отбор требующих вербализации понятий, концептов, ситуаций и средств их выражения.

Параметры оптимальности номинации, таким образом, должны соотноситься с системными и функциональными характеристиками языка, основываться как на универсальном принципе наименьших затрат номинатора и интерпретатора, так и на специфических прагматических целях лингвокреативного субъекта, на его ориентированности на особое коммуникативное задание.

Рассмотрим в качестве такого коммуникативного задания ситуацию коллобаративного интерактивного словотворчества в сфере компьютерной неографии – динамично развивающегося в англоязычном сегменте виртуального пространства раздела неологии, занимающегося фиксацией и лексикографическим описанием новых слов языка.

Сотворческое участие членов Интернет-сообщества в появлении и фиксации новой единицы языка, их влияние на создаваемый продукт может осуществляться как посредством оценки, комментария, голосования «за» или «против» предложенной номинации, дефиниции, так и в виде совместного написания, редактирования, дополнения, креолизации какого-либо текста, словарной статьи пользователями, часто удаленными во времени и пространстве. Например, интерактивная словотворческая игра Verbotomy предполагает следующий алгоритм такого «двустороннего» творчества:

1) Создание и размещение на сайте конкурса дефиниции, т.е. заданного для номинативного акта дескрипта: Ср. DEFINITION: *v. To secretly take a photo of someone with your cellphone. n. A cellphone photo, especially if it was taken surreptitiously.*

2) Создание Интернет-пользователями номинации в виде 1 слова, соответствующей предложенной дефиниции и сопровождающейся иллюстративным примером, этимологическим комментарием и транскрипцией: Ср. SUGGESTED WORD: *Cellpwnd*: /selpno nd/. Etymology: Cell (cellular telephone) + pwnd (beaten – a leetspeak slang term, derived from the word “own”, that implies domination or humiliation of a rival) *Sentence*: Michael certainly has a better idea that his life has few private moments after being *cellpwnd* at a house party. Created by: artr.

Комментирование слова другими участниками и голосование (набранные баллы свидетельствуют о том, насколько удачной была признана та или иная номинация): Ср. COMMENTS on *Cellpwnd*: –

nice etymology (Jabberwocky, 2009-02-06) – A modern word for these modern times! (silveryaspen, 2009-02-09). Points: 332.

[http://www.verbotomy.com/verbottle.php?jargonism_id=16948]

Исходя из признанного в науке понимания лингвокреативности и творчества в целом не только (и необязательно) как создания новых языковых единиц, но и как их восприятия, интерпретации [Караулов 1987, 1989; Ирисханова, 2004; Архипов, 2008 и др.], будем учитывать комментарии и рейтинги предложенных номинаций в качестве важного источника для исследования критериев оптимальности. Анализ комментариев к представленным на сайте Verbotomy.com единицам, данные их рейтинга по результатам голосования и опрос членов виртуального словотворческого сообщества¹ – авторов новых номинаций и тех, кто их оценивал, – позволил обобщить критерии оптимальной номинации и разделить отвечающие им характеристики слова на 2 группы – универсальные и специфические (этот список открыт, здесь приводятся только избранные характеристики):

1) Характеристики, реализующие *универсальный* принцип оптимальной формы – наименьшие затраты номинатора и интерпретатора при наибольшем эффекте: а) Произносимость слова; б) Краткость (2–4 слога); в) Узнаваемость и не перегруженность компонентами модели слова (слияние не более 3-х компонентов); г) Возможность образования словом парадигматических рядов; д) Выводимость значения из внутренней формы слова.

2) В зависимости от *специфических* прагматических целей лингвокреативного субъекта к продуктам словотворчества могут применяться дополнительные критерии. Так, респонденты, создающие и оценивающие номинации в рамках рассматриваемого словотворческого конкурсного проекта, т. е. вовлеченные в рекреационное творчество, добавили такие характеристики, как е) Экспрессивность и остроумие в номинации ж) Минимум замен при деривации (1-letter-change effect), з) Определенную степень интеллектуальных усилий при интерпретации этимологии и стилистического эффекта.

Так как выбор оптимальной номинации предполагает сравнение и оценку слов-«кандидатов», то в качестве примера обра-

¹ Анкета была размещена на сайте Verbotomy и на форумах некоторых словарей новых слов Pseudodictionary, Wordnik.

тимся к одному из словотворческих заданий на сайте Verbotomy.com. Как уже было продемонстрировано при описании алгоритма интерактивного сотворчества (см. выше), такое задание строится по ономазиологическому принципу – от описания явления к номинации. Участниками проекта предлагается несколько созданных ими новообразований, соответствующих заданной дефиниции, каждое из которых оценивается самими участниками и любым зарегистрированным на сайте пользователем. Например, был предложен целый ряд лексем, соответствующих дефиниции, отражающей современную ситуацию – эмоциональное переживание, связанное с ростом зависимости человека от мобильного телефона [Verbotomy // URL: <http://www.verbotomy.com> 9]:

Дефиниция: v. To feel stressed and anxious when your mobile phone runs out of battery power, drops its network connection, or in the worst case, gets misplaced and lost. n. A panic attack caused by an interruption in your mobile phone service.

Предложенные лексемы (всего 46) – *krazyeeaddictionaphobia*, *acellularphobia*, *ancellphobia*, *distelephobia*, *cellophobia*, *mobilephobia*, *mobophobia*, *disconnectphobia*, *disconnexaphobia*, *nonconexaphobia*, *imservusphobia*, *igmobilephobia*, *ademophobia*, *antivocaphobia*, *nosigphobia*, *tunnaphobia*, *tunamobphobia*, *breakupphobia*, и др.

Как видно из примеров, наиболее продуктивной оказалась словообразовательная модель с полуаффиксом *-phobia* (23 номинации из 46). Это неудивительно – в 2008 году официальный неологизм для описания заданного в дефиниции страха – *nomophobia* (**no mobile phone phobia**) – уже пополнил медико-психологический список фобий и нашел отражение в некоторых словарях, напр. Collins English Dictionary [<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nomophobia>]. Очевидно, эта аффиксальная модель интуитивно признается номинаторами как удачный образец, конвенциональный схематический шаблон (constructional schema, в терминах Р.Лэнекера [Langacker, 1991]), модификация которого демонстрирует творческий и языковой потенциал.

В некоторых представленных выше вариантах словообразовательная модель с полуаффиксом *-phobia* дополняется префиксами со значением отрицания *a-*, *im-*, *dis-*, *non-*, *anti-* (напр. *acellularphobia*); сокращением (усечением): напр., *nosigphobia*, где *nosig*=no signal, *tunnaphobia*, где *tunna*=tunnel; сложением

основ (*tunamobphobia*) и др. Латинское происхождение полуаффикса *-phobia* во многих случаях определило выбор номиналами элементов словообразовательной модели в пользу морфем латинской этимологии *demo* (people), *ig* (without), *voc* (to call), *im servus* (not in service), *connex* (connection), что попутно даёт обобщенную характеристику виртуальной языковой личности, репрезентирующей участников данного словотворческого проекта как образованного носителя языка, но не делает номинацию более понятной и прозрачной для всеобщего использования. Учитывая сформулированные нами критерии оптимальности номинации, отметим, что многие из предложенных новообразований не отвечают принципам краткости (включают 7–9 слогов), производимости, возможности образования парадигматических рядов, соотносительности внутренней формы и значения: напр, наиболее краткие из предложенных номинации *cellophobia*, *tobophobia* могут ввести в заблуждение, т.к. по сути означают «боязнь мобильных телефонов», а не «страх быть отключенным от мобильной связи». Поэтому объяснимо, что высокую оценку у большинства участников конкурса получили неконвенциональные для обозначения фобий и более компактные по форме лексемы, в числе которых – префиксальный дериват *ipanic* (образована с помощью нового продуктивного префикса *i-* по современной, но уже закрепленной в языке модели (Ср. *iphone*, *iwork*, *ipod*, *ipad*, и т.д.)) и бленд *panicell*. Остроумие в этом случае оказалось в гармонии с остальными признаками формы, оптимальной для нового слова.

Согласно универсальному закону, «когда в языке нет устоявшегося, узувального названия, нередко оно рождается не сразу, но в борьбе нескольких конкурирующих наименований» [Земская, 2007, с. 174.]. В отношении описанного в статье словотворческого процесса можно добавить, что в условиях современной компьютерной неографии и неологии, новая номинация может рождаться не только в борьбе, но и в сотрудничестве, сотворчестве, как результат двусторонней деятельности творца и интерпретатора.

Список литературы

Архипов И.К. Язык и языковая личность, СПб., 2008.

Гурочкина А.Г. Концептуальное взаимодействие и его роль в познании // Когнитивные исследования языка. Вып. IX. Взаимодействие когнитивных и языковых структур. Москва–Тамбов, 2011. С. 183–191.

Земская Е.А. Словообразование как деятельность / 3-е изд., М., 2007.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Присханова О.К. О лингвокреативной деятельности человека: отглагольные имена. М., 2004.

Кубрякова Е.С. О номинативном компоненте речевой деятельности // Вопросы языкознания. 1984. № 4. С. 13–22.

Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 2007. Современный энциклопедический словарь. М., 1997.

Щирова И.А. О разуме и научном познании сложного // Вестник ЛГУ. Серия Филология № 4 (том I). СПб., 2009. С. 7–16.

Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar. Descriptive Application. Vol. 2. Stanford, 1991.

Optimality Theory and Language Change / Ed. by Holt D.E. Boston, 2003.

Optimality Theory and Pragmatics / Ed. by Zeevat H., Blutner R. NY, 2004.

Электронные источники

Разумовский О.С. Концепция оптимологии. Новосибирск, 1998. // URL: <http://philosophy.nsc.ru/publication/razumovsky/optimology/optimology.htm>

Collins English Dictionary [сайт] – URL: <http://www.collinsdictionary.com>

Merriam-Webster's Dictionary. [сайт] – URL: <http://merriam-webster.com>

Verbotomy: Create-a-word game. [сайт] – URL: <http://www.verbotomy.com>

Sergaeva Yulia Vladimirovna (Saint Petersburg, Russia)

OPTIMIZATION OF THE WORD FORMATION PATTERN IN COINAGES

The article explores such area of linguistic creativity as coining of novel lexical items to fill semantic voids in the system of English language. The author analyzes the means of producing an optimal nomination and elicits the factors determining a nominator's choice of a word-formation pattern.

Keywords: optimization, Optimality Theory, nomination, linguistic (lexical) creativity, word-formation pattern, coinage

УДК 811.111'37

И.В. Толочин (Санкт-Петербург, Россия)

**WE FIT LIKE SPOONS:
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТНОЙ ПРИРОДЕ СЛОВЕСНОГО
ЗНАЧЕНИЯ**

На примере анализа словарных дефиниций и контекстов употреблений слова *spoon* в статье предлагается критическое рассмотрение объективистской методологии определения словесного значения и формулируются принципы функционально-прагматического подхода к выявлению и описанию структуры значения слова.

Ключевые слова: слово, значение, корень, контекст, категория

В данной статье мы постараемся еще раз показать, что отказ от взгляда на основу словесного значения как на результат отражения предмета, обладающего какой-то существенной и только ему присущей природой за пределами языка, может дать нам более последовательное и системное представление как о структуре плана содержания отдельного слова, так и о характере отношения словесного значения и материального мира.

В качестве объекта исследования мы выбираем слово *spoon*, существительное с, казалось бы, очевидно предметным значением, поскольку оно как бы указывает на осязаемую и всем знакомую вещь.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, как такое слово описывается в словарях, опирающихся на традиционное представление об основе значения слова как об отражении наиболее существенных свойств денотата – стабильного элемента внешнего мира, природа которого фиксируется в акте первичной номинации. Для этого рассмотрим дефиницию существительного *spoon* в словаре *The Concise Oxford Dictionary of Current English* [1990, p. 1177]: «*spoon* – 1. a utensil consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food (esp. liquid) to the mouth, for stirring, etc. b a spoonful, esp. of sugar. c (in pl.) a pair of spoons held in one hand and beaten together rhythmically. 2. a spoon-shaped

thing, esp.: a) (in full spoon-bait) a bright revolving piece of metal used as a lure for fishing. b) an oar with a broad curved blade. c) a wooden-headed golf-club. 3. colloq. a) a silly or demonstratively fond lover. b) a simpleton». Значение слова *spoon* представляется составителям словаря настолько очевидным, что ни в одной из дефиниций для трех вариантов, которые в данном словаре характеризуют объем значения существительного, не приводится никаких примеров использования этого слова в контексте. Первый вариант значения построен как классическая дефиниция денотата, фиксирующая основные родовые и видовые характеристики отражаемого предмета. Родовой признак: *spoon is a utensil*; видовые признаки – *consisting of an oval or round bowl and a handle (специфическая форма) и for conveying food (esp. liquid) to the mouth, for stirring, etc. (специфические функции)*. Кажется бы, в этой дефиниции нам представлено все основное содержание существительного *spoon* в его наиболее характерном (прямом номинативном) значении. Иллюзорность надежности предлагаемой дефиниции основного значения начинает проявляться при обращении к анализу реальных фактов употребления слова *spoon*.

В качестве критерия проверки надежности дефиниции можно использовать сравнительные структуры с союзом *like*. Словосочетания *like a spoon, like spoons* должны выявить наиболее существенные свойства слова *spoon*, на основании которых осуществляется сравнение. Обращение к материалам Британского Национального Корпуса и поисковой системе Google показывает, что наиболее частотными сочетаниями являются образования типа *cut like a spoon through custard/ice-cream/Jell-O: They are built like South African rugby forwards, and they'd cut through most opposition like a spoon through custard*. Во всех случаях употребления сравнения основой служит набор ощущений, связанных с легкостью, мягкостью характера воздействия, не требующего больших усилий. Интересно, что использование глагола *cut* в сравнениях этой группы не является характерным для контекстов, в которых *spoon* используется вне структуры сравнения. *Cut* предполагает усилие и сопротивление материала оказываемому воздействию, а появление сочетаний со словом *spoon* в структуре сравнения обеспечивает возможность передать особую легкость процесса, связанного с ощущениями удобства, подат-

ливости материала воздействию, комфорта. Итак, в выделенном типе сравнения базой для использования слова *spoon* является набор ощущений, связанных с определенным характером целенаправленного воздействия на материальную среду. Отметим сразу, что словарная статья никак не регистрирует эту черту слова *spoon*.

Сравнения без использования глагола *cut* демонстрируют ту же закономерность: *we fit like spoons; nestled like spoons: And when it was over and their tears had dried, they lay like spoons, curved together as if made for each other, and slept*. Появление в таких контекстах слова *spoon* обеспечивает передачу переживания, связанного с ощущением комфорта, мягкости контакта, удовольствия от контакта (ср. ряд *custard/ice-cream/Jell-O* в предыдущей группе сравнений, который также указывает на то, что *spoon* ассоциируется с воздействием на материал, связанный с положительными ощущениями).

О том, что комплекс ощущений, который можно охарактеризовать как чувство мягкого комфорта при легкости контакта с материальной средой, является важным элементом структуры значения слова *spoon*, свидетельствуют также примеры использования этого слова в поэтических текстах. В юмористическом эпосе «*The Hasty Pudding*» Джоеля Барлоу – американского поэта конца 18 – начала 19 века, посвященном воспеванию простых и надежных американских ценностей в противовес изысканному коварству Европы, есть описание того, как хорошо американцы едят кашу из вареной кукурузы, которая в поэме становится символом здоровой простоты и естественности американского образа жизни:

*No carving to be done, no knife to grate
The tender ear, and wound the stony plate;
But the smooth spoon, just fitted to the lip,
And taught with art the yielding mass to dip,*
[цит. по *Our Nation's Archive*, 1999, p. 214.]

Этот пример воспроизводит те же самые закономерности содержания слова *spoon*, которые были нами отмечены в сравнениях: *the mass is yielding* (нет противодействия), *smooth/fitted to the lip* (комфорт, мягкость контакта). Противопоставление *the smooth spoon/grating and wounding knife* также не случайно и

очевидно обусловлено структурой значения слов spoon и knife. В современной песне «Irony» находим аналогичное противопоставление, обеспечивающее сходное содержание:

It's like ten thousand spoons

When all you need is a knife.

It's meeting the man of your dreams

And then meeting his beautiful wife.

[Irony; URL].

Содержание этого четверостишия может быть понято только при условии стабильной структуры значения spoon именно как слова, обозначающего, прежде всего, описанный нами комплекс ощущений, что и позволяет певице (Alanis Morissette) передать сложное переживание, в котором переплетаются ощущения мягкого, приятного контакта (cp. *Curled up in this room, I'm melting into you. We fit like spoons*) и горечи от невозможности реализации этого ощущения (cp. *the knife to grate the tender ear and wound the stony plate*).

На основании обобщения контекстов, содержащих слово spoon как в структурах сравнения, так и в поэтических текстах, когда слово spoon не обязательно появляется в словосочетаниях с союзом like, можно сделать вывод о том, что это слово всегда обозначает возможность совершения определенного воздействия на материальную среду (*dip, melt into, stir, scoop*), которое характеризуется приятными ощущениями (*smooth, fitted to the lip, curved together, through custard/ice-cream, etc.*), обусловленными мягкостью и легкостью воздействия и контакта.

Теперь вернемся к словарной дефиниции в начале статьи. Обратим сразу внимание на то, что предлагаемые дефиниции полностью игнорируют отмеченные выше закономерности. Следующий шаг, который следует сделать для проверки степени соответствия структуры словарной дефиниции плану содержания слова в языке, это попытка проверить насколько контексты употребления слова могут выдержать замену самого слова на его дефиницию и при этом не потерять осмысленность. Попробуем это сделать на примере одного из контекстов, приведенных выше: *And when it was over and their tears had dried, they lay like utensils consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food to the mouth, curved together as if made for each other and slept*. Замена

слова *spoon* на словосочетание из первой словарной дефиниции нарушает смысловую целостность всей структуры. Содержание словесной последовательности «*lay like spoons, curved together as if made for each other*» принципиально отлично от содержания последовательности «*lay like utensils consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food to the mouth, curved together as if made for each other*». При замене слова *spoon* на дефиницию этого же слова исчезает мотивированность связи между двумя элементами синтаксической структуры: *curved together as if made for each other* не находит достаточного обоснования в словосочетании *utensils consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food to the mouth*. Элементы *utensil, an oval or round bowl and a handle* могут скорее смоделировать ощущения, связанные с рутинной и не вполне комфортной деятельностью (ср. *The handle of a cricket bat protruded from under his arm; he smacked the bowl of his pipe into his hand* [Collins Cobuild, 2006, p. 158, 658]). Очевидно противоречие, которое на первый взгляд может показаться парадоксальным. В любом другом контексте из приведенных выше подстановка словарной дефиниции на место слова *spoon* продемонстрирует ту же самую закономерность: *Curled up in this room, I'm melting into you. We fit like spoons – Curled up in this room, I'm melting into you. We fit like utensils consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food to the mouth*. Нарушается мотивированность элементов контекста, обозначающих переживание, связанное с ощущением мягкости, комфорта и удовольствия (*I'm melting into you; we fit ...*).

Первая дефиниция слова *spoon* построена в соответствии с классическим пониманием понятийных категорий как комплекса родо-видовых признаков, составляющих сущность элемента объективной действительности. Проведенный нами небольшой эксперимент с подстановкой такой дефиниции в реальные контексты позволяет усомниться в центральной значимости для структуры значения рассматриваемого слова комплекса *utensil consisting of an oval or round bowl and a handle for conveying food to the mouth*. Еще более странным подобное «денотативное ядро» предстает, если обратиться к вопросу о том, каким образом может быть усвоено правильное значение слова *spoon* ребенком при первичном развитии языковых навыков. Если согласиться с тем, что первая

дефиниция описывает нам саму суть предмета, то мы должны предположить, что ребенок, усваивая способ употребления слова *spoon*, должен совершить синтез двух элементов (*a round bowl and a handle*), чтобы увидеть истинную основу предмета: *utensil for conveying food to the mouth*. Таким образом, для усвоения содержания слова *spoon* в соответствии с моделью, представленной в рассматриваемом нами словаре, необходимо сначала быть знакомым с такими единицами как *bowl* и *handle*. То есть, предмет должен быть как бы собран из двух других предметов. Данная дефиниция является классическим примером того, что Л. Витгенштейн называет указательными определениями и подвергает серьезной критике [Витгенштейн, 1994, с. 97–99]. Гораздо более убедительным представляется взгляд на развитие значения как на процесс закрепления за отдельным элементом языковой системы комплекса ощущений, связанных с актуальной человеческой потребностью. Для английского слова *spoon* этот комплекс можно представить как *the ability of a smooth and curved surface to enable one to scoop and stir something with ease and comfort*. Он выделяется на основании анализа самых различных контекстов употребления данного слова в языке. Обратим также внимание на то, что и в рассматриваемом нами словаре в первой дефиниции появляется глагол *stir*, но он представлен скорее как дополнительный или менее значимый элемент: *for conveying food (esp. liquid) to the mouth, for stirring, etc.* То, что появление глагола *stir* в дефиниции *spoon* не случайно и свидетельствует о здравом смысле лексикографов, становится очевидным при обращении к другим словарям. Так, словарь *Collins Cobuild* [2006], ориентирующийся при составлении дефиниций на языковые корпусы, предлагает забавную дефиницию для слова *spoon*, в которой иллюстративный пример и собственно дефиниция ярчайшим образом демонстрируют противоречие между объективистской методикой построения дефиниции как комплекса родо-видовых признаков и характером употребления слова: *A spoon is an object used for eating, stirring and serving food. One end of it is shaped like a shallow bowl and it has a long handle. He stirred his coffee with a spoon.* [Collins Cobuild, 2006, p. 1399]. Здесь интересно то, что дефиниция во многом построена так же, как и уже рассмотренная нами дефиниция в словаре *The Concise Oxford*. При

этом пример, приводимый в качестве иллюстрации к дефиниции, вовсе не описывает процесс «conveying food to the mouth» или «eating»: пример описывает легкое движение, осуществляемое с помощью spoon. Дело в том, что в материалах корпуса слово spoon наиболее часто представлено в словесных последовательностях в сочетании с такими глаголами, как stir, pour, ladle (out), skim, scoop. Все эти глаголы обозначают действия, характеризующиеся легкостью, отсутствием необходимости прилагать усилие, податливостью среды. Очевидность взаимообусловленности семантической базы этих глаголов и слова spoon проявляется в словарных дефинициях. Вот несколько элементов словарной дефиниции глагола stir в словаре Collins Cobuild: If you stir a liquid or other substance, you move it around ... using something such as a spoon; ... If something stirs or if the wind stirs it, it moves gently (подч. автором) in the wind [Collins Cobuild, 2006, p. 1423]. В сущности, сочетание с данными глаголами является еще одним способом маркировки плана содержания слова spoon. Spoon – сущительное это, прежде всего, элемент ситуации, обладающий способностью обеспечить легкое и мягкое воздействие на среду (scoop and stir), благодаря возможностям формы (curved, smooth surface). Замена слова spoon в любом контексте на предложенное определение его семантической основы не приводит к искажению или разрушению контекста: he stirred his coffee with a spoon – he stirred his coffee with a thing whose smooth curved surface enables an easy and gentle movement; I am melting into you; we fit like spoons – I am melting into you we fit like two things whose smooth curved surfaces enable one to scoop and stir things gently. Здесь необходимо подчеркнуть, что стабильный комплекс ощущений, закрепленный за корневой морфемой spoon в английском языке, не следует рассматривать как эквивалент какой-либо синтаксической словесной последовательности, похожей на словарную дефиницию. Это именно комплекс ощущений, стабильность которого вырабатывается, судя по всему, в процессе усвоения английского языка.

Выделенный нами комплекс ощущений как семантическая основа значения слова spoon оказывается более надежным для установления системности функционирования этого слова в английском языке. То, что для английского языкового сознания

корень *spoon* объединяет комплексное переживание, обусловленное приятным ощущением от способности легко воздействовать на податливую среду при помощи вогнутой ровной поверхности, позволяет установить семантическую мотивированность всех возможных контекстов использования этого корня, оформленного не только как существительное, но и как глагол или прилагательное. Отметим, что в словарной статье практически невозможно увидеть характер связи между первым значением в структуре полисемии: *a utensil consisting of an oval or round bowl ...* и, например, третьим значением: *a silly or demonstratively fond lover*. Проведенный нами анализ показывает, что для английского языка естественно использование слова *spoon* для характеристики действий, связанных с ощущениями близости, мягкости контакта, податливости среды. Более того, на базе словарной статьи сложно точно определить характер значения слова *spoon* в таких сочетаниях, как например отрывок из блога, в котором обсуждаются различные аспекты интимной близости: *but there is nothing I like better than a good spoon. Spooning makes me feel all warm inside, like a cozy cup of cocoa on a chilly winter's eve [Collegecandy, URL]* или как строчки из песни Боба Дилана: *That big, fat moon is gonna shine like a spoon/But we're gonna let it/You won't regret it ... I'll be your baby tonight [Dylan, URL]*. Если же мы способны реагировать на использование слова *spoon* в английском языке, прежде всего, как на знак, содержание которого основывается на описанном выше стабильном комплексе ощущений, то проблема в понимании приведенных отрывков не возникнет.

Приведенные выше наблюдения также показывают, что всем знакомая вещь, которой сегодня пользуются люди, говорящие на самых разных языках, может быть связана с различным по содержанию знаковым обозначением в различных языковых культурах. Большая часть приведенных в статье контекстов не может быть успешно переведена на русский язык с помощью слова *ложка*, что еще раз подтверждает основной тезис о том, что материальная наглядность предмета как нечто первичное по отношению к языку иллюзорна и только препятствует системному осознанию полноты значения словесного знака. Если же искать источник значения в человеческой природе и выявлять значение на основании исследования того, каким образом каждая из

языковых культур группирует комплексы ощущений, закрепляя их за корневыми морфемами в пределах знаковой системы, мы можем получить значительно более полное и убедительное представление о способе использования слов в языке.

Список литературы

- Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М. 1994.
Collins Cobuild English Dictionary. Glasgow. 2006.
Our Nation's Archive /ed. by Bruun E. and Crosby J., NY, 1999.
The Concise Oxford Dictionary. Oxford, 1990.

Электронные источники

- Collegecandy: [сайт]. URL:
<http://www.collegecandy.com/2008/01/07/the-art-of-spooning>
Dylan // Официальный сайт Боба Дилана: [сайт]. URL: <http://www.bobdylan.com/songs/ill-be-your-baby-tonight>
Irony // A-Z LYRICS UNIVERSE: [сайт]. URL: <http://www.azlyrics.com/lyrics/alanismorisette/ironic.html>

Tolochin Igor Vladimirovich (Saint Petersburg, Russia)

WE FIT LIKE SPOONS: A CRITIQUE OF THE OBJECTIVIST APPROACH TO WORD MEANING

Using the word *spoon* as an example, the article offers a critical review of the objectivist approach to word meaning and categorization, and proposes an alternative approach based on the pragmatic understanding of semantics.

Keywords: word, meaning, root, context, category

УДК 811.111'37

В.Е. Фрайман (Санкт-Петербург, Россия)

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ БРИТАНСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ ВАРИАНТАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Статья затрагивает некоторые вопросы лексической типологии на примере сопоставления двух основных территориальных вариантов английского языка – британского и американского. Обращается внимание на языковую природу лексических различий между данными вариантами и проводится функционально-семантический анализ отдельных лексических единиц с целью определения степени их лексической дифференциации и ее последствий.

Ключевые слова: лексическая типология, семантика, территориальный вариант языка, вариантная полисемия

Начиная с классических исследований Э. Сепира и Б. Уорфа в области теории лингвистической относительности, в науке не снижается интерес к сопоставлению лексических систем разных языков [Trudgill, 1974; Бугадов, 1987; Конецкая, 1993], что естественно, так как в этом случае различия очевидны и, следовательно, актуален поиск способов преодоления связанных с этим трудностей. Реже приходится говорить о сопоставлении в пределах системы одного языка, по региональным вариантам, по-видимому, из-за неопределенности проблематики подобных изысканий. Между тем, на таком материале легче проследить начальный этап процесса языковой дивергенции, его обусловленность экстралингвистическими и лингвистическими факторами.

Несмотря на весьма внушительное количество сравнительных исследований, посвященных разновидностям английского языка в мире [Davies, 1953; Dillard, 1978; Crystal, 1995; Jenkins, 2006], большинство из них сводятся к общему описанию данных разновидностей с выявлением различий и составлением их перечней, что, несомненно, имеет практическую (дидактическую) значимость. Известны и попытки более детального рассмотрения

данной темы. В частности, П. Традгилл попытался систематизировать некоторый корпус лексических различий между вариантами одного языка, представив их предварительную классификацию [Trudgill, 2002]. Он выделил случаи, когда присутствует а) одно слово, разные значения (*pants* – Am *trousers*, Br *underwear*); б) одно слово, дополнительное значение в одном из вариантов (*bathroom* – Am, Br *room with bath and shower*, Am *restroom*); в) одно слово, разница в стиле, коннотации, сфере употребления (*autumn* – Br – general use, Am – literary use); г) одно понятие, разные слова (Am *fight* – Br *quarrel*) [Trudgill, 2002, p. 85–95]. Стоит также отметить примеры лексикографической систематизации региональных различий в английском языке (в частности, словарь В.С. Матюшенкова «Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Britishisms and Australianisms», 2002). Среди них выделяются единицы, которые:

1) употребляются в обоих вариантах, но с разными основными значениями (*caravan*, *big dipper* (Am *the Big Dipper*), *bill*, *bonnet*, *braces*, *chips*, *diaper*, *elevator*, *football*, *kerosene*, *lorry*, *muffler*, *napkin*, *paraffin*, *pavement*, *porter*, *silencer*, *slingshot*, *subway*, *tin*, *torch*, *trunk* и др.).

2) характерны для одного из вариантов на современном этапе (Br *bap*, *briefs*, *car park*, *chemist*, *cinema*, *carriageway*, *confectioner*, *fortnight*, *ironmonger*, *loo*, *lorry*, *luggage*, *petrol*, *porridge*, *quarrel*, *queue*, *trousers*; Am *babysitter*, *backpack*, *baggage*, *cookie*, *detour*, *eggplant*, *French fries*, *highway*, *molasses*, *oatmeal*, *pacifier*, *parking lot*, *serviette*, *sidewalk*, *sneakers*, *soccer*).

3) имеют общее системное значение, но различаются по коннотативным признакам или сфере употребления (*autumn*, *bomb*, *lug*)

4) помимо общего значения имеют дополнительные в одном из вариантов (*dear* – Br *expensive*; *bathroom* – Am *restroom*; *janitor* – Am *cleaning custodian*; *draft* – Am *call for military service*).

Попытаемся проанализировать с функционально-семантической точки зрения некоторые из приведённых примеров и определить степень их семантической близости/удалённости и, соответственно, уровень коммуникативных помех, возникающих в общении носителей двух вариантов.

При анализе первой группы лексем просматривается явная связь их вариантных значений по референту. Так, значения сло-

ва *paraffin* («керосин» в AmE, и – собственно «парафин» в BrE), связаны признаком «общность применения». Аналогичным образом связаны значения слова *torch*: Am *fire on a stick*, Br *electric flashlight*. Ещё одна лексема, *pavement*, обозначает разные предметы, но в пределах одного и того же тематического ряда: Am *paved driveway*, Br *sidewalk*. В свою очередь, для вариантных значений *napkin* общим признаком является материал и физические свойства, но разное применение, и это «небольшое» семантическое различие нередко становится помехой в общении американцев и британцев: Am *dinner napkin* (Br *serviette*), Br *baby diaper*. Слово *pants* также относится к общей лексико-тематической группе «одежда», но с разницей в конкретном объекте референции внутри данной группы, то также бывает причиной непонимания. То же самое (т.е. принадлежность к общей тематике) можно сказать о большинстве из приведённых примеров первой группы. Такие же единицы, как *caravan*, *bill*, *chips*, *elevator*, *football*, *lorry*, *muffler*, *napkin*, *paraffin*, *chips*, *kerosene*, *pavement*, с одной стороны, называют в двух вариантах принципиально разные вещи, но с другой, эти вещи закономерно объединены общими неязыковыми атрибутами и свойствами. Следовательно, даже при большом различии в значениях данные семантические признаки, такие как «общая сфера применения», «физические свойства», «предназначение» сохраняются.

Далее, можно видеть, что из приведённых единиц те, что встречаются в одном варианте, практически всегда присутствуют или присутствовали в употреблении и в другом. Например, употребление лексемы *elevator* иногда приписывают исключительно американскому варианту, в то время как это слово по системному значению не является американизмом, просто в Англии оно не используется для понятия «лифт», оно имеет другие значения, являющиеся общевариантными. В этом случае разница состоит в том, какие из употреблений для одного и другого варианта являются первостепенными, а какие периферийными. В случае с уже упомянутыми лексемами *torch* и *bonnet*, мы имеем дело со значениями, которые в одном из вариантов употребляются реже по причине того, что при выходе из употребления называемых ими предметов в одном из вариантов они не развили новых значений и оказались менее востребованными. В Англии лексическая единица *bonnet* приобрела современное значение *lid covering the engine of a car* (AmE

hood), а *torch* стала обозначать *electric lighting pocket device* (AmE flashlight). В Америке же эти лексемы либо не нашли широкого современного применения, либо их новые значения стали периферийными. Тем не менее, их значение понятно каждому носителю языка. Краткий опрос среди носителей языка показал, что с единицей *bonnet* они, прежде всего, связывают значение *women's old-time hat*, кроме тех, кто мог назвать британское употребление этого слова, но даже в этом случае определение слова давалось через его американский эквивалент *car hood*. Аналогично, слово *torch* ассоциируется у американцев, в первую очередь, с его историческим значением, переданным через литературу. Например, у Н. Готорна: «*The spell of life went forth from her ever-creating spirit and communicated itself to a thousand objects, as a torch kindles a flame wherever it may be applied*» [Hawthorne]. Тем не менее, очевидно, из-за простоты односложной формы слово нашло применение в некоторых неформальных сферах употребления, в частности, в американском криминальном сленге, став соответствием понятию *arsonist* «поджигатель». Таким образом, в сознании предшественников обоих вариантов закрепились исторические значения этих слов (*woman's hat* и *stick with a flame*), что, по-видимому, объясняется тесной связью литературного наследия двух стран, поскольку: а) английская классическая литература активно изучается в американских общеобразовательных школах; б) классическая американская литература, которую читают сегодня американцы, ближе по языку к английской, чем современная, т. к. создавалась в период, когда лексические различия были ещё не так сильны. Более того, речь американцев вплоть до 20-го века сохраняла большинство тех черт, которые сегодня считаются сугубо британскими. Г. Прингл в своей биографии Т. Рузвельта (1931) цитирует слова сенатора Э. Хармана, датированные 1906 годом: «*...because of my taking*» an active part in the autumn of 1904 at his request... About a week before Election in the autumn of 1904...» [Pringle, 1931, p. 451]. Сам Прингл в книге использует ныне редко встречающиеся в Америке слова, что показывает, насколько ещё близок в послевоенное время был язык американцев к Старому свету: «*Intolerance toward the Catholic Church had nothing whatever to do with Roosevelt's quarrel with the Pope*» [Pringle 1931, p. 70].

Такие слова, как приведённая в примере единица *quarrel*, вышедшая из повседневной речи американцев, могут и сейчас встречаться в Америке, но в весьма ограниченных контекстах (преимущественно в письменно-литературной речи). Соответственно, такие слова имеют территориальные различия в употреблении, сохраняя при этом стилистические сходства.

Другой фактор – это развитие средств коммуникации и культурные связи, благодаря чему носители двух вариантов постоянно «знакомятся» с изменениями в речи друг друга. При этом некоторые исследователи отмечают преобладающую роль варианта *American English*, постепенно проникающего в Великобританию. Традгилл приводит ряд американизмов, с недавнего времени вытеснивших британские эквиваленты: *briefcase, dessert, junk, radio, raincoat, soft drinks, sweater* [Trudgill, 1998, p. 35, цит. по Jenkins, 2006, p. 78]. Важно подчеркнуть слово «вытеснивших», поскольку говорится не о случаях заполнения лексических лакун, а о замене уже существующих единиц под влиянием американской речи. Главную роль в этом процессе «вытеснения», несомненно, сыграл выход США в экономические лидеры в мире и одновременно политическое, а следственно и культурное сближение двух стран на фоне войн [см. Crystal, 1995, p. 106]. Британские деятели культуры также сделали многое, чтобы «представить» Америку жителям Британских островов, став комментаторами и популяризаторами американских языковых традиций в Англии. К таковым относится А. Кук, в чьих «Письмах из Америки» часты примеры вторичного употребления американизмов: «*I saw my first English soccer match in decades ... To watch any soccer player in the moment after he has socked the ball into the net would give a man from Mars the impression that he was seeing a film clip of VE Day...*» [Cooke (1972), 1995, p.8] (обыгрывание лексемы *soccer* при помощи *has socked* указывает на то, что автор не использует слово как обычное для своей речи).

Таким образом, большинство вариантных лексико-семантических различий не выходит за рамки одной предметно-тематической сферы: рассмотренные лексические параллели просто по-разному ее аспектируют. Сходное восприятие общеанглийских лексических единиц носителями обоих вариантов в значительной степени обусловлено историко-культурной общностью. Соответственно,

степень лексической близости между британским и американским вариантами на современном этапе остается достаточно высокой и фактор межвариантной интерференции при речевых контактах в целом не препятствует осуществлению основной, информативной функции. При этом можно констатировать начальные признаки дивергенции английского языка, которую, тем не менее, сдерживает наличие общего информационного пространства в условиях глобализации, что существенно отличает современную ситуацию территориального разделения языков от предыдущих эпох. В этих условиях остается открытым вопрос о дальнейшем развитии этого процесса: подвергнется ли английский язык еще большей дивергенции (как считает Д. Кристал), или же, напротив, возобладают конвергентные тенденции (П. Традгилл [см. Jenkins, 2006, p.79]).

Список литературы

- Cooke A. *Fun & Games With Alistair Cooke*. London, 1995.
Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. NY., 1995.
Jenkins J. *World Englishes*. London, NY, 2006.
Pringle H.F. *Theodore Roosevelt: A Biography*. NY, 1931.
Trudgill P. *Sociolinguistics*. Baltimore, 1974.

Freiman Vasily Yevgenyevich (Saint Petersburg, Russia)

ON LEXICAL DIFFERENCES BETWEEN BRITISH ENGLISH AND AMERICAN ENGLISH

The paper touches upon a number of issues within lexical typology using a comparison of British English and American English – the basic geographical varieties of the English language. The author focuses on the nature of lexical differences between the said varieties with a subsequent semantic analysis of specific lexical items in which we compare geographical meanings and functions of these items. The goal of the analysis is to identify the degree of lexical divergence between British English and American English.

Keywords: lexical typology, semantics, geographical variety of a language, dialectal polysemy

УДК 811.111: 82-1

В.С. Широносова (Санкт-Петербург, Россия)

**НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТНОСТИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
АВСТРАЛИЙСКОЙ БАЛЛАДЫ
(на примере баллад о бушрейнджерах)**

В статье рассматривается языковая картина мира австралийской баллады о бушрейнджерах. Она обусловлена жанровыми доминантами баллады и национально специфична. Национальные особенности наиболее эксплицитно проявляются на лексическом уровне. Изучение лексических единиц со значением предметности в текстах австралийской баллады дает возможность понять способ восприятия действительности, присущий определенному народу.

Ключевые слова: языковая картина мира, языковая репрезентация национально-культурной специфики, баллада, песни буша, значение предметности, бушрейнджер

Понятие «картина мира» выражает специфику человека и его бытия, его взаимоотношение с миром, важнейшие условия его существования в мире. Картина мира возникает у человека в процессе его контактов и взаимодействий с внешним миром и формирует его тип отношения к миру: природе, другим людям, задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к жизни [Апресян, 1995, с. 45]. Картина мира понимается как результат всестороннего познания действительности, совокупность научных знаний, религиозных представлений, этических, художественных ценностей определенного социума, проживающего на определенной территории в конкретную историческую эпоху, закрепленных в различного рода текстах [Постовалова, 1988, с. 48]. Исследованию явления «картина мира» посвящены труды таких ученых, как Г.А. Брутян, Т.И. Воронцова, Г.Д. Гачев, А.В. Головачёва, О.Н. Гронская, Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин, В.И. Постовалова, Б.А. Серебrenников, В.И. Телия и др. Языковая картина мира

национально-специфична, поскольку способы осознания мира не идентичны для разных народов. Его восприятие зависит от национально-культурных особенностей носителей конкретного языка, поэтому национально-культурная составляющая картины мира складывается под влиянием системы факторов, связанных с культурной традицией; с социальной ситуацией, средой обитания данного социума, а также факторов, определяемых спецификой языка данной общности.

Жанровая организация художественного текста определяет особенности языковой репрезентации картины мира. Специфика вербального отражения действительности австралийцами находит наиболее яркое отражение в балладных текстах [Воронцова, 2004, с. 34–36].

Важнейшим средством объективации знаний о предметном мире выступает категоризация предметных знаний с помощью различных семантических категорий, лексических и грамматических значений. Словарный состав языка непосредственно связан с предметным миром человека, его социально-историческим опытом и национально-культурными особенностями [Серебрянников, Кубрякова, Постовалова, 1988, с. 117; Тураева, 1986, с. 13–21]. В австралийской литературе национально-культурно маркированная лексика находит наиболее яркое выражение в жанре народных песен и баллад [Андреева, 1978, с. 7–17; Орлов, 1978, с. 92–94]. Отдельную группу австралийских баллад составляют баллады о бушрейнджерах – беглых каторжниках, вставших на защиту народа. По замечанию Боксела Г.Е., преступники, которым удавалось сбежать из тюрьмы, прятались в отдаленных землях, лесах, то есть в буше, таким образом, за ними закрепилось указанное название. Большинство разбойников буша грабили только богатых землевладельцев [Boxall, 1907, p. 1–16]. Важно отметить, что на протяжении долгого времени Австралия была английской колониальной каторгой. Основу населения формирующейся страны составляли привезенные из Англии заключенные, многие из которых оказывали значительное влияние на общественную жизнь первых поселений. Поскольку на раннем этапе развития литература Австралии во многом опиралась на английские традиции, можно предположить, что основой баллад о бушрейнджерах послужили традиционные баллады о Робине Гуде и ирландские песни протеста.

Среди сюжетных линий 94 проанализированных баллад о бушрейнджерах можно выделить: 60 баллад, посвященных жизни и подвигам определенных бушрейнджерах (16 баллад о Нэде Келли, 11 баллад о Джеке Донаху, включая варианты баллад *The Wild Colonial Boy*, *Bold Jack Donahoe*, 8 баллад о Бене Холле, 4 баллады о Джимми Говене, 3 баллады о Джоне Гилберте, 3 баллады о Дэне Моргане, 2 баллады о Фредерике Уорде, 2 баллады о Гарри Пауве, 2 баллады о Гарри Уилсоне, также, встречаются единичные баллады, повествующие о других бушрейнджерах (*Jack Power*, *The Ballad Of Jack LeFroy*, *Lightning Jack*, *The Kenniffs*, *The Heroes of Cornwall*, *Taking His Chance*, *Freedom of a Contract Flag*, *Featherstonhaugh*, *The Death of Halligan*); 16 баллад повествуют о жизни преступника, ставшего впоследствии поэтом (*The Prison Poet*, *I'm out in the world once more | And I mean to run the rig | For I've learned from the prison lore... (Untitled verse)*, *It is not in a prison drear | Where all around is gloom | That I would end life's wild career | And sink into the tomb... (Untitled verse)*, etc.); 11 – рассказывают об особенностях жизни бушрейнджера: вооруженных нападениях и грабежах, взаимодействии с мирным населением, борьбе с полицией и т. д.; 5 баллад описывают транспортировку заключенных (*Botany Bay* (имеет 2 варианта), *Shores of Botany Bay*, *Catalpa*, *Jim Jones*); героями 2 баллад становятся женщины-заключенные (*Convict Maid*, *Female Transport*). Тематика баллад о бушрейнджерах позволяет в полной мере представить условия их быта и традиционные занятия.

В текстах анализируемых баллад достаточно широко представлены семантические единицы с предметно-субъектным значением. Ключевым конфликтом баллады рассматриваемого типа является противостояние между бушрейнджерами и государственными вооруженными силами, поэтому в системе имени существительного выделяются две группы имен нарицательных, репрезентирующих представителей обоих классов: *troopers*, *horse soldiers*, *bloodhounds of the law*, *blue-coat imps*, *man in blue*, *policemen*, *inspector*, *traps*, *sergeant*, *judge*; *outlaws*, *bushrangers*, *thieves*, *squatter bloke*, *cove*, *recruits*, *partisans*, *killer*, *marauder*, *highwayman*, *robber*, *rover*, мотив борьбы усиливается и за счет употребления такие единиц как, *enemy*, *foe* (о солдатах, полицейских), *hero(es)* (о бушрейнджерах). Среди имен собственных,

называющих персонажей баллады, также возможно осуществить разделение на две соответствующие группы: *Ben Hall, John Gilbert, Johnny Vane, John Dunn, Jack Power, Dan Morgan, Ned Kelly, Jack Dean, Jack LeFroy, Frank Gardiner, etc.* (бушрейнджеры); *Lonergan, Mac, McIntyre, Kelly Davis, and Fitzroy, Sergeant Middleton, trooper Scott, etc.* (солдаты, полиция).

Возможность четкого разделения лексических единиц на две антагонистичные группы подчеркивает сюжетную одноконфликтность, свойственную балладе. Интересно отметить, что имена бушрейнджеров, упоминаемые в балладах, не вымышлены. Субъекты действия также вербализируются при помощи имен собственных, обозначающих возлюбленных бушрейнджеров: *May Carney, Marion Lee, Kate Carew, Molly*. Частое употребление семантических единиц с предметно-субъектным значением, обозначающих действующих лиц, свидетельствует об активности персонажей и следовательно, о динамичности повествования. Эта динамичность усиливается диалогами.

К числу существительных, репрезентирующих предметно-субъектное значение, относятся имена нарицательные в форме множественного числа, обозначающие людей, (*bush-folk, draymen, friends, associates, pals, boys, lads, ladies, Old People, women, old men, babies, bush girls, mates, comrades, colonials companions*). Отдельную группу составляют нарицательные имена, выражающие степень родства (*mother, father, parents, wife, brother, daughter, son, widow*), которые также выступают в качестве объекта действия. Необходимо подчеркнуть, что имена с предметно-субъектным значением национально-культурно ориентированы. Через рассматриваемые единицы манифестируются особенности общественной организации Австралии, а также ее социальный состав.

Существительные с предметно-субъектным значением, обозначающие природные явления и объекты, сводятся к нескольким единицам: *moon, moonlight, sea, sun, sunset, night*. Встречаются названия животных (*mare, The Swagman (кличка лошади), horse, sheep*) и диких животных (*boobook, bush-creatures*). В рамках картины мира австралийской баллады ключевым действующим лицом является одушевленный субъект, хотя отмеченные природные объекты способны к действию. Большое количество

имен с предметно-субъектным значением свидетельствует о центральном месте человека в балладном дискурсе. Важной функцией перечисленных имён является обеспечение динамичности повествования.

Способы вербализации семантических единиц с предметно-объектным и предметно-субъектным значением во многом совпадают. Используемые в рассматриваемых текстах обозначения объектов могут быть объединены в следующие семантические группы: преступление и наказание, тюрьма (*pillage, robbery, plunder, stretch, judge, jury, irons, chains, prisoner, handcuffs, convict, criminal, crime, floggers, warrant, liberty*), борьба с властями (*war, blood, grave, struggle, tyrants, slavery, wound, etc.*), преследование, погоня (*capture, haunt, chase, trail, hunt, persecution, horseman, rider*), лица или материальные ценности, становящиеся объектом или целью преступления (*money, mail coaches, gold, possession, banks, public houses, horse, publicans and sinners, cockatoos, cow-cockies kids, etc.*). Значительное место в анализируемых текстах занимает группа имен, обозначающих оружие и амуницию: *revolver, pistols, bullet, trigger, carbines, gun, buffalo-gun, bulldog* (крупнокалиберный револьвер), *rifle, ball, powder, blunderbuss, sabre, etc.*, что указывает на особую роль оружия в картине мира бушрейнджера. Семантические единицы с предметно-объектным значением, как видим, отражают быт бушрейнджеров и их традиционные занятия. При помощи указанных единиц через тексты баллады транслируются морально-этические устремления и ценности формирующейся нации.

Значение предметности также вербализуется при помощи абстрактных имен существительных, число которых достаточно велико (*courage, shame, doom, wrath, vengeance, misery, treachery, bravery, oblivion, etc.*), и имен собирательных (*populace, band, gang, family, jury, police*).

Австралийские баллады не отличаются обилием стилистических средств и фигур речи. Наиболее распространенным приемом является сравнение: *like a rocket, like a lonely isle, like silver, like a sieve, like ice, like a nigger, like a ghost, like a lord*, во многих случаях через перенос названий животных на человека осуществляется выражение оценочных, фразеологически связанных значений: *like a dog, like a swallow, like a tiger, like a hunted fox, like*

a hawk, like a beast forlorn, like a human hound, like a kangaroo, as stealthily as serpents, etc. Сравнение вызывает яркие ассоциации и легко воспринимается слушателями.

Итак, языковая картина мира текстов австралийской баллады детерминирована доминантами жанра и национально обусловлена. Австралийская баллада о бушрейнджерах характеризуется динамичностью, сюжетностью, одноконфликтностью, диалогичностью, а также фрагментарностью повествования. Национальные особенности особенно ярко проявляются на лексическом уровне. Изучение языковых средств позволяет выявить национально-культурную специфику австралийской баллады и, тем самым, приблизиться к постижению особенностей мировосприятия австралийцев.

Список литературы

Андреева М.Г. От подражательности к национальному своеобразию (из истории австралийской поэзии XIX века) // Австралийская литература / Под ред. А.С. Петриковской. М., 1978. С. 7–42.

Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного писания // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37–67.

Воронцова Т.И. Концептуальная картина мира текста баллады (на материале английских и шотландских баллад): Монография. СПб., 2004.

Орлов Г.А. Современный английский язык в Австралии: Учебное пособие для пед. вузов. М., 1978.

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Б.А. Серебрянников, Е.С. Кубрякова, В.И. Поставалова и др. М., 1988.

Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.

Voxall G.E. History of the Australian Bushrangers. London, 1907.

Shironosova Varvara Sergeevna (Saint Petersburg, Russia)

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE WORLD VIEW IN AUSTRALIAN BUSHRANGER BALLADES

The article considers the language representation of the world view in the Australian bushranger ballades. It depends on the national specificity and is determined by the basic characteristics of a ballad. National peculiarities are explicitly exposed on the lexical level. Thus, the analysis of lexical units in Australian ballads gives an opportunity to understand the perception of the world peculiar to a definite nation.

Keywords: linguistic picture of the world, specific features of national culture conveyed by linguistic means, ballad, bush songs, bushranger

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ

УДК 811. 1/8

И.М. Гасанова (Санкт-Петербург, Россия)

ЯЗЫКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОМ РОМАНЕ

Статья посвящена языковому моделированию профессиональной самоидентификации в тексте постколониального романа, концептуальную основу которого формирует оппозиция «свой-чужой». Эффективным средством моделирования называется использование автором вопросительных конструкций и смысловых рядов противоположной оценочной направленности.

Ключевые слова: самоидентификация, профессиональная самоидентификация, художественный текст, постколониальный роман, «чужая» культура, оценочная коннотация, эмоционально-смысловой ряд

Информационная революция в середине XX века, ускорившая информационный обмен в глобальных масштабах, усилила интеграционные процессы в социально-политической, экономической и культурной сферах жизни человека. Эта интеграция идей, ценностей и традиций разных культур обусловила актуальность описания проблем, связанных с самоидентификацией человека. Под самоидентификацией понимается комплексная деятельность человека по самоопределению, тесно связанная с его мироощущением как личности, с его поведением в социуме, с проблемами личностного развития и взаимоотношений [Большая Российская Энциклопедия, 2008, с. 236].

Человек – часть материального мира – соотносится с окружающими его природным и социальным мирами, индивидами и с самим собой, живёт в обществе, и поэтому его самоидентификация возможна лишь во взаимодействии с другими людьми.

Являясь представителем определённой национальной общности и языковой личностью, человек, концептуализируя реальный мир, руководствуется определенными нормами, ценностями и стереотипами, которые находят отражение в его индивидуальной картине мира.

Художественный текст представляет собой собой художественную модель реального мира. Действительность отражается в нём через созданные автором индивидуальные образы. Иными словами, текст неизбежно несёт в себе печать субъективности, что определяется отражением в нём авторского мировосприятия и авторской мирооценки [Щирова, Тураева, 2005, с. 45]. Автор текста, используя определённый набор языковых средств, может моделировать, т.е. создавать художественный аналог, любого феномена реальной действительности. Это касается и процесса самоидентификации, который выступает предметом нашего научного интереса. Плодотворный материал для исследования особенностей художественного моделирования процесса самоидентификации предлагает текстолингвисту постколониальный роман, поскольку его персонаж всегда оказывается перед необходимостью найти своё место в «чужой» культуре, которой присуща иная картина мира, т.е. находится в процессе самоидентификации.

Протагонист романа Дж. М. Кутзее «Youth», как следует из повествования, родился и некоторое время прожил в Кейптауне, а затем уехал в Лондон, поставив перед собой цель стать профессиональным поэтом. Сталкиваясь с реалиями новой жизни, герой пытается к ним адаптироваться: старается быть в курсе литературных событий, стремится к встречам с людьми искусства, однако, постепенно приходит к отторжению «чужой» культуры.

Внутренние терзания протагониста имплицитно используются частым использованием риторических вопросов:

What kind of world is this in which he lives? [Coetzee, 2002, p. 85]. What would be the point? [ibid, p. 85–86]. Do inner qualities count for nothing? [ibid, p. 71]. Is living on the brink of physic collapse not as good as living on the brink madness? [ibid, p. 59].

Вопросу присуща стилистическая функция напряжения, поскольку он всегда «ждёт» ответа. Риторические же вопросы расцениваются как действенное средство возрастания внутреннего напряжения [Пфютце, 1978, с. 236]. Вопросительная конструк-

ция предложений становится в тексте романа важным средством изображения поступательного движения мысли протагониста, создаёт видимость самостоятельности этой мысли, иллюзию саморефлексии. Эмоциональное напряжение протагониста вызвано его желанием разобраться в различиях «своих» и «чужих» («других») жизненных норм и ценностей, понять себя и своё предназначение в жизни, оказавшись в условиях иной культуры. Вопросы, активно используемые во внутреннем монологе, становятся средством моделирования не только динамики мысли персонажа, но и поисков ответа на вопрос: «Кто Я?».

Важное место в этих поисках занимает профессиональная самоидентификация. Текст насыщен вопросами, указывающими на состояние неуверенности и сомнений в отношении своей профессиональной состоятельности, что характерно для процесса обретения личностью себя: Достоин ли персонаж великой миссии (Ср. *great poetry*)? Достаточно ли глубок и богат его внутренний мир? Не теряет ли он творческий порыв? Не придётся ли ему из-за этой потери, если она имеет место, «довольствоваться» «менее престижной», чем поэзия, прозой?

«Is that what prose secretly is: the second-best choice, the resort of *failing creative spirits*?»: «...he wonders whether *emotions* as *monotonous* as his will ever fuel *great poetry*. The *musical impulse* within him, *once so strong*, has *already waned*. Is he now in the process of *losing the poetic impulse*? Will he be driven from poetry to prose? Is that what prose secretly is: the second-best choice, the resort of *failing creative spirits*?» [Coetzee, 2002, p. 60].

В процитированном микроконтексте выделенные курсивом слова и словосочетания наделены положительными или отрицательными оценочными коннотациями и формируют противоположные по направленности эмоционально-смысловые ряды. Так, в описание поэзии и качеств, которыми, как считает протагонист, должен обладать поэт, включаются эпитеты, нагруженные положительными узуальными или окказиональными коннотациями: *great (poetry)*, *creative (spirits)*, *strong musical (impulse)*, *poetic (impulse)*. В описание эмоционального состояния героя, которое далеко от творческого подъёма, напротив, включены языковые единицы с отрицательной оценочной семантикой: *monotonous (emotions)*, *waned*, *losing*, *failing (creative spirits)*.

Приведём некоторые словарные дефиниции:

monotonous – tediously unvarying (-);

to wane – to fall gradually from power, prosperity, or influence; to become less powerful (-);

to lose – to bring to destruction; to miss from one's possession or from a customary or supposed place (-);

to fail – to fade or die away; to lose strength; to disappoint the expectations

[<http://www.merriam-webster.com/dictionary>].

Противоположная оценочная направленность эмоционально-смысловых рядов убеждает читателя в том, что протагонист, мечтой и целью которого является занятие поэзией (He wants to go to poetry readings, meet writers and painters... The city (London – И.Г.) from which he must learn to write), находится в состоянии неуверенности, связанной с желанием обрести определённый профессиональный статус и отсутствием необходимых для этого качеств.

В качестве ступеней профессиональной самоидентификации можно рассматривать и иные рассуждения протагониста, например, возникающее в его сознании сравнение жизни офисного клерка и творческой личности художника. Жизнь клерка, несмотря на её внешнее благополучие (Ср.: *to dress in a black suit*), зачастую оканчивается одиночеством и связями, лишёнными настоящей любви. Нелегка и жизнь художника, который лишён материальных благ и порой вынужден влачить жалкое существование, как это делает сам герой: *to hide out in a garret room [...] for which you have not paid the rent? Or wander from café to café, bearded, unwashed, smelly, bumming drinks with friends*. И, тем не менее, уверенности в том, что художник приносит на алтарь профессии большую жертву, чем «простой» клерк, у героя нет (*Why is it a greater sacrifice, a greater extinction of personality...*). Подобный вывод «героя» убеждает читателя в незавершённости процесса профессиональной самоидентификации:

«*Why is it a greater sacrifice, a greater extinction of personality, to hide out in a garret room on the Left Bank for which you have not paid the rent, or wander from café to café, bearded, unwashed, smelly, bumming drinks with friends, than to dress in a black suit and do soul-destroying office-work and submit to either loneliness unto death or sex without desire?* » [Coetzee, 2002, p. 59].

Внутренний монолог героя эксплицирует его переживания, связанные с познанием себя как личности и как писателя, а также с тем, сколь болезненной, а иногда и просто невозможной, является для него адаптация к обычаям и ценностям «чужой» культуры. Герой оказывается не в состоянии принять тот образ жизни, который до него вели многие писатели этой культуры, чтоб получить вдохновение. Жизненные модели, усвоенные им на родине, и новые жизненные модели оказываются в ситуации конфликта:

«Century ago poets deranged themselves with opium or alcohol so that from the brink of madness they could issue reports on their visionary experiences. By such means they turned themselves into seers, prophets of the future. Opium and alcohol are not his way, he is too frightened of what they might do to his health» [Coetzee, 2002, p. 59].

Сознание постколониального субъекта – личности, находящейся в пограничном состоянии («между» двух культур), основано на неустойчивой, принципиально незавершённой и негативной самоидентификации, связанной с проблемой культурной дислокации, перемещения в «чужую» культуру. Одной из форм негативной самоидентификации может явиться важная потребность личности – профессиональная самоидентификация. Трудности, возникающие в её процессе, нередко вызывают внутренний конфликт, отражающий ощущение «инаковости». Эффективным средством художественного моделирования универсальной оппозиции «свой-чужой» на примере профессиональной самоидентификации в тексте постколониального романа выступает формирование эмоционально-смысловых рядов противоположной оценочной направленности. Процессуальный характер профессионального самоопределения в плане изображенной коммуникации отображают вопросно-ответные комплексы и риторические вопросы. Они позволяют судить об изменениях в картине мира квазисубъекта, вызванных необходимостью учитывать нормы, ценности и стереотипы «чужой» культуры, в которой он, как и субъект реального мира, должен найти своё место.

Список литературы

- Большая Российская Энциклопедия. Т.13. М., 2009. С. 236.
- Левина Э.А. Национальная языковая картина мира как единство общечеловеческого и национально-специфического содержания // Лингвистика и литературоведение. Вестник ПГЛУ. 2005. № 1. Пятигорск, С. 70–75.
- Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека. // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988. С. 8–69.
- Пфютце М. Грамматика и лингвистика текста // НЗЛ. Вып. VIII. М., 1978. С. 218–243.
- Щирова И.А., Тураева З.Я. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы. СПб., 2005.
- Coetzee J.M. Youth. London, 2002.

Электронные источники

Merriam-webster: [сайт]. URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary> (дата обращения: 04.04.2012).

Gasanova Indira Maksimovna (Saint Petersburg, Russia)

LANGUAGE MODELING OF PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION IN POSTCOLONIAL NOVEL

The article is devoted to language modeling of professional self-identification in the postcolonial novel, the opposition «familiar /alien» treated as the conceptual basis of this text type. The author's use of interrogative structures and evaluative rows, charged with opposite connotations, is claimed to be an effective means of modeling the opposition.

Keywords: professional self-identification, postcolonial novel, «alien culture», evaluative connotation, semantic row

УДК 81'42

М.Н. Еленевская (Хайфа, Израиль)

**КАК БЫТЬ ЧУЖАКОМ:
ЯЗЫКОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАРОДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
(по материалам Интернета)**

В статье рассматриваются тексты популярного жанра фольклора в Интернете – юмористические перечни о странах и городах мира. Анализируются рефлексии эмигрантов последней волны о сохранении родного языка в иноязычном окружении, о билингвизме и эволюции языковой идентичности в диаспоре.

Ключевые слова: народная лингвистика, билингвизм, сохранение и утрата языка, диаспора

Размышления о языке, его употреблении и изменениях отнюдь не являются прерогативой профессиональных лингвистов. В каждом языковом коллективе бытуют представления и суждения о языке и его функциях, выработано отношение к различным языкам и идиолектам и к речевой коммуникации в целом. Несмотря на субъективную природу таких представлений, они могут быть настолько широко распространены и стереотипны, что приобретают объективную силу и внутри языкового коллектива и за его пределами [Bugarski, 1980, p. 381]. В качестве примеров можно привести народную этимологию, которая сопутствует появлению в языке новых слов, народную интерпретацию этнонимов и топонимов, а также представления об одних языках как о «красивых» и «благозвучных», а о других как о «шипящих» или «лающих». Восприятие своего языка как красивого, богатого и правильного, а языка чужака, как некрасивого, бедного и искаженного, широко используется в народной смеховой культуре. Будучи анонимными и часто подсознательными, народные представления о языке передаются из поколения в поколение и даже закрепляются институционно, когда распространяются в системе образования и популяризируются в средствах массовой

информации. Однако языковеды долгое время игнорировали «языковой фольклор», не доверяя интуиции рядовых носителей языка и предпочитая пользоваться собственными наблюдениями и результатами экспериментов. Лишь в 1960-е годы, когда стала бурно развиваться социалингвистика, народные теории о языке стали предметом пристального изучения американских лингвистов, проводивших полевые исследования и в городской среде, где уживались разные идиолекты, и в сложных многоязычных сообществах [Spolsky, 2011, p. 13]. Первым широкую программу изучения народных рассуждений о языке, интерпретации представлений о языковых явлениях и сборе народной лингвотерминологии предложил Г.Хенигсвальд [Hoenigswald, 1966], а наиболее полное исследование было проведено Н. Нидзильски и Д. Престон [Niedzielski, Preston, 1999]. Дополнительный импульс к изучению народной лингвистики дали глобализация и установка многих стран мира на мультилингвизм и мультикультурность. Известно, что изучение новых языков побуждает нас сравнивать их с родным, радоваться найденным сходствам, осмысливать и пытаться объяснить различия языковой картины мира разных народов [Тураева, 2009]. С ростом популярности Интернета появился новый коммуникационный канал, который не только позволяет и профессионалам и непрофессионалам вести на равных дискуссии о разных аспектах языка, но и дает практически неограниченный доступ к этому материалу исследователям [Еленевская, 2011, с. 106–108].

Цель данной статьи проанализировать, как тема отношения к родному и чужому языку, а также наблюдения за речевым поведением членов своего языкового коллектива представлены в дискурсе эмигрантов последней волны в юмористических текстах-перечнях «Вы слишком долго прожили в Н., если...», размещенных в Рунете. Тексты этого типа классифицируются в литературе как офисный фольклор, так как их распространению способствовало появление копировальных машин, факсов, а в дальнейшем и электронной почты [Dundes, Pagter, 1987]. Тематика перечней разнообразна, например: «Вы родом из 80-х, если...», «15 фактов о питерцах», «10 признаков того, что вы настоящий студент» и т. д.). Перечни часто являются результатом коллективного творчества участников Интернет-форумов и пред-

ставляют собой своеобразную игру, в которой один из участников предлагает тему и начинает перечень, а остальные добавляют новые пункты. Наиболее популярные перечни тиражируются в сети и обсуждаются участниками дискуссионных форумов и блогов месяцами.

Как и многие другие продукты постсоветской массовой культуры, перечни «Вы слишком долго прожили в Н., если...», заимствованы из Америки, где они сначала появились на страницах печати, а в дальнейшем распространились в Интернете. В конце 90-х некоторые из них были переведены с английского языка на русский (Ср.: «Вы слишком долго прожили в России, если...»), а затем, когда россияне стали часто выезжать за границу на работу и учебу, приобрели популярность и среди русскоязычных пользователей Интернета. Перечни предлагают удобный формат для создания портрета чужой страны, позволяя лаконично описать и выразить отношение к непривычному климату и природе, традициям и праздникам, поведенческим моделям и этикету. Особое место в перечнях анализируемой группы текстов занимают наблюдения за эволюцией языковой идентификации членов эмигрантских сообществ и изменениями речевого поведения (подробно см. анализ этого типа текстов в [Еленевская, 2012]).

Материалом исследования послужили 150 текстов, отобранные с помощью ключевых слов в поисковой системе Яндекс. В выборке оказались тексты, посвященные 40 странам на всех континентах. Особо отметим, что 8 из них расположены в так называемом «ближнем зарубежье». Это еще раз подтверждает, что люди могут чувствовать себя чужаками вследствие политических и социальных перемен, даже не уезжая из страны, в которой родились. Наиболее ранние тексты выборки датированы 2000 годом (хотя известно, что некоторые из них циркулировали еще в 1990-е годы). Пик продуцирования текстов пришелся на 2003–2006 год. В комментариях перечни, посвященные странам и городам, нередко называются «баян», что на Интернет-сленге обозначает – хорошо известный или устаревший текст. Тем не менее, они продолжают воспроизводиться, пополняться новыми деталями и эмоционально комментироваться читателями. Последний из зафиксированных мной текстов датирован 23 мая 2011 года [<http://blog.i.ua/user/180383/714152/>]. Самый короткий перечень в выборке, все-

го 6 пунктов, посвящен Армении, а самый длинный, описывающий жизнь в Великобритании, насчитывает 204 пункта. Особо надо отметить, что, несмотря на ироничность описаний, перечни о странах появляются на сайтах туристических компаний, использующих их в качестве рекламы.

В рамках короткой статьи невозможно затронуть все темы, связанные с употреблением языка в анализируемом материале. Остановимся лишь на тех, которые доминируют в выборке. В литературе о языке современного русского зарубежья неоднократно отмечалось желание эмигрантов последней волны сохранить русский язык и передать его второму поколению [Еленевская, Филалкова 2005; Комарова 2002; Протасова 2004]. Практически, во всех анклавах, в которых проживают русскоговорящие, созданы центры, знакомящие детей и подростков с русской культурой и обучающие языку, выходят газеты и журналы на русском языке, созданы русские Интернет-порталы. Эмигранты продолжают играть в КВН и «Что, где, когда», устраивать концерты и фестивали авторской песни, вечера и конкурсы поэзии [см., например, Тураева, 2011, с. 25–26]. Тем не менее, давление языка принимающего общества ведет к контаминациям в русском языке, обеднению словарного запаса, калькированию и интерференции с языком большинства. Практически все перечни демонстрируют, что их авторы осознают эти процессы:

- Вас начали раздражать фразы «пол-пятого, пятнадцать минут второго, без пятнадцати семь», ибо вы перестали их понимать, и они вас путают... (Великобритания)

- Ваш родной язык серьезно ухудшился, и время от времени проскакивают выражения типа «есть лекарства»,¹ «открывать телевизор» и «закрывать свет» (Финляндия).

- На вопрос по-русски «Нет ли у вас без сдачи?» отвечаете не «Есть», а «Да» (Израиль).

- Вы испытываете панику, когда понимаете, что человек, с которым вы разговариваете, не понимает шведского, а вы не сможете вставлять в русский язык шведские понятия через одно (Швеция).

Дискуссии, в которых комментируются перечни, чаще всего транснациональны, и их участники делятся примерами конта-

¹ Стиль, синтаксис и орфография цитируемых отрывков не редактировались.

минаций, распространенных в различных анклавах. И авторы, и комментаторы обращают внимание на то, какие слова родного языка быстро заменяются словами языка принимающей страны. Таковыми оказываются, прежде всего, лексические единицы, обозначающие социально-культурные явления, не существующие в культуре страны исхода (например, праздники и ритуалы, членение дня и недели, формы приветствия и т. д.), названия местных блюд и напитков, а также слова, связанные с профессиональной деятельностью и канцеляризмами, знание которых необходимо для общения с местными чиновниками. Как видно из последнего из приведенных выше примеров, привычка к смешению кодов становится неотъемлемой частью языкового поведения мигрантов с соплеменниками, но оказывается помехой при общении по-русски за пределами своей эмигрантской общины.

Признание постепенной утраты родного языка далеко не всегда воспринимается участниками обсуждений, как повод для веселья. Бурная дискуссия развернулась, например, на «Русском форуме в Дании» по поводу пункта: «Когда легче объяснить по-датски, чем подыскивать слова по-русски». Одни участники приводили примеры тех фраз и выражений, которые, как они считают, нет смысла употреблять по-русски, «Особенно, когда в местных реалиях на 100% живешь глубоко и не первый год, а не так, что «туда-сюда». Другие, однако, склонялись к мнению, что это «бред и показуха» [<http://rusforum.dk/lofiversion/index.php/t3438.html>]. Хотя об этом и не было сказано прямо, из обсуждения ясно следовало, что участники понимают, что поддержка родного языка требует глубоко осознанного решения и постоянных усилий, даже у эмигрантов 1-го поколения, т. е. эмигрировавших взрослыми.

Сложности освоения нового языка в перечнях почти не отражены, за исключением упоминания тех слов или грамматических явлений, которые поначалу представляют особые трудности, например:

- У вас уже начала появляться надежда, что когда-нибудь вы освоите *osastav* (падеж партитив) (Эстония);
- Вы умеете совершенно четко и правильно произнести *goeie more, baie dankie, meneer* и *totsiens*, но не знаете больше ни одного слова на африкаанс (ЮАР).

Много внимания уделяется опыту би- и мультилингвизма. Как уже упоминалось, практически во всех перечнях авторы прибегают к переключению кодов, вставляя слова и выражения на языке принимающей страны, причем часто без перевода. По мере того, как накапливается опыт пребывания в многоязычной среде, мигранты начинают дифференцировать региональные особенности языка страны проживания и вступают в игру, в которой носители одного варианта языка соперничают с носителями других и между ними идет борьба за престиж:

- Вы удивляетесь, почему это немцы так плохо понимают Ваш немецкий. А Вы – их (Австрия).

- Можете по акценту собеседника почти безошибочно сказать, из какой провинции он исторически происходит. Из-за вашего собственного акцента абorigены часто принимают вас за бельгийца..., от чего вы с гневом открещиваетесь – мол, как можно, что вы, право? (Нидерланды)

Авторы перечней делятся наблюдениями за дифференцированием функций языков, и за тем, что по мере освоения нового языка, содержание общения начинает доминировать над его формой. Обращают внимание на то, что второй, а иногда и третий язык используются не только для общения с другими, но становятся частью внутреннего монолога и частью мыслительных процессов:

- Вы привыкли смотреть кино на английском, видео на русском, а прогноз погоды на латышском (Латвия).

- Пишешь в своем дневнике по-английски (Великобритания).

- Помните смысл разговора, но не помните, на каком языке говорили (Германия).

- Уверены, что *parking, appointment, O.K., shopping* и *lunch* – исконно русские слова (США).

Широко представлена в перечнях обценная лексика. Существует мнение, что человек становится «истинным билингом, когда иностранный язык интернализирован для него настолько, что он престаёт стесняться использования слов, фонетически схожих с обценной лексикой родного языка» [Apte, 1985, p. 182]. Вместе с тем, анализ фольклора русскоязычной диаспоры показывает, что обыгрывание таких омофонов является излюбленным средством создания комического эффекта. В анализируемых пе-

речнях привыкание к таким словам подразумевает, что языковая интеграция состоялась:

- Вы знаете четыре варианта слова «ху@», и ни один из них не является непечатным (Китай).

- Если гость, хохоча, показывает вам на табличку с надписью *Rozor*, вы с каменным лицом перечисляете ему еще 20 смешных чешских слов (Чехия)

- Вы знаете, что “Едиот Ахронот” не ругательство, а название газеты. (Израиль).

Наблюдая за изменениями в своем речевом поведении, почти все отмечают, что обычаи принимающей страны заставляют освоить новые правила вежливости и этикета:

- Вам в толпе наступили на ногу, и вы вместо: «Ты что, ослеп? Козел», улыбаетесь и говорите: “*Oh, sorry!*” (США);

- Даже когда вам отказывают, всегда говорите «спасибо» (Мексика);

- Называете «сэр» даже дворника (Великобритания).

Но и подчиняясь этим правилам, эмигранты часто намекают на то, что они не всегда отражают дружеское расположение, а иногда и впрямую расходятся с делом:

- Когда вы находитесь в огромной толпе и вам надо пройти, то вы вежливо говорите «пардон» и затем ведете себя как скин на московском рынке (Франция).

Обратим внимание еще на одну деталь, которая указывает на то, что авторы перечней сознательно используют языковые средства для выражения гибридной идентичности, характерной для диаспоры. Речь идет о дейктических единицах «здесь» и «там», которые маркируют свое и «чужое» пространство, а также о «местоимениях «мы» и «они», «наше» и «их», которые отделяют «своих» от чужаков.

- Про Турцию все чаще говорите «У нас тут...» (Турция)

- Вас переспрашивают, за каких «наших» вы болеете на Олимпийских играх (Эстония).

- Уже не вздрагиваешь, когда слышишь выстрелы. Это или свадьба, или день рождения, или “наши” гол забили... (Сербия)

Перечни «Вы слишком долго прожили в Н., если...» представляют собой пример народной лингвистики и авто-этнографии. Авторы и комментаторы не только описывают особенности жизни в стране проживания, но и постоянно имплицитно сравнивают их

с особенностями культуры и жизни своей родины, демонстрируя при этом эволюцию ценностей и амбивалентность отношения, как к принимающему обществу, так и к стране исхода. Как и другие жанры эмигрантского юмора, перечни являются инструментом социального контроля эмигрантских сообществ использующих иронию для противостояния ассимиляции и забвения лингвокультурных корней. Они также помогают нам лучше понять роль языка в сложных интеграционных процессах.

Список литературы

Еленевская М. Дорогие наши столицы: Образ российского мегаполиса в Рунете // Эволюция ценностей в языках и культурах. М., 2011. С. 101–134.

Комарова Г.А. Русский Бостон, Москва, 2002.

Протасова Е.Ю. Фенороссы: Жизнь и употребление языка. СПб., 2004.

Тураева З.Я. Язык и когнитивная картина мира // *Studia Linguistica*. Вып. XVIII. Актуальные проблемы современного языкознания. СПб., 2009. С. 76–86.

Тураева З.Я. Язык и социальное взаимодействие // *Studia Linguistica*. Вып. XX. Язык в логике времени: Наследие, традиции, перспективы. СПб., 2011. С. 9–28.

Apte M.L. *Humor and Laughter: An Anthropological Approach*, Ithaca, N.Y., 1985.

Bugarski R. The Interdisciplinary Relevance of Folk Linguistics // *Progress in Linguistic Historiography. Studies in the History of the Language Sciences*. Amsterdam, 1980, P. 381–393.

Dundes A., Pagter C.R. *When You're up to Your Ass in Alligators: More Urban Folklore from a Paperwork Empire*. Detroit, 1987.

Hoeningswald H.M. A Proposal for the Study of Folk Linguistics // *Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA Sociolinguistic Conference 1964*, ed. by W. Bright. The Hague, 1966. P. 16–26.

Niedzielski N.A., Preston D. *Folk Linguistics. Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Berlin, 2000.

Spolsky B. Ferguson and Fishman: Sociolinguistics and Sociology of Language // *The Sage Handbook of Sociolinguistics*. London, 2011. P. 11–23.

Электронные источники

Yelenevskaya, M. "You've Lived in X Too Long, when...": A View of the World through Comic Lists (Expatriates' Humour on Ru.net). 2012, № 50, P. 29-48 // Folklore EЖF.: [сайт]. URL: <http://www.folklore.ee/folklore/vol50/>.

Еленевская М.Н., Фиалкова Л.Л. Русская улица в еврейской стране. Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле. М., 2005. : [сайт]. URL: <http://old.iea.ras.ru/books/dostupno.html> .

Развлекательный ресурс BIBO.KZ: [сайт]. URL: <http://www.bibo.kz/anekdoti/113009-vy-slishkom-dolgo-prozhili-v-kitae-esli-1.html>.

РусФорум: [сайт]. URL:

<http://rusforum.dk/lofiversion/index.php/t3438.html>, (дата обращения: 15.04.2012)

Форум: Жизнь в Чехии: [сайт]. URL: <http://czech-forum.biz/forum/echo/2248-praga>

Форум: [сайт]. URL: <http://ww.alpenforum.ru/invision/lofiversion/index.php?t41142.html>,

Блоги Mail.ru: [сайт]. URL: http://blogs.mail.ru/mail/o_dokukova/40EEE0104D05F536.html

I.UA: [сайт]. URL: <http://blog.i.ua/user/180383/714152/>, (дата обращения: 10.05.2012)

Friends' Forum: [сайт]. URL: <http://www.friends-forum.com/forum/showpost.php?p=446600&postcount+80>

Форум: [сайт]. URL: <http://averikov.com/forum/showthread.php?t=3974>

Русский Париж: [сайт]. URL: <http://www.russianparis.com/forum/index.php?topic=3165.60>

Страница в Live Journal: [сайт]. URL: <http://iraan.livejournal.com/24279.html> (дата обращения: 02.04.2010)

Yelenevskaya Maria Nikolaevna (Haifa, Israel)

**HOW TO BE AN ALIEN: LANGUAGE BEHAVIOR
IN A FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT IN THE LIGHT
OF FOLK LINGUISTICS
(RESEARCHED ON THE INTERNET)**

This essay explores a popular genre of Internet folklore, comic lists about countries and cities. Analyses focus on reflections of the immigrants of the last wave about language maintenance and attrition, about bilingualism and evolution of the language identity in the Russian-speaking diaspora.

Keywords: folk linguistics, bilingualism, language maintenance and attrition, diaspora

П.А. Куницына (Санкт-Петербург, Россия)

МОДЕЛЬ КОНСТАТАЦИИ ЛЖИ

В настоящей статье приводится описание трёх лингвистических моделей феномена лжи, созданных современными исследователями, а также модель, построенная автором статьи.

Ключевые слова: ложь, лингвистика лжи, модель лжи, верификатор, констатация лжи

Если спросить любого человека, знает ли он, что такое ложь, скорее всего, он ответит утвердительно, и его объяснение в большей или меньшей степени будет совпадать с определением лжи, которое дал Святой Августин ещё более полутора тысяч лет назад: «Ложь – это сказанное с желанием сказать ложь». По сути, бытовое, обобщённое понимание данного понятия является верным, однако, при более пристальном изучении лжи и попытке описать её с научной (психологической, философской, лингвистической) точки зрения возникает потребность в построении её чёткой модели.

Настоящая статья посвящена рассмотрению трёх моделей, разработанных современными исследователями в рамках лингвистического направления изучения лжи, а также представлению одного из возможных способов описания данного феномена.

Описываемые ниже модели были выбраны по трём причинам. Во-первых, они соответствуют современным представлениям о лжи как в бытовой, так и в лингвистической сфере. Во-вторых, рассматриваемые модели выражают эти представления в структурированной и логичной форме. Наконец, эти модели взяты за основу построения автором статьи собственной модели феномена лжи.

В основе первой модели, предложенной И.Б. Шатуновским [Шатуновский, 1991, с. 31–38], лежит разделение действительности на три сферы: то, что человек говорит (В*), то, что человек «имеет в уме», думает (А*), и то, что является «действительным,

реальным положением вещей» (R) (И.Б. Шатуновский использует обозначения S, P и R соответственно, однако в настоящей статье будут использоваться буквы B, A и R для сравнения с другими моделями).

Принимая во внимание различные сочетания соответствия / несоответствия между этими сферами, можно выделить высказывания, по-разному соотносящиеся с действительностью. Так, если мысли человека соответствуют действительному положению дел, а его высказывание – мыслям ($B=A=R$), перед нами истина. Если высказывание соответствует мыслям, но мысли не соответствуют действительности ($B=A \neq R$), это заблуждение. Наконец, если мысли человека соответствуют действительности, но высказывание не соответствует мыслям ($B \neq A=R$), это ложь.

В модели И.Б. Шатуновского, как и далее – в модели автора статьи, сознательно не анализируется случай ($B \neq A \cup A \neq R \Rightarrow B=R$). Он встречается довольно редко и требует отдельного рассмотрения, возможно, с привлечением теории комедии и абсурда.

А. Вежбицкая, рассматривая ложь с позиций концептуального подхода [Wierzbicka, 1985, p. 341–342], определяет её, раскладывая на следующие «дискретные семантические признаки» (текст в скобках и выделение шрифтом ниже добавлены мной – П.К.):

«X соврал Y=

(1) X сказал что-то Y (B);

(2) X знает, что это неправда ($B \neq A$);

(3) X хочет, чтобы Y думал, что это правда;

(4) Скорее всего, люди скажут, что X поступил плохо».

Ключевым для представления лжи как феномена здесь, думается, является третий признак. При этом первые два признака по сути совпадают с моделью И.Б. Шатуновского, а именно подразумевают наличие некоторого высказывания (B) и его несоответствие мыслям адресанта ($B \neq A$). Третий же признак важен потому, что в силу своей прагматической составляющей позволяет исключить из определения лжи такие явления, как ирония, фантазия, юмор, тропы и т.п. Данные явления следует и возможно отделять ото лжи именно потому, что целью адресанта не является введение адресата в заблуждение, несмотря на порождение высказывания, не соответствующего действительности и

его мыслям. Более того, адресант тем или иным способом должен дать понять адресату о своих истинных целях.

Так, в случае ироничного высказывания «Надо же, какие мы умные», которое часто можно услышать в устной речи в ответ на далеко не «умный», но самонадеянный совет собеседника. Адресант в этом случае не только не пытается создать у того ложное впечатление о его умственных способностях, но и подчёркивает своё истинное невысокое мнение о совете и собеседнике с помощью особого построения фразы («надо же», «мы») и интонации. В случае фантазии или юмора, адресант также произносит высказывания, не совпадающие с его реальными мыслями, однако это несоответствие строится по заранее оговоренным правилам. Адресант должен быть уверен, что адресат знает о недостоверности информации и о том, что целью адресанта является не сообщение фактов, содержащихся в высказывании, а нечто иное, будь то развлечение собеседника или создание иного, воображаемого мира для оформления своих идей. Некоторые исследователи (Ср.: Е.А. Гогоненков) пишут о единой природе и сущности лжи и тропов, в частности метафоры. Метафора, как известно, представляет собой высказывание, буквальное значение которого не соответствует действительности (например, «Он совсем ребёнок» про 30-летнего человека). Более того, по форме она может ничем не отличаться от лжи: фраза «Она – настоящая королева» может относиться как к самозванке, так и просто к очень статной женщине. Тем не менее, цель метафоры абсолютно противоположна: она используется не для фальсификации истины, а, наоборот, для более яркого её выражения. Метафоры, как правило, нарочито неправдивы или абсурдны по форме («*Он – ребёнок*» или «*Корабль потонул в лучах закатного солнца*»), что даёт сигнал адресату интерпретировать высказывание, исходя не из буквального значения его составляющих, но из попытки найти возможный смысл, построенный на их сходстве. Таким образом, отличие вышеперечисленных явлений ото лжи состоит в наличии у адресата цели, отличной от фальсификации того, что он считает истиной.

Четвёртый дискретный семантический признак А. Вежбицкой («Скорее всего, люди скажут, что X поступил плохо») является оценочным. Однако, несмотря на то, что положительная

или отрицательная оценка играет очень большую роль при рассмотрении и анализе различных ситуаций лжи, она не является одним из самых существенных факторов для определения лжи. Ложь, сказанная с благими намерениями, тем не менее, продолжает оставаться ложью, хотя и допускается или даже поощряется большинством людей с этической точки зрения.

В статье С.С. Авакимян [Авакимян, 2009], посвященной анализу категории искренности, представлена коммуникативно-прагматическая модель искренности, описывающая три сферы: сферу говорящего, сферу высказывания и сферу слушающего. В рамках сферы говорящего производится анализ искренности как дискурсивной стратегии, в рамках сферы высказывания – реализации концепта «Искренность», в рамках сферы слушающего – интерпретации дискурса как искреннего/неискреннего. Таким образом, предполагается, что для полноценного анализа искренности необходимо описывать с трёх различных сторон, соответствующих трём вышеуказанным сферам.

Феномен лжи, так же, как и феномен искренности, основан на соответствии/несоответствии сказанного мыслям. Поэтому анализ лжи можно проводить аналогично анализу искренности, даже если эти явления не симметричны сами по себе, т.е. рассматривать ложь с точки зрения говорящего, слушающего, а также анализировать само высказывание.

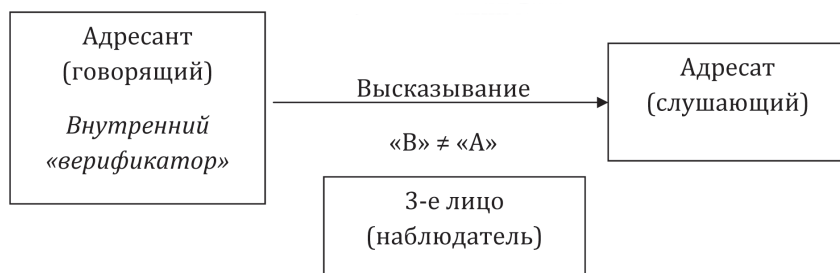
Для многоаспектного рассмотрения ситуации лжи, помимо адресанта и адресата высказывания, необходимо, как представляется, ввести ещё одного участника ситуации: т.н. верификатора, то есть субъекта, который выявляет наличие лжи, причём он не всегда совпадает с адресатом. Наличие верификатора – обязательное условие возможности обнаружения лжи, а следовательно, и её анализа. При этом ситуация, когда можно не просто подозревать ложь, а быть уверенным в ней, возможна только при наличии верификатора, который точно знает о несоответствии между высказыванием (В) и мыслями говорящего (А). Отсутствие подобного субъекта, естественно, не означает отсутствия самой ситуации лжи, однако создаёт значительные трудности для её анализа, из-за неуверенности в том, что анализируемое высказывание, действительно является ложью. Так, в самом начале романа Артура Хейли «Окончательный диагноз», упомина-

ется случай, не связанный с основной линией сюжета: «*Patiently Miss Mildred reminded him. «It's the workman who was killed when he fell from a high catwalk. If you remember, the employers said the fall must have been caused by a heart attack because otherwise their safety precautions would have prevented it»* [Hailey, 2009, p. 6]. Работодатель мог и сказать правду, и солгать о причинах несчастного случая, но так как в романе нет никого, кто бы мог сообщить о соответствии/несоответствии высказывания и знания говорящего действительности, и сам автор не сообщает нам о действительном положении дел, оценить ложность или правдивость высказывания не представляется возможным.

Иными словами, идеальной ситуацией распознавания лжи (назовём её констатацией лжи), можно считать такую ситуацию, когда существует некоторый субъект, который (1) знает мысли адресата (А) и (2) может сопоставить их с его высказыванием (В) и выявить их несоответствие (В≠А).

Объединив рассмотренные три модели (исключив четвёртый компонент модели А. Вежбицкой об отрицательной оценке) и добавив сферу верификатора, можно построить следующую модель констатации лжи:

Констатация лжи



Исходя из моделей лжи А. Вежбицкой и И.Б. Шатуновского, определим констатируемую ложь следующим образом:

$V \neq A = R$ (таким образом, исключаются случаи заблуждения)

Адресат хочет, чтобы слушающий поверил в В (исключение иронии, фантазии, тропов, юмора).

Добавив к трём компонентам модели С.С. Авакимян (адресат, высказывание, адресант) верификатора, получим четыре компонента, отражённые на схеме выше. Отдельно следует отметить, что в настоящей модели проводится разграничение адресата и адресанта и допускается существование как минимум двух участников коммуникации, т.е. не рассматриваются ситуации самообмана. Самообман можно анализировать как частный случай модели, когда роли адресата и адресанта сочетаются в одном лице, однако я принципиально оставляю его за рамками настоящей статьи, признавая необходимость отдельного исследования данного феномена.

Настоящая модель констатации лжи не предполагает рассмотрение во временном плане, т. е. для неё не важно, когда и как верификатор узнал «А» – до совершения высказывания или после.

Одним из вариантов констатации лжи является случай, когда верификатором оказывается третье лицо, не являющееся ни адресантом, ни адресатом, которое знает о несоответствии мыслей говорящего и его высказывания. Так, в случае любого заговора с целью обмана его участники будут выступать верификаторами высказываний друг друга.

В художественной литературе довольно часто автор «превращает» в верификатора читателя, сообщая ему факты и подробности, о которых не догадываются персонажи. Самый простой способ сделать это (однако, и наименее интригующий и интересный, как для автора, так и для читателя) – сообщить мысли героя до того или во время того, как он произнесёт ложь: в романе Артура Хейли «Окончательный диагноз» одна из героинь перед операцией по ампутации ноги спрашивает своего жениха, не боится ли он теперь жениться на ней и даже обсуждать этот вопрос. После отрицательного ответа молодого человека автор продолжает: «*It was a loud, firm protest, but even as he made it he had known it to be a lie. He was afraid, just as he sensed that Vivian was not*» [Hailey 2009, p. 280].

Во втором случае, верификатором является слушающий (адресат). Как правило, именно этот вариант развития событий больше всего интересует людей с практической и психологической точки зрения: скорее, все задумываются о том, как не быть обманутым самому, а не просто распознать абстрактную ложь. Отсюда и оби-

лие популярно-психологических пособий с советами для тех, кто не хочет быть обманутым. Ситуация, когда собеседник сам знает о несоответствии высказывания и мыслей говорящего менее интересна с этой точки зрения, так как к ней сложно дать советы по распознаванию лжи, более того, в данном случае теряется сам смысл порождения лжи для адресата, однако она существует, как в реальности, так и в художественной литературе. Так, Гамлет в пьесе У. Шекспира узнаёт, что его дядя – убийца его отца, обманом занявший престол, и с этого момента становится верификатором высказываний нового короля, подразумевающих его невиновность.

Что касается третьего участника коммуникативного акта – адресанта высказывания, здесь следует отметить, что он, исходя из самого определения лжи («X знает, что это неправда ($B \neq A$)»), сам всегда является верификатором. Наличие подобного «внутреннего» верификатора (верификатор=адресант) является условием лжи, отграничением её от заблуждения. Мать Гамлета, королева, не знает о несоответствии своих высказываний, подразумевающих невиновность своего нового мужа, с действительностью, она не является внутренним верификатором, а потому она не лжёт, а заблуждается.

Таким образом, можно сказать, что обязательным условием констатации лжи является наличие «внешнего» верификатора, то есть субъекта, не совпадающего с адресантом, который знает о несоответствии мыслей говорящего его высказыванию ($B \neq A$).

Однако следует отметить, что модель констатации лжи, подразумевающая точное знание о несоответствии, представляет собой идеальный вариант, который редко встречается в действительности. Ложь существует только постольку, поскольку пытается и может выдать себя за правду, люди лгут только потому, что верят в возможность обмана. Ситуация, когда правда заранее известна кому-либо, слушающему или третьему лицу, малоинтересна как лжецу, так и исследователю.

Гораздо чаще встречается ситуация, когда человек не знает о лжи, но лишь подозревает её. Ситуация подозрения во лжи гораздо более реальна, и гораздо более интересна для обывателя, психолога, лингвиста и любого другого исследователя. При подозрении во лжи, знание верификатора о несоответствии мыслей

говорящего высказыванию (В≠А) заменяется обнаружением некоторых предпосылок данного вывода. Это может быть неестественное поведение адресанта, слишком быстрый темп его речи, попытка не смотреть прямо в глаза, частое повторение слов-паразитов или слов-подтверждений своей правоты (таких, как «честно говоря», «*to be honest*» и т. п.) или любых других признаков ложного высказывания, причём внешним верификатором, как и в случае констатации, может выступать как третье лицо, так и адресат высказывания. Анализ признаков ложного высказывания занимает учёных и людей, не имеющих отношение к науке, с давних времён и является благодатной почвой для советов к практическому применению, в которых заинтересованы практически все без исключения, причём чаще всего с обеих сторон, – как со стороны лжеца, так и со стороны человека, старающегося не стать жертвой обмана.

Список литературы

Авакимян С.С. О лингво-когнитивном подходе к феномену «Искренность» // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. № 92. СПб., С. 177–185.

Шатуновский И.Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 31–38.

Hailey A. Final Diagnosis. СПб., 2009.

Wierzbicka A. Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor. 1985.

Kunitsyna Polina Alexandrovna (Saint Petersburg, Russia)

A MODEL OF LIE AFFIRMATION

The article describes three linguistic models of lie, developed by modern linguists, as well as a model, created by the author.

Keywords: lie, linguistics of lying, a model of lie, verifier, statement of lie, lie affirmation

УДК 81.111

И.Г. Серова (Санкт-Петербург, Россия)

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ДИСКУРСЕ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ

В статье рассматривается конструирование гендера в художественном и публицистическом дискурсе Викторианской эпохи в Англии. Обосновываются тезисы о полярности признаков маскулинности и феминности и о гетеростереотипе феминности в женском англоязычном сознании.

Ключевые слова: гендерный стереотип, гендерная идентичность, гетеростереотип, интериоризация, самоидентификация

Викторианский период (1837–1901) известен как время экономического и политического процветания Англии. Этот период считается важнейшим в истории Англии с точки зрения формирования английского менталитета, и, следовательно, формирования идеальных моделей мужчины и женщины.

Поляризация характеров полов и практика «разделенных сфер» (divided spheres) характерна для периода зарождения и становления буржуазного общества и связана с необходимостью разделения труда: мужчина трудится на производстве, а женщина – в семье. По мнению Р. Хоф, обоснование дуализма полов особенно интенсивно формулировалось именно тогда, когда разрыв между идеалом равенства всех людей и реальным положением женщин и других «меньшинств» особенно бросался в глаза – а именно в эпоху, последовавшую за Просвещением [Хоф, 1999, с. 26]. Различия между анатомией и физиологией мужского и женского тела, а также между мужской и женской ментальностью, казавшиеся раньше не такими значительными, в этот период становятся принципиальными. Женщина становится существом, наделенным качествами, абсолютно противоположными мужским. «Слабый» пол превращается в «противоположный пол».

В. Эрих-Хэфели отмечает, что для эпохи раннего Просвещения характерна относительно эгалитарная модель отношения по-

лов, но новый, утвердившийся в XVIII веке дискурс о полах, нашедший свое выражение в сочинениях Ж. Руссо, представляет ту модель, «против которой борется феминистское движение с самого своего зарождения» [Эрих-Хэфели, 1999, с. 56]. Особенно важно то, что этот взгляд преподносится как «естественный», законный и данный самой природой. Убежденность в том, что именно такое отношение полов соответствует природе, долгое время мешала критической оценке этой модели.

Новый дискурс о женщинах был инициирован Руссо в его книге «Эмиль», особенно в пятой книге «Софи, или женщина», где он представил свою модель «новой женственности» [Rousseau, 1964]. Все в женщине определяется полом – ее конституция, дух, темперамент и характер. Более того, для женщины является добродетелью то, что для мужчины было бы недостатком [Rousseau, 1964, р. 458]. Исходный пункт дифференциации Руссо видит в «общей цели природы»: для продолжения человеческого рода необходимо, чтобы мужчина был активным, сильным и готовым к наступлению, а женщина – слабой, пассивной и робкой. Для женщины не предусмотрено самоопределение: ее жизнь проходит во всевозможных ориентациях на мужчину – хозяина и господина. Руссо уверен, что такая «ориентация на других» заложена в самой природе женщины. В то время как Эмиля поощряют свободно и практически действовать, девочка должна постоянно иметь в виду удовольствие и одобрение другого – «приятная» (agreeable) является важнейшей характеристикой в оценке ее качеств. Вся жизнь девочки, по Руссо, проходит под знаком желания нравиться. Даже занятия, выбираемые Софи, зависят от того, насколько привлекательно она при этом выглядит: например, она охотно играет на клавикордах, так как при этом обращают на себя внимание ее нежные пальцы [Rousseau, 1964, р. 499]. Женщина постоянно смотрит в зеркало: и буквально, и в переносном смысле. Ее игра представляет собой самоотчуждение, идентификацию себя с объектом чужого желания [Эрих-Хэфели, 1999, с. 72].

Таким образом, женщина должна быть воспитана в отказе от субъектности, она должна привыкнуть подавлять в себе собственную активность. Все, что ей нужно уметь – это предоставить себя в распоряжение мужчины. В рамках этой философии женщины автоматически определяются как Другой и становятся объектом

мужского дискурса. Это обнаруживает сама речевая стратегия Руссо: разговор происходит между «нами, Вами и мной» (*pous, vous et moi*) о них (*elles*) [Эрих-Хэфели, 1999, с. 69].

Западноевропейские стандарты женственности, сформированные в период позднего Просвещения, определяли направление дискурса о мужчинах и женщинах в Викторианскую эпоху. Мораль Викторианского общества строго регламентировала жизнь женщин. В соответствии с теорией «раздельных сфер» женщина была привязана к дому и семье, тогда как мужская роль формировалась в сфере общественно полезного труда и политики.

В настоящей статье мы ставим задачу исследования специфичности осмысления концептов *FEMININITY*, *MASCULINITY* в англоязычном сознании Викторианской эпохи с опорой на художественный и публицистический дискурс.

Исследование концептуальных характеристик, эксплицируемых в англоязычном дискурсе девятнадцатого века, проводилось на основе анализа речевых контекстов со словами «*feminine*», «*masculine*», «*man/men*», «*woman/women*», «*he*», «*she*». Представляется необходимым рассматривать концепты *FEMININITY*, *MASCULINITY* одновременно, поскольку оба концепта образуют единство, выражаемое через понятие «гендер».

В Викторианскую эпоху мир принадлежал мужчинам: они могли самоутвердиться, выбрав любую из мужских архетипических ролей, а именно: «солдат», «святой», «рыцарь», «первопроходец», «мудрец». За мужчиной закреплялось право на инициативу и активное действие, способное изменить мир:

«Because you are a man, Tom, and have power, and can do something in the world» [Eliot, 1958, p. 15].

С другой стороны, множество художественных и публицистических произведений Викторианского периода повествуют о сложности женской самоидентификации в обществе, об уязвимости женщин в социальном плане вследствие их зависимости от мужчин, об их отстраненности от публичной сферы деятельности. В Викторианскую эпоху профессиональная и научная деятельность относились исключительно к мужской сфере активности, куда женщины не допускались. Женщины должны были оставаться дома, подобно тому, как цветы растут там, где их посадил садовник:

«*We women can't go in search of adventures – to find out the North-West Passage or the source of the Nile, or to hunt tigers in the East. We must stay where we grow, or where the gardeners like to transplant us. We are brought up like the flowers, to look as pretty as we can, and be dull without complaining*» [Eliot, 1876].

Образ мужчины характеризуется такими признаками, как властность, тщеславие, а также резкость, суровость:

«*Oh, men, men!... Their motives, their tastes, their vanity, their tyranny, clenched her in feminine antagonism to brute power*» [Meredith, 1962, p. 387];

«*He was proud, sardonic, harsh to the inferiority of any description: in my secret soul I knew that his great kindness to me was balanced by unjust severity to many others...*» [Bronte Ch., 1952, p. 191].

Активности, суровости и даже грубости, как признакам маскулинности, противопоставляются пассивность, нежность, мягкость и доброта – признаки, входящие в стереотип фемининности:

«*I have always found your sex [female] the kindest and most tender and obliging to God's creation...*» [Bronte A., 1847, p. 135].

«*... As God made women to save men by love...*» [Browning, 1864].

Для Викторианской эпохи характерно четкое разделение мужских и женских социальных ролей, что иллюстрирует следующий пример из стихотворения Теннисона «The Princess»:

Man for the field and woman for the hearth:

Man for the sword and for the needle she:

Man with the head and woman with the heart:

Man to command and woman to obey [Tennyson].

Мужское доминирование выражалось в противостоянии праву женщины иметь собственное мнение, самостоятельно выбирать друзей:

«*She was going to have opinions of her own<...> To go on like this was dangerous*» [Galsworthy, 1950, p. 60].

Мужское понимание сущности женского счастья состояло в том, что женщина должна подарить мужу наследника. Наследником в семье мог стать только ребенок мужского пола, поэтому если в семье рождалась дочь, отношение к ней было иное, чем к сыну: это была фальшивая монета, которая не годилась для инвестиций:

«But what was a girl to Dombey and Son! In the capital of the House's name such a child was merely a piece of base coin that couldn't be invested – a bad boy – nothing more» [Dickens, 1955, p. 28].

Физическая привлекательность женщины рассматривалась как символический капитал мужчины и входила в стереотип фемининности. Если внешняя привлекательность связывалась с представлением о женственности, то интеллектуальное превосходство признавалось за мужчиной, что иллюстрируют следующие примеры:

«A man's mind... has always the advantage of being masculine, – as the smallest birch-tree is of a higher kind than the most soaring palm, – and even his ignorance is of a sounder quality» [Eliot, 1872, p. 18].

Мужской разум «по умолчанию» оценивался как превосходящий женский, а знания и суждения мужчин – как более верные.

Стереотип фемининности, напротив, включал такой признак, как иррациональность – представление о поверхностности суждений и невежестве женщин и их стремление полагаться на эмоции, а не на знания:

«I should like to see you doing one of my lessons! Girls never learn such things. They're too silly» [Eliot, 1958, p.181];

«They [girls] can pick up a little of everything...but they couldn't go far into anything. They're quick and shallow» [Eliot, 1958, p. 187].

В соответствии с Викторианской моралью, роль женщины понималась исключительно как роль хранительницы домашнего очага. Одна из наиболее известных женщин-писательниц первой половины XX века С.С. Эллис усматривала божественный промысел в назначении женщин заботиться о счастье мужчин – мужей, сыновей, отцов и братьев. Сами названия этих работ: «The Women of England» (1839), «The Daughters of England» (1842), «The Wives of England» (1843), «The Mothers of England» (1845) характеризуют ее взгляд на роль женщины. В книге, адресованной женщинам Англии («The Women of England»), Эллис отмечает:

«The women of England were once better satisfied with that instrumentality of Divine wisdom by which they were placed in their proper sphere» [Ellis, 1839, p. 15].

Э.Л. Линтон в своей работе «The Girl of the Period» (1868) упоминает о стереотипном образе английской девушки, традиционно считавшемся идеалом женственности:

«Time was when the stereotyped phrase, «a fair young English girl», meant the ideal of womanhood...It meant a creature generous, capable, and modest; something franker than a French woman, more to be trusted than an Italian, as brave as an American but more refined, as domestic as a German and more graceful. It meant a girl who could be trusted alone if need be, because of the innate purity and dignity of her nature, but who was neither bold in bearing nor masculine in mind; a girl who, when she married, would be her husband's friend and companion, but never his rival... who would make his house his true home and place of rest, ...a tender mother, an industrious housekeeper, a judicious mistress» [Linton, 1868].

Однако, по мнению писательницы, данный образец женственности изменился:

«The girl of the period is a creature... whose sole idea of life is plenty of fun and luxury; and whose dress is the object of such thought and intellect as she possesses. No one can say of the modern English girl that she is tender, loving, retiring, or domestic» [Linton, 1868]. Новое поколение девушек уже не отличается такими качествами, как скромность, нежность, заботливость, любовь к семье и дому – новыми приоритетами для них стали развлечения и мода.

Большинство английских женщин понимали свою роль в обществе как роль жены, матери, хозяйки дома, таким образом, интериоризируя мужские взгляды на женские нормы поведения.

Наряду с традиционным осмыслением концепта *FEMININITY* в художественном и публицистическом дискурсе этого периода уже с середины XIX века параллельно существует и обретает силу протестный дискурс, свидетельствующий о нарастании феминистских настроений.

Кэролин Нортон, одна из писательниц Викторианской эпохи, в своих работах выступала с критикой существовавших в то время законов, касающихся прав женщины, находя ситуацию гротескной и аномальной в свете того факта, что у власти находилась женщина-монарх:

«I desire to point out the grotesque anomaly which ordains that married women shall be «non-existent» in a country governed by a female Sovereign...» [Norton, 1855, p. 4].

Харриет Мартино, еще одна известная писательница Викторианской эпохи, протестовала против отношения к женщине, навязываемого Викторианской моралью. Она полагала, что женщине необходимо обеспечить возможность получить образование:

«In works otherwise really good, we find it taken for granted that girls are not to learn dead languages and mathematics, because they are not to exercise professions where these attainments are wanted< ...>. If it said that the female brain is incapable of studies of an abstract nature, – that is not true» [Martineau]. Х. Мартино опровергает представление о том, что женский мозг, в отличие от мужского, не способен к усвоению абстракций. По мнению Х. Мартино, невежественная, необразованная женщина обычно становится либо игрушкой, либо слугой мужчины, вместо того, чтобы быть его равноправным партнером:

«I wish them [women] to be companions to men, instead of playthings or servants, one of which an ignorant woman must commonly be» [Martineau].

Феминистские идеи появляются и в работах известного английского писателя и философа Джона Стюарта Милля. Дж. Милль указывает на то, что принцип подчинения женщин мужчинам препятствует общественному развитию: мужчины обладают властью и привилегиями, а женщины бессильны и уязвимы перед ними. Отсутствие самостоятельности и подчинение мужской воле как идеал женского характера, традиционно принятый в Викторианском обществе, лишает женщину индивидуальности. Данный принцип, на его взгляд, должен быть заменен равноправными отношениями между полами:

«Besides that no freedom is worth ...when the adjustment rests between two persons one of whom is declared to be entitled to everything, the other not only entitled to nothing except during the good pleasure of the first, but under the strongest moral and religious obligation not to rebel under any excess of oppression» [Mill, 1869].

Таким образом, концептуализация женственности в англоязычном коллективном сознании эпохи Викторианства имеет

свои особенности, представляя собою мужской гетеростереотип, интериоризированный также и в женском сознании. Концепт *FEMININITY* в англоязычном дискурсе этого периода представлен рядом признаков, находящихся в отношении полярности с признаками концепта *MASCULINITY*. Вместе с тем, в англоязычном дискурсе девятнадцатого века наблюдается и протестное осмысление женственности, продиктованное набирающими силу феминистскими идеями.

Список литературы

Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол, гендер, культура. Под ред. Э. Шорэ, К. Хайдер. Ч. 1. М., 1999.

Эрих-Хэфели В. К вопросу о становлении концепции женственности в буржуазном обществе XVIII века: психоисторическая значимость героини Руссо Ж.-Ж. Софи // Пол, гендер, культура. Под ред. Э. Шорэ, К. Хайдер. Ч.1. М., 1999.

Ellis S. The Women of England, Their Social Duties, and Domestic Habits. London, 1839.

Roisseau J.J. Émile ou de l'éducation. Paris, 1964

Электронные источники

Linton E.L. The Girl of the Period. 1868: [сайт]. URL: <http://erc.lib.umn.edu/dynaweb/victorian/lintgirl/>

Martineau H. On Female Education. 1868: [сайт]. URL: <http://www.bolender.com/>

Mill J.S. The Subjection of Women. 1869: [сайт]. URL: <http://www.fordham.edu/halsall/mod/jsmill-women.html>

Norton C. English Laws for Women in the Nineteenth Century. 1854: [сайт]. URL: <http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/norton/englaw.html>

Serova Irina Georgievna (Saint Petersburg, Russia)

THE PROBLEM OF GENDER SELF-IDENTIFICATION IN THE DISCOURSE OF THE VICTORIAN EPOCH

The article discusses the construction of gender in the literary discourse of the Victorian epoch as a formation of the opposition *masculine/feminine*. The idea of the binary principle in gender construction and the thesis of heterostereotypical representation of femininity in the women's minds is postulated.

Keywords: *gender stereotype, gender identity, heterostereotype, self-identification, internalization*

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

УДК 81.0

А.А. Александрова (Санкт-Петербург, Россия)

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ ТЕКСТА «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» И «АППРОКСИМАЦИЯ»

В статье проводится сравнительный анализ категорий интертекстуальности и аппроксимации в имитационных текстах. Имитационные тексты трактуются как интертекстуальное явление. Особое внимание уделяется описанию языковых способов реализации категории аппроксимации.

Ключевые слова: категория текста, интертекстуальность, аппроксимация, имитационный текст, авторская интенция

Понятие диалогичности восходит к Сократу, утверждавшему, что истина постигается в диалоге, однако, возникновение современной концепции интертекстуальности традиционно связывается с бахтинскими идеями диалогичности и полифонии, которые явились мощным стимулом для их последующего развития отечественной и зарубежной мыслью. Как писал Бахтин, «... два высказывания, отдаленные друг от друга во времени и пространстве, ничего не знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, если между ними есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция (хотя бы частичная общность темы, точки зрения и т. п.)» [Бахтин 1972, с. 116]. Результатом переосмысления идей Бахтина стала концепция интертекстуальности Ю. Кристевой, которая ввела термин «интертекстуальность» в научный оборот. В настоящее время проблемам интертекстуальности посвящено немало исследований философов, лингвистов и литературоведов (И.В. Арнольд, Р. Барт, И.П. Ильин, Ю. Кристева, Ю.М. Лотман, Н.В. Петрова, Ю.С. Степанов, И.П. Смирнов, И.В. Толочин, З.Я. Тураева,

Н.А. Фатеева, В.Е. Чернявская, D. Chandler, U. Eco, L. Hutcheon, A. Jefferson, G. Landow).

В классическом наборе параметров текстуальности Р. де Богранда и В. Дресслера, интертекстуальность, наряду с когезией, когерентностью, интенциональностью, воспринимаемостью, ситуативностью и информативностью, признается конститутивным свойством текста; в совокупности, все выделенные текстовые свойства позволяют судить о его качественной определенности.

Текст обязательно связан с уже существующими текстами. Все, что было сказано и написано является базой, основанием, необходимой предпосылкой и условием существования для вновь создаваемых текстов. Невозможно представить себе текст, полностью лишенный каких-либо связей с предшествующими произведениями. Слова, их сочетания, идеи, мотивы и образы, использовавшиеся в ранее созданных текстах, могут быть переосмыслены и выражены в новом тексте, за счет чего создается столь же уникальное, как и исходный текст, художественное произведение.

Термин «интертекстуальность» в современной гуманитарной мысли не имеет однозначной интерпретации.

И.В. Арнольд формулирует понимание интертекстуальности как включения в текст других текстов с иным субъектом речи, — целых или фрагментов в форме цитат, реминисценций и аллюзий. Интертекстуальные включения, как пишет И.В. Арнольд, могут быть языковыми и текстовыми. Под языковыми, или кодовыми, включениями подразумеваются включения специфической лексики или грамматических форм, характерных для разных функциональных стилей или жанров, отличных от стиля или жанра включающего их художественного текста. Текстовые интертекстуальные включения, которые могут быть разными по объему — от отдельных цитат и аллюзий до целых вставных романов, писем и дневников, делятся на внешние и внутренние. При внешней интертекстуальности смена субъекта речи реальна, т. е. цитата принадлежит другому автору. При внутренней интертекстуальности вставные элементы написаны самим автором произведения [Арнольд, 1995, с. 35, 41–42].

З.Я. Тураева говорит о жанровой интертекстуальности как о естественном процессе взаимопроникновения разных видов освоения и познания мира: художественного и научного, чувственно-

го и рационального, образного и логического, который находит отражение, например, в жанре романа, интертекстуального по своей природе [Тураева, 1993; Щирова, Тураева, 2005, с. 66].

Широкое видение интертекстуальности постулирует постструктурализм, представленный именами Ж. Бодрийяра, Ж. Делёза, Ж. Деррида, Р. Барта, Т. Иглтона, М. Фуко, Р. Уильямса и др. Р. Барт отмечает, что каждый текст является интертекстом, и другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах. Мир рассматривается Бартом как бесконечно раскрытый текст, глобальный интертекст: «Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» [Барт, 1989, с.418]. Интертекстуальность выступает как базовое понятие постструктурализма и реализуется в постмодернистских текстах, синтезирующих идеи постструктурализма и практику деконструкции. В рамках постмодернизма сама идея текстуральности мыслится как неотделимая от интертекстуальности и основывается на ней. При таком широком подходе, когда каждый текст воспринимается как интертекст, а любой текст является в той или иной степени вторичным, так как строится из цитат из уже существующих текстов.

Нередко в аспекте интертекстуальности рассматриваются и непосредственно вторичные тексты, при этом интертекстуальность выступает как фундаментальный механизм их порождения.

Под вторичным текстом обычно понимается текст, созданный на базе другого текста. Таковыми являются тексты-примитивы, репродуктивные тексты, тексты-адаптации, краткое изложение и резюме, новые интерпретации текстов, изменяющие их содержание, записи под диктовку и др. К вторичным текстам относятся и тексты имитационного типа (имитационные тексты), в которых воссоздаются элементы формы и содержания первичного текста при изменении его семантической структуры. Имитации может подвергаться отдельное произведение, стиль автора, литературный жанр или литературное направление. Объектом имитации становятся речевые акты, социальные явления, различные факты действительности и др. Традиционно к имитационным тек-

стам причисляются стилизация, пародия, бурлеск, пастиш, трагедия, карикатура, шарж, сатира и др.

По замечанию З.Я. Тураевой, имитационный текст следует рассматривать как особого рода интертекстуальное явление и как «сложную систему, которая строится на противоборстве, по крайней мере, двух знаковых систем – текста-основы и значимого фона – текста-прототипа» [Щирова, Тураева, 2005, с. 65–67]. Особенность интертекстуальной природы имитационного текста определяется деривационными отношениями, связывающими его с исходным текстом, что предполагает обусловленность его формы формой исходного текста. В имитационном тексте исходный текст репрезентируется не в качестве отдельных цитат, а служит «точкой отсчета», шаблоном, по которому создается имитация. Автора имитации, исходя из собственной интенции, интерпретирует и переосмысливает исходный текст, воспроизводит его форму, иногда с некоторыми изменениями. Например, интенцией автора пародийного текста является подражание стилю исходного текста с целью осмеяния.

Таким образом, следует разграничить имитационный текст от других интертекстуальных явлений. Такое разграничение проводит и С.В. Ионова, подразделяющая явления интертекстуальности на синтагматическую и парадигматическую оси. Синтагматическая ось интертекстуальности формируется линейными связями произведений единого текстового пространства и объединяет речевые произведения двух типов:

1. Интексты – тексты, апеллирующие к готовым словесным образцам, включаемым в ткань нового произведения (аллюзии, реминисценции, цитаты).

2. Сверхтекстовые образования – тексты, соединяемые с другими текстами отношениями соположения, сопоставления (сборники, циклы). Парадигматическая ось интертекстуальности формируется речевыми произведениями, образованными в результате компрессии /декомпрессии или переосмысления первичного текста, который дает жизнь новым интерпретациям, текстам новых жанров, построенным на базе известного произведения. Парадигматическая ось интертекстуальности объединяет тексты, связанные отношениями производности, с точки зрения которой и классифицируются вторичные тексты. Вторичный текст предста-

ет, таким образом, в виде производной формы исходного текста, фиксирующей преобразования его содержательной структуры [Ионова, 2006, с. 147–154].

В имитационном тексте повторяется (воспроизводится) структура исходного текста, но не точно, а приблизительно, что позволяет говорить о реализации в нём категории аппроксимации.

Категория аппроксимации определяется как приближенность тех или иных лексико-семантических, структурно-синтаксических и структурно-композиционных особенностей исходного текста по отношению к свойствам имитационного текста. Как текстовая категория и «определяющий принцип вторичного текстообразования» (С.В. Ионова) аппроксимация стала рассматриваться сравнительно недавно. Как отмечает С.В. Ионова, приближенность в тексте характеризует и такие конститутивные свойства текста, как связность, цельность, завершенность и членимость, а также сопровождает семантические процессы информативности, модальности, интерпретируемости и интертекстуальности. [Ионова, 2006, с. 96].

Особенности реализации категории аппроксимации в имитационных текстах обусловлены авторской интенцией и выражаются в замене исходного текста, с присущими ему лексико-семантическими, структурно-синтаксическими и структурно-композиционными свойствами, вторичным текстом, свойства которого в той или иной степени остаются подобными свойствам исходного текста. Аппроксимация, таким образом, непосредственно затрагивает процессы вторичного текстопорождения и представляет собой способ организации, структурирования знания в тексте, т.е. является категорией имитационных текстов.

Так, механизм порождения имитационного текста в тексте пародии основывается на ключевых принципах текстопорождения – селекции и комбинации. Автор пародии воспроизводит форму исходного текста приблизительно, заменяя релевантные для него лексико-семантические, структурно-синтаксические или структурно-композиционные элементы исходного текста новыми, «инородными» элементами, приводя их в «конфликт со значимым фоном» и тем самым придавая тексту пародийный характер. В текст, постулирующий одну систему ценностей, вво-

дятся элементы, отражающие противоположную систему ценностей и, таким образом, высмеивающие его. Образное описание этого сложного взаимодействия обнаруживаем у З.Я. Тураевой, которая отмечает, что в результате взаимодействия двух текстов возникает новая значащая структура: она постулирует иную, отличную систему ценностей, порождая алогичный мир. Базисные категории текста, базисные метафоры, аллюзии, цитаты могут «прийти к отрицанию самих себя, к созданию мира перевертышей». Пародия порождает переоценку мира, созданного текстом-оригиналом. Она подавляет первичный фон, утверждает, что он создает искаженную картину мира [Щирова, Тураева, 2005, с. 67–69].

Итак, имитационный текст представляет собой интертекстуальное явление. Он создаётся на основе существующего текста с целью имитации, а его форма и содержание зависят от исходного текста. В имитационном тексте повторяются элементы лексико-семантической, структурно-синтаксической и структурно-композиционной организации исходного текста, при этом смысловая структура исходного текста, согласно конкретной авторской интенции, повторяется приблизительно, что и позволяет говорить о реализации в имитационном тексте категории аппроксимации.

Список литературы

Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики (в интерпретации художественного текста): лекции по спецкурсу. СПб., 1995.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / 3-е изд. М., 1972.

Ионова С. В. Аппроксимация содержания вторичных текстов: монография. Волгоград, 2006.

Тураева З.Я. Лингвистика текста: курс лекций. СПб., 1993.

Щирова И.А., Тураева З.Я. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы: учебное пособие. СПб, 2005.

Alexandrova Anastasia Andreevna (Saint Petersburg, Russia)

**ON CORRELATION OF INTERTEXTUALITY
AND APPROXIMATION AS TEXT CATEGORIES**

The article dwells on intertextuality and approximation, which are compared as text categories and analysed in literary imitations. Literary imitations are treated as intertextual phenomena. Special attention is paid to the language means of the text categories actualization.

Keywords: text category, intertextuality, approximation, imitation text, the author's intention

Т.И. Воронцова, Н.Ю. Георгинова (Санкт-Петербург, Россия)

К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ДИСКУРС» И «ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ»

В статье предлагается обзор научных взглядов на ключевое понятие современной парадигмы – дискурс и его соотношение с иными важными понятиями лингвистики: текст, интертекстуальность, интердискурсивность.

Ключевые слова: когнитивный, текст, дискурс, интердискурсивность

Сегодня чрезвычайно актуально изучение мыслительных процессов и социально значимых действий людей. Последние в значительной мере осуществляются через порождаемые и воспринимаемые личностью тексты [Тураева, 2009, с. 125]. Обращаясь к истории лингвистических исследований, можно отметить постоянное укрупнение объекта изучения: от слова к словосочетанию, от словосочетания к предложению, от предложения к тексту. Для исследований в зарубежном и отечественном языкознании последних десятилетий характерно пристальное внимание к единице еще более широкого плана, чем текст, – дискурсу.

Данный термин является предметом пристального изучения многих школ: французской (П. Серио, М. Фуко, М. Пешё и др.), немецкой (Утц Маас, Юрген Линк, Юрген Хабермса и др.), англо-американской, отечественной (В.Е. Чернявская, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, В.А. Андреева, Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов и др.). У каждой из школ сложились свои исследовательские традиции, что объясняет плюрализм мнений и подходов к определению дискурса. Большинство авторов при описании дискурса опираются на текст. Но и здесь можно наблюдать неоднозначность мнений. Так, ряд авторов считает, что текст шире, чем дискурс [Борботько, 1989], другие прямо противопоставляют текст и дискурс с точки зрения различных критериев: динамичность/статичность, актуальность и др. «Текст как продукт», – отмечает М.В. Никитин, – «сам по себе мертв, в том смысле, что в нем нет

мысли вне дискурса и дискурсантов, вне процессов речемыслительной деятельности [...]. В тексте как таковом нет движения, вне дискурсантов он не меняется. Движение мысли совершается в дискурсантах, отчего и возникают различные интерпретации одного и того же текста (одной и той же кодировки мысли)» [Никитин, 2005, с. 120].

Ряд авторов подчеркивает, что дискурс включает в себя текст, выступая тем самым единицей более широкого плана. Так, Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как текст в совокупности с экстралингвистическим фоном: «Дискурс (от франц. *discours* – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова, 2000, с. 136]. В.В. Красных определяет текст как «основную единицу дискурса» [Красных, 1999, с. 5]. В.Е. Чернявская выделяет два направления в исследовании дискурса: «дискурс как конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном, когнитивном и типологически обусловленном пространстве» и «дискурс как совокупность тематически соотносенных текстов» [Чернявская, 2009, с. 144].

Представители когнитивного подхода в лингвистике противопоставляют текст и дискурс как когнитивную деятельность и ее результат. Так, например, Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова делают следующий вывод: «Под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму [Кубрякова, Александрова, 1997, с. 19–20].

Таким образом, существует коммуникативное, межтекстовое единство, большее, чем текст, – дискурс. Основная форма существования дискурса – текст. При этом дискурс не подменяет понятие текст. Дискурс обозначает коммуникативный и ментальный процесс, приводящий к образованию формальной конструк-

ции – текста. Другими словами, исследование дискурса предполагает работу с текстом. Будучи включенным в новую систему координат, текст обретает новые признаки. Так, ранее открытость текста связывалась с интертекстуальностью, отражающей процесс «разгерметизации» текстового целого через особую стратегию соотнесения одного текста с другими текстовыми/смысловыми системами и их диалогическое взаимодействие в плане и содержания, и выражения. Исследуемый дискурсивным анализом текст наделяется новой характеристикой – дискурсивностью, понимаемой как интегрированность текста в метапространство дискурса [Чернявская, 2009, с. 144, 176].

Тот факт, что дискурсы существуют не в изоляции, но взаимно налагаются, пересекаются, отмечают с самого зарождения дискурсивного анализа. В частности, ряд представителей французской школы анализа дискурса подчеркивают, что дискурс по своей сути неоднороден и представляет собой не что иное, как совокупность иерархически организованных формаций (Пешё М., Серио П. и др.). Так, М. Пешё вводит категорию **интердискурсивности**, определяемую как конститутивную способность любого дискурса, благодаря которой он находится в отношениях с ансамблем уже произведенных дискурсов [Пешё, 1999]. Реализация данной способности возможна благодаря существованию «преконструкта». «Преко́нструкт – это совокупность предшествующих дискурсов, выступающих как сырьё для нового дискурса. Обусловленный преко́нструктом, любой дискурс неизбежно является интердискурсом» [Серио, 1999, с. 267].

Интердискурсивность основывается на системном характере дискурса. Дискурс, по мнению Ю.С. Степанова, – это «особое использование языка ... для выражения особой ментальности ..., также особой идеологии; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и в конечном итоге особую грамматику и особые правила лексики и ... создает особый «ментальный мир» [Степанов, 1995, с. 38]. Похожую точку зрения высказывает В.А. Пищальникова, добавляя к вышесказанному прагматическую составляющую дискурса: дискурс – «...совокупность приемов использования языка для выражения определенных способов мышления, призванных целенаправленно воздействовать на читателя или слушателя, внедряя в их сознание опреде-

ленную систему представлений» [Пищальникова, 2008, с. 65]. А.Г. Гурочкина по этому поводу справедливо замечает, что «прежде всего дискурс – это связанная последовательность языковых единиц, создаваемая/созданная говорящим для слушающего/читающего в определенное время в определенном месте с определенной целью» [Гурочкина, 1999, с. 13].

В.Е. Чернявская, описывая интердискурсивность, с одной стороны, указывает на близость этого явления феномену интертекстуальности. Автор считает, что «общий транссемиотический универсум», интертекст или «текст в голове», согласно широкой концепции интертекстуальности, уместнее назвать **интердискурсом**, «поскольку речь идет об интегрированном в целостную систему человеческого знания, рассеянном во многих дискурсивных формациях» [Чернявская, 2009, с. 210]. С другой стороны, названные явления разграничиваются: интертекстуальность определяется как текстовая категория, а интердискурсивность – как когнитивная. Интердискурсивность предшествует интертекстуальности, но именно интертекстуальные включения делают видимыми когнитивные процессы на текстовой плоскости [Чернявская, 2007, с. 23].

Аналогичные выводы встречаем у И.К. Архипова, который также оперирует понятием интердискурсивность. «При построении сложных языковых знаков дискурса», – подчёркивает автор, – «говорящий опирается на *известные* ему наиболее общие способы его организации». Например, он знает (помнит) алгоритмы появления комбинаций слов и средств связи между ними и использует их для обеспечения связности высказывания. Далее, он также знает, что в своем изложении может опираться (ссылаться, намекать) на информацию, содержащуюся в других источниках. Он *помнит* эту информацию в том или ином объеме, *надеется и уверен*, что аналогичными или почти такими знаниями обладает и его слушатель. Благодаря этому знанию он вводит в свои цепочки дискурса цитаты и аллюзии. *Осознание* данной связи цитаты или аллюзии с каким-то содержанием, которое «встречалось в других текстах», а на самом деле, соотносится с состояниями сознания другого или других коммуникантов, творивших свои дискурсы, следует называть интердискурсивностью [Архипов, 2008, с. 206].

Е.В. Белоглазова, изучая дискурсную гетерогенность детской литературы, определяет интердискурсивность как «введение в текст, относящийся к одному дискурсу и манифестирующий свойственные ему черты, чуждых ему инодискурсных элементов [Белоглазова, 2010, с. 48]. Исследователь разграничивает интертекстуальность и интердискурсивность, основываясь на результатах своих практических исследований и включая в своё описание термины, введенные Т. ван Дейком для описания содержания и формы дискурса: «макроструктура» и «суперструктура», соответственно. По мнению Белоглазовой Е.В., интертекстуальность и интердискурсивность отличаются с точки зрения единицы, вступающей в диалогические отношения. Так, в первом случае (интертекстуальность) объектами непосредственного и опосредованного восприятия реципиента будут тексты в их фиксированности, конечности, материальности, а во втором (интердискурсивность) в диалогические отношения вступают дискурсы, специфические черты которых на уровнях макроструктуры и суперструктуры материализуются в тексте(ах), выступающем(их) как место их контакта. Анализируемые явления разделяются и с точки зрения системы маркирования. В отличие от маркируемой точно интертекстуальности, интердискурсивность обычно сопровождается относительно развернутой системой маркеров, гарантирующих правильное опознание реципиентом нового дискурса, основывающееся на принципе максимального пересечения [Белоглазова, 2010, с. 11–12].

Итак, существует метатекстовое пространство – дискурс, отличающийся системностью и экстралингвистическим характером. Дискурсы взаимодействуют, что находит свое отражение в явлении интердискурсивности. Исследование дискурса и интердискурсивности возможно благодаря существованию текста.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Дискурс // БЭС: Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 2000. С. 136–137.

Архипов И.К. Язык и языковая личность: учебное пособие. СПб., 2008.

Белоглазова Е.В. Дискурсивность, интердискурсивность, полидискурсивность литературы для детей: монография. СПб., 2010.

Гордиевский А.А. Категория интердискурсивности в научно-дидактическом тексте. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2006.

Гурочкина А.Г. Понятие дискурса в современном языкознании // Номинация и дискурс: межвуз. сб. науч. тр., Рязань, 1999. С. 12–15.

Красных В.В. Структура коммуникации в свете лингво-когнитивного подхода (коммуникативный акт, дискурс, текст). Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1999.

Кубрякова Е.С., Александрова О.В. Виды пространства, текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время: материалы научной конференции. М., 1997. С.19–20.

Никитин М.В. Диалогизм vs. интертекстуальность: выбор плацдарма // Studia Linguistica. Вып. 14. Человек в пространстве смысла: слово и текст. СПб, 2005. С. 115–123.

Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 225–290.

Пицальникова В.А. Текст и дискурс К вопросу о соотношении лингвистических понятий // Русский язык в школе. 2008. № 8. С. 60–66.

Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12–53.

Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века: сб. статей. М., 1995. С. 35–73.

Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика. М., 2009.

Чернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность: учебное пособие. М., 2009.

Чернявская В.Е. Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность – дискурсивность – интердискурсивность // Стил. 2007. № 6. Белград. С. 11–26.

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого взаимодействия. М., 2006.

Щирова И.А., Тураева З.Я. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы: учебное пособие. СПб., 2005.

*Vorontsova Tatiana Ivanovna, Georginova Natalia Yurievna
(Saint Petersburg, Russia)*

**TO THE SPECIFICATION OF TERMS DISCOURSE
AND INTERDISCOURSIVITY**

The article gives a review of scientific points of view on a key term of a modern paradigm – discourse and its correlation with other important terms of linguistics – text, intertextuality and interdiscursivity.

Keywords: cognitive, text, discourse, interdiscursivity

Е.Ю. Ильинова (Волгоград, Россия)

МИФОЛОГЕМА КАК ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОГНИТИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА

В статье рассматривается вопрос о содержании понятия *мифологема*, его участие в искажении представлений в наивной картине мира; уточняются категориально-семантические импликации значения мифолем – слов, номинирующих мифологические концепты в английском языковом сознании.

Ключевые слова: ментальность, мифологема, мифолемема, наивная картина мира, импликация

При моделировании ментальной картины мира человек использует различные способы концептуализации знаний и представлений, и в языковой системе, отражающей следы обыденного сознания (практического опыта человека), наблюдаются специфические приемы именованя концептов. В целом они не связаны с законами формальной логики и не основаны на привычных рационально-логических стратегиях мышления, требующих обязательной верификации истинности знания через посредство практики. Данный порядок концептуализации в «наивной философии» ассоциируется с архаическими когнитивными моделями, с помощью которых осуществляется *мифологизация* [Радбиль, 2010, с. 198], процесс концептуализации неточных представлениях о мире и их эвристическая интерпретация [Ильинова, 2008, с. 91].

Мифологические представления о мире, сложившиеся в древние времена, оказали существенное влияние на понятийный базис современной культуры и языка. Размышляя об особенностях связи языка и мифа, Э. Кассирер отмечал, что они связаны друг с другом столь тесно, что, на первый взгляд, разделить их не представляется возможным. «Лингвистическое мышление, если можно так сказать, насыщено и пропитано мифическим мышлением. Эта насыщенность становится тем очевиднее, чем больше мы об-

ращаемся к начальным стадиям языка» [цит. по: Радбиль, 2010, с. 198]. Отметим, что в данном случае под мифом понимается, прежде всего, особый тип сознания, в котором малое значение имеют логически точные объяснения сути явлений материального мира и доминирует синкретизм – нерасчлененное и недифференцированное познание мира, основанное на его эмоциональном восприятии, или эмоционально окрашенное событийное осмысление феноменов мира [Дьяконов, 2009]. Мифологизированные представления о мире не требуют доказательства своей реальности, на них не распространяются ограничения формальной логики, так как «миф есть предмет веры, доверия к авторитету» [Радбиль, 2010, с. 199].

Многие исследователи сходятся во мнении о том, что основной операционной среды для концептуализации мифологического сознания является синкретизм мифологемы и слов, ее номинирующих. В частности, О.А. Корнилов отмечает, что мифологические категории каждого языка отражают работу «логико-понятийного компонента этнического языкового сознания на том историческом этапе развития народа, когда отсутствовало сознание научное» [Корнилов, 2003, с. 284], и значимую роль в те периоды играло сознание обыденное. При его участии недостатки реальных знаний о мире компенсировались с помощью доступных наивных представлений: в древние времена люди, пытаясь осмыслить законы природы, испытывали дефицит абстрактных понятий и выражали универсальное через конкретное, персонифицируя силы природы. Незрелость абстрактного мышления восполнялась мышлением образно-чувственным, а логический анализ заменялся метафорическим отождествлением непонятных природных феноменов с конкретными образами. Иными словами, мифологизация мышления связана с «неадекватным (с точки зрения рационального типа мышления) представлением связей и отношений реальности (и соответствующим ему превращенном отображении шкалы ценностей) в словесном знаке, сопровождающимся семиотизированными нормами поведения» [Радбиль, 2010, с. 201]. Этот специфический способ видения мира и освоения действительности остается востребованным и сегодня.

Принято считать, что мифологические структуры мышления воспроизводятся в общественном и индивидуальном сознании по-

стоянно, оказывая влияние на сущностные свойства и функции устройства языка и на особенности общения. Кодлируемые мифологические концепты получают репрезентации в мифологемах и именуется словами, однако, в лингвистике до сих пор остается проблемным вопрос о содержании мифологема (сложного знака с функцией понятия и образным содержанием) и мифолексем (имени, называющем мифологические объекты и явления). В данной статье рассматривается характер соотношения указанных выше понятий и особенности когнитивно-семантической структуры мифолексемы как единицы языка, номинирующей мифологические концепты.

Для разъяснения сути понятия «мифологема» обратимся к мнению философов и культурологов. Мифологема как ценностная форма культурной памяти народа, в отличие от мифа, компактна; она не нуждается в фабульном (нарративном) развертывании событий мифа; смысловое содержание, вкладываемое в данный термин рядом авторов, выражается через понятие смыслообраза. С одной стороны, стабильностью заложенного в ней содержания мифологема близка аллегории, с другой стороны, по признаку конвенциональности – к эмблеме [<http://russidea.rchgi.spb.ru/ideasinrussia>]. Однако, в отличие от двух последних, она обладает глубоким смысловым потенциалом – в ней не только сохраняется мифологическое содержание, соотносимое с культурной традицией, но с ее помощью возможна связь с другими мифологемами в функциональном поле культурного и эстетического пребывания. Фабульность мифа, символом которого становится мифологема, создает условия для трансформаций его отдельных признаков и ведет к порождению новых понятийных конструкций, совмещающих эстетическую противоречивость и образную убедительность.

Список мифологем, по мнению культурологов, ограничен и включает архетипы мышления и фантазии обыденного сознания, представляющие основные хронотопы космографической модели Универсума, социальные символы и культурные ценности, которые определяют духовное содержание любого человеческого общества. Именно гипертрофированная аксиология, модельная формула поведения («миф как фабула поступков») определяет доминантную роль мифологема в истории развития мировоззрений.

Как полагают философы, «поступочность» мифа есть «внутренняя форма» мифологемы, и миф в ней является не означаемой, а означающей стороной [цит. по Информационно-аналитический портал «Русская идеология», 2007–2009, <http://russidea.rchgi.spb.ru/ideasinrussia>]. Именно поэтому многовековая история использования мифологемы социумом не уменьшает ее образность и специфическую значимость: если в обыденном сознании она компенсирует отсутствие научного знания и представляет «суррогат историзма», то в эстетико-культурной парадигме она остается ценностной формой культурной памяти, общественной совести, метанационального диалога.

Являясь сжатой формой мифа, мифологема выполняет ряд коммуникативных функций, в частности, познавательную (алогично-эвристическое объяснение причин мироустройства), аксиологическую (передачу необходимых для развития социума духовных ценностей), регулятивную (образ запрета-разрешения в социуме), эстетическую (сохранение нарративной традиции и выразительных возможностей языковой и фольклорной архаики). Не менее значимой является и номинативная функция мифологемы, связанная с именованием («обживанием мира») и переименованием субъектов и объектов в постоянно меняющейся когнитивной картине мира. Отдельные исследователи предлагают называть такие номинации *мифолексемами* [Шаховский 1986; Кошарная, 2003; Горбачева, 2008], отмечая, что с их помощью решаются задачи лексикализации мифа, то есть вербализации отдельного элемента мифологической картины мира, которая не имеет референтов в мире реальном и в целом отличается алогичностью. В этой связи требуется рассмотреть вопрос о специфике когнитивно-семантического содержания мифолексем – слов, номинирующих мифологические смыслообразы, не имеющие референтов в системе языка. Проблемным здесь видится логико-понятийное содержание данных единиц.

Как утверждает в когнитивной лингвистике, в языке в первую очередь именуются сущности, имеющие достаточно прямые и определенные аналоги в мире реальном. Таким фрагментам мира приписывается онтологический статус, они входят в число сущностей, определяемых опытным путем, их признаки и характеристики становятся базовыми при решении вопроса о ка-

тегориальной системности знания. Однако, как неоднократно отмечала Е.С. Кубрякова, мысль может объединить в единое целое концепты того, что в мире есть и что не имеет материального представления [Кубрякова, 2004]. При этом означивание мира, начавшееся, по мнению ученых, с выделения простейших форм движения, представлений о пространстве, объектах, размещенных в нем, сопровождалось созданием концептуальных гештальтов особого рода – феноменов, суть которых была непонятна человеку, и для их объяснения он прибегал к фантазированию и вымыслу. Представления о таинстве сотворения мира, сакральности и враждебном противостоянии сверхъестественных сил человеку долгое время заменяли объективные данные о мире, и в культуре каждого народа они получали свое именование и ценности. В частности, весьма подробную концептуализацию получили мысли, с помощью которых человек пытался описать своё шестое чувство – ощущения, интуицию, предчувствия, страхи, связанные с недостаточным знанием о себе и окружающем мире. Их он замещал вымыслом о существовании иного мира – мира волшебства и магии, объясняющего суть непонятных явлений и процессов.

Так, в английском языковом менталитете присутствует концептосфера «Иной мир», которую следует отнести к особому способу интерпретации мира. Выделение указанной концептосферы в качестве отдельной и номинаций, с помощью которых в языке фиксируются представления о её конституентах, есть косвенное свидетельство не столько осознания человеком определенного вида деятельности, но акт «остановленного» внимания на признаках, компонентах, функциях и ценности данной системы в общей системе представлений о мире. На наличие принципа неслучайности именованья в культуре неоднократно указывали ученые [Степанов, 1997, с. 62–64], полагая при этом, что выявлению ценностных свойств и принципов именованья способствуют процедуры семантического анализа внутренней формы и реализаций языковых знаков различных уровней концептуальной абстракции. Их анализ позволяет выявить национальную специфику картины мира в той или иной культуре, установить степень приоритетности для носителей языка отдельных явлений культуры.

Изучение логики отражения рассматриваемых мифологических концептов в английском языке показало, что в структуре лексем не удается провести строгого разделения на понятийную и образно-ценностную составляющие, поскольку большая часть номинаций субъектов и объектов (понятий о мире сверхъестественном, ирреальном) связана с размытыми представлениями, не имеющими референтов в мире реальном, но соотносимыми с такими доминантами культуры, как *любопытство*, *страх*, *вера в магическое знание и волшебство*. В них зафиксированы фрагменты образного архаического сознания как особого видения мира, основанного, в большей степени, на псевдофактах о сотворении мира и эвристике вымысла о борьбе хаоса с космосом, о существовании параллельно миру человека иных миров, которые относятся к категории сакральных миров, населенных сверхъестественными существами [Ильинова, 2008]. Для их обозначения в системе английского языка сложилось тематическое поле лексем особого рода – мифолексем, с помощью которых передаются представления о квазибытийности сверхъестественных существ и их магических способностях. На основе указанного категориального признака выделяются три тематические группы мифолексем: *мифологические существа* (*Supernatural forces and mythological beings*), зафиксированные во всемирном фонде архаической мифологии и заимствованные в британский фольклор; *британские феърри* (*Fairy folks*), представляющие этноспецифические представления британцев о сверхъестественных существах; *волшебники* (*Sorcerers*).

Слова данных кластеров следует отнести к знакам-понятиям, и, как отмечала Н.Д. Арутюнова, их знаковая функция реализуется только по отношению к сигнификату [Арутюнова, 1977]. Сходное мнение о специфике лексем, номинирующих мифологемы, высказал М.Ю. Лотман: «Мифологемы – коллективные и индивидуальные – являются именами собственными, либо выступают в функции имен собственных. Говорить ... о содержании имен собственных или, тем более, пытаться разложить это содержание на компоненты, было бы бессмысленно. Однако каждое слово, а мифологема – особенно, помимо своего референциального значения и вне зависимости от того, обладает ли оно сигнификативным значением или нет, в памяти говорящего/слушающего

включено в некоторый круг привычных ассоциаций, понятных только носителю данной культуры. Подобного рода ассоциации могут материализоваться в виде постоянных эпитетов или других слов-спутников, сопровождающих, как правило, появление данной мифологемы в тексте» [Лотман, 1989, с. 104]. В.И. Шаховский под мифолексемой предлагает понимать единицу с особой семантической структурой – слово с «оторванным денотатом» [Шаховский, 1986, с. 73].

Подобный семантический статус лексических единиц не является уникальным. Как отмечал А.Ф. Лосев, язык отражает не просто действительность, в том числе и предполагаемую, но иной раз даже и фиктивную, сознательно искаженную и без всяких оснований придуманную [Лосев, 1982]. И для каждого фрагмента ментальной картины мира (реального и вымышленного) в языке имеется соответствующий материальный заместитель реальных и ирреальных референтов. В нашем случае это лексические единицы с нулевым денотатом, с помощью которых язык фиксирует признак «бытийность мифических существ» и несуществующий в реальности класс референтов. Основываясь на указанной специфике значения мифолексем, В.И. Шаховский говорит об отнесенности референции к сигнификативному типу, а сами единицы относит к однозначным словам, выполняющим все знаковые функции [Шаховский, 1986, с. 74]: номинация (называние «мыслительных конструкторов», напр., мифических одушевленных существ – *unicorn, dragon, griffin, werewolf, mermaid, troll, ghost, wizard, etc.*), сигнификация (наличие обобщенных понятийных признаков – отнесенность к разряду существ, обладающих магической силой – *magician, fairy, pixy, brownie, etc.*), абстрагирование (выделение общих и тождественных признаков у разных мифических существ – физическая ирреальность; частичное сходство с человеком или животным по какому-либо компоненту – внешность, характер, манера поведения, повадки; намеренное преуменьшение или преувеличение размеров и т.п.; наделение особыми и необыкновенными способностями).

Следует заметить, что представления о данных квазиреферентах в ряде культур во многом совпадают. Так, в каждой лингвокультуре обнаруживаются имена, обозначающие представителей бестиария (антропоморфные и зооморфные существа), которые

получают образно-символическую репрезентацию и обладают похожими мифологемами (напр., *русалка*, *оборотень*, *дракон*, *домовой* и т. п.). С другой стороны, по содержанию мифологема, несомненно, отличаются этнокультурной спецификой, и часто заимствуются в пространство иной культуры вместе с ней. Так, кентавр (*Kentauros*) – мифическое существо с конским туловищем и человеческой головой, грудью, это концепт из древнегреческой мифологии. Будучи заимствованной в иную культуру, мифолексема *кентавр* удерживает сему «отнесенность к греческой мифологии» (*centaur (Greek mythology) – one of a race of monsters having the head, arms, and trunk of a man and the body and legs of a horse*). Сходным образом сохраняется сакральность мифолексемы *единорог*, зафиксированная в фольклоре ряда европейских стран (*unicorn – a fabled creature symbolic of virginity and usually represented as a horse with a single straight spiraled horn projecting from its forehead*).

Сопоставление мифоконцептов британских сверхъестественных существ, живущих в воде, с их аналогами в славянской и скандинавской традициях показывает некоторые этнокультурные различия. Так, в славянской традиции (особенно у восточных славян) присутствует один из древнейших мифологических персонажей *русалка* – «молодая девушка, умершая неестественной смертью до свадьбы, как правило, утонувшая» [Русское культурное пространство, 2004, с. 218]. Русалка изображается в образе молодой девушки с длинными распущенными волосами, с бледной кожей, нагая или в белых полупрозрачных одеждах, нередко она изображается с рыбьим хвостом. Коварство русалки проявляется в том, что своей красотой она может околдовать мужчину и заманить его в воду. В приведенном образе славянской русалки сочетаются черты духов воды (речные русалки), плодородия (полевые русалки), «нечистых» покойников (утопленниц), в то время как в скандинавском фольклоре русалка – это только красивая длинноволосая девушка-утопленница (ставшая известной во всем мире благодаря сказке Г.Х. Андерсена). В британской традиции наблюдается более детальная концептуализация водных антропоподобных существ и выявляются гендерные различия. Кроме духов озер и рек есть особый «морской народ», который относится к человеку крайне недружелюбно (ср.: *mermaid* –

a legendary sea creature having the head and upper body of a woman and the tail of a fish и *merman – a legendary sea creature having the head and upper body of a man and the tail of a fish*).

Гендерные различия отмечаются и при сопоставлении образных деталей в мифолексемах *водяной* (в народных верованиях *демон в образе старика, обитающий в омутах, колодцах и других водоемах, иногда в море; в русском фольклоре это может быть морской царь*) и *watersprite* (*a sprite or nymph that inhabits or haunts a body of water*). Как следует из словарных толкований, в английской мифологической традиции указанным именем может быть названо бесполое существо или существо женского рода (ср.: *nymth = any of numerous minor deities represented as beautiful maidens inhabiting and sometimes personifying features of nature such as trees, waters, and mountains*). Еще больше различий выявляется при попытке найти этнические эквиваленты русским лексемам *баба-яга, кикимора, леший, Соловей-разбойник, Кощей* и др. или английским *hag, harridan, pixy, dwarf, elf, fairy, brownie, etc.*

Общеизвестные типы демонических существ представлены и в русском, и в английском языках: *оборотень – werewolf, змей – dragon, basilisk, ведьма – witch, водяной – watersprite*, но их функциональные и образные характеристики не совпадают. Так, *оборотень* в славянской традиции обозначает человека, способного обращаться с помощью колдовства в зверя, растение или предмет, в то время как в англо-саксонской традиции представление об оборотничестве связано только с одним зверем – волком, что вытекает из семантики лексемы *werewolf* и ее словарного толкования «*a person transformed into a wolf or capable of assuming the form of a wolf*».

Как представляется, семантическая специфика описываемых единиц состоит не только в абстрактности и размытости логико-понятийного компонента их значения (о чем свидетельствует доминирование в качестве категориальных признаков образных ассоциаций с известными антропо- и зооморфными характеристиками объектов, выделяемых в мире реальном), но и присутствие импликационала – проекции на миф, вымышленную историю, с помощью которой квазипредставление о мифологическом существе получает образную детализацию и символическую зна-

чимость, что превращает такую лексему в имя особого лингвокультурного концепта – мифологему, смыслообраз, связанный с эмоционально-образным восприятием мира.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Номинация, референция, значение // Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977. С. 188-206.

Горбачева О.Г. Ономастическое пространство русских народных и авторских сказок. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Брянск, 2008.

Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 2009.

Ильинова Е.Ю. Вымысел в языковом сознании и тексте. Волгоград, 2008.

Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национального менталитета / 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.

Кошарная С.А. Лингвокультурологическая реконструкция мифологического комплекса «Человек – Природа» в русской языковой картине мира. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Белгород, 2003.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.

Лосев А.Ф. О понятии языковой валентности // Известия АН СССР, Сер. лит. и яз. 1982. Том 40. № 4. С. 403–412.

Лотман М.Ю., Минц З.Г. Статьи о русской и советской поэзии. Таллинн, 1989.

Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. М., 2010.

Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. 1 / И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных. М., 2004.

Степанов Ю.М. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М., 1997.

Шаховский В.И. Семантические особенности мифолексем как разряда экспрессивной лексики // Лексическая и грамматическая семантика: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1986. С. 72–82.

Электронные источники

Информационно-аналитический портал «Русская идея»: [сайт].
URL: http://russidea.rchgi.spb.ru/ideasinrussia/filcategory/index.php?ELEMENT_ID=3312

Ilynova Elena Yurievna (Volgograd, Russia)

**MYTHOLOGICAL UNIT AS HEURISTIC MEANS
OF COGNITIVE MAP INTERPRETATION**

The article highlights the notion of *mythological concept*, raises the issue of its falsifying function in representing concepts of the naive cognitive mapping, and specifies categorial-and-semantic implications in the meaning of mythological lexemes – the words that nominate mythological concepts of the English mentality.

Keywords: *mentality, mythological concept, mythological lexeme, naive cognitive mapping, implication*

В.Ю. Клейменова (Псков, Россия)

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ФИКЦИОНАЛЬНОГО МИРА ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ КАК ВОЗМОЖНОГО МИРА

В статье рассматривается вопрос онтологического статуса фикционального мира волшебной литературной сказки и средства ее репрезентации в тексте. Использование семантики возможных миров позволяет определить данный ментальный конструкт с позиций модального реализма и проследить его связь с внеязыковой действительностью, а также его обусловленность фиктивностью коммуникативной ситуации.

Ключевые слова: возможный мир, языковые маркеры возможного мира, фикциональный мир волшебной сказки, постулаты модального реализма, идентификация вымышленных объектов, фиктивная (изображенная) коммуникация

Современная гуманитаристика выработала различные определения понятия «возможный мир»: с позиций семиотики [Степанов, 2001, с. 21–22], философской трактовки теории информационной системы [Липский, 2008, с. 299–300], модальной логики [Kripke, 1972, с. 267; Хинтиikka, 1980, с. 74]. В данной статье в качестве отправной точки для рассуждений используется дефиниция, предложенная Ю.С. Степановым, в соответствии с которой возможный мир есть «мир, состоящий из предметов, индивидов, сущностей, соответствующих интенционалам какого-либо языка. Возможный мир создается средствами языка. <...> Возможный мир строится по законам логики, он внутренне целесообразен и логичен, но его интенционалы не завершены экстенционалами, для них в определенном (оговоренном выше) смысле нет необходимости находить существующие «вещи» в актуальном мире» [Степанов, 2001, с. 21–22]. Для изучения фикционального мира волшебной литературной сказки, который сформирован вымышленными сущностями двух типов: имеющими аналоги в реальном мире и порождениями чистой фантазии, особую эвристическую ценность представляет мысль о необязательности экстенционалов

фикций. Проекция концепции возможных миров на тексты волшебной литературной сказки позволяет определить дифференциальный признак оппозиции «реальный мир» vs. «фикциональный мир», а также подтвердить тезис о главенствующей роли вымышленных сущностей в формировании возможного мира, актуализированного в данном текстотипе.

Для изучения возможного мира сказки воспользуемся постулатами модального реализма, сформулированными А.А. Веретенниковым на основе обобщения и анализа созданных К.И. Льюисом моделей воспроизводства контрафактических высказываний как средств конструирования системы возможных миров, которые «выравнивают в правах» актуальный и возможный миры и позволяют охарактеризовать последний [Веретенников, 2007, с. 24–25]. В этой концепции «вымышленный мир является не просто допустимым положением вещей, но некоей альтернативной реальностью, пусть и недостижимой для нас. Она существует, но не может быть подтверждена стандартным методом верификации» [Веретенников, 2007, с. 28]. Несмотря на то, что мы рассматриваем фикциональный мир сказки не как альтернативную реальность, а как созданное авторским воображением, не противоречащее логике сочетание положений вещей, которое в рамках литературной коммуникации признается существующим по условиям негласной договоренности между автором и читателем, использование постулатов Льюиса-Веретенникова по отношению к данному объекту представляется оправданным. Эти постулаты позволяют описать не только логические принципы внутренней организации фикционального мира сказки, но и взаиморасположение в сознании читателя ментальных образов художественной действительности, репрезентированной в тексте, и реальности.

Применительно к исследуемому объекту постулаты модального реализма могут быть представлены следующим образом.

1. Фикциональный мир сказки существует как часть нашего актуального мира, поскольку он обретает физическую форму в тексте, а текст, в свою очередь, есть часть окружающего нас пространства, в том числе и культурного.

2. Фикциональный мир сказки есть нередуцируемая сущность, попытка свести его к более простому образованию нару-

шает его целостность и системность, что влечет за собой потерю информации.

3. Читатель отличает возможный мир текста от реального мира не только в силу осознания своего нахождения в реальности, но и в силу того, что, открывая книгу, он по умолчанию принимает негласную конвенцию о фикциональности описываемых событий.

4. Пространственно-временные отношения связывают элементы внутри каждого фикционального мира, репрезентированного в цикле сказок, и представлены текстовой категорией хронотопа, но они не связывают вымышленный мир и реальность в целостное образование.

5. Фикциональный и реальный миры каузально изолированы друг от друга. Несмотря на то, что фикциональный мир строится воображением автора на основании переосмысления впечатлений от реального мира, события, произошедшие в реальности после завершения работы над текстом, могут повлиять только на читательскую интерпретацию вымышленной действительности, но не на характеристики, описанные в тексте.

6. Фикциональный мир представляет собой полный универсум, который самодостаточен и структурно изоморфен реальному миру.

7. Фикциональный мир сказки нельзя назвать «невозможным» возможным миром, так как в нем отсутствуют логические противоречия.

Фикциональный мир литературной сказки противоречит лишь одному постулату исследуемой системы: в силу своей вымышленности он не принадлежит к той же онтологической категории, что и реальный мир. Фантазийный характер рассматриваемого возможного мира не является причиной нарушения остальных постулатов, так как «созданный автором и объективированный в тексте фикциональный мир – новый ракурс известного – творчески присваивается читателем ... литературный диалог становится возможным лишь благодаря принадлежности коммуникантов объективной реальности, которая обеспечивает его, сколь бы необычным не казалось ее индивидуально-авторское переосмысление» [Щирова, 2007, с. 165]. Он представляет собой ментальную модель действительности и, с точки зрения автора, может рассматриваться как нечто существующее.

Текст объективирует ментальную конструкцию возможного (фикционального) мира, придает ей материальную форму и делает ее доступной для восприятия и последующей интерпретации на основании идентификации вымышленных объектов в пределах одного сказочного цикла. Н. Гудмен выделяет три группы составляющих мир возможных сущностей в зависимости от их роли в конструировании вымышленного объекта, а именно: а) «заполнение бреши в реальном опыте тканью возможного», – из реальной пространственно-временной области предикат экстраполируется в возможную пространственно-временную область; б) описание альтернатив реальных восприятий, то есть не заполнение пробела в нашем реальном опыте, а описание совершенно нового возможного опыта, – происходит экстраполяция предиката на более широкую область реальных сущностей; в) утверждения, относящиеся к возможным физическим событиям [Гудмен, 2001, с. 53–59].

В фикциональном мире сказки представлены объекты всех вышеперечисленных типов, причем автор предлагает логическое обоснование реализации одной конкретной возможности, которая вытесняет остальные варианты. Рассмотрим вербализацию возможных сущностей в сказочном цикле Дж. Мерфи «Самая плохая ведьма». Первый тип возможных сущностей используется при создании пространства фикционального мира: образы реального пейзажа экстраполируются на возможную пространственно-временную область – пейзаж вымышленного мира. «*The coastline was indeed a spectacular sight, though not exactly what the pupils of Form Two had hoped for. For a start, the sun had disappeared behind ink-black clouds and it was just beginning to rain. Then there was the coastline itself, which consisted of mile after mile of amazingly high and rugged cliffs meeting an angry-looking navy-blue sea amid a mass of jagged rocks and shadowy caves. The waves smashed against the cliffs, sending up clouds of spray so high that the convoy of pupils and teachers could taste the salt in the air*» [Murphy, 1994, p. 84–86]. Языковые маркеры обыденной реальности в возможном мире представлены названиями географических объектов (*coastline, the sun, clouds, cliffs, sea, rocks, caves*), физическими характеристиками объектов (*salt in the air, mile after mile of the coastline*) и эмоционально-оценочными эпитетами

(*spectacular, ink-black, amazingly high and rugged, angry-looking, navy-blue, jagged*). Маркеры возможного мира – наименованиями персонажей и способа их передвижения. Использование эпитетов обусловлено ситуацией, в которой осуществляется фиктивная коммуникация – перелет в мрачный замок и восхищение пейзажем.

Актуализацию предикаций второго типа (расширение области применения предиката) можно проследить на примере описания функций метлы, которые не соответствуют реальному опыту читателя. «*You have skis on both feet, like ordinary skis, then you tie a piece of rope to the back of your broom, and off you zoom, holding on to the rope so the broomstick pulls you along like a boat*» [Murphy, 1994, p. 55–56]. В процитированном отрывке осуществляется экстраполяция предикатов, входящих в тематическую группу «катание на водных лыжах», на иную область реальных сущностей (метлу). Сфера применения предикатов расширяется. Представленный в тексте новый возможный опыт альтернативен экзистенциальному, с точки зрения читателя, но экзистенциален, с точки зрения персонажа. Аналогичное расширение области применения предиката (солдат, стоящий в строю по команде «вольно» – метла) представлено в следующем примере: «*You may sit down, girls*», said Miss Hardbroom. «*Tell your broomsticks to stand at ease.*» [Murphy, 1994, p. 93]. В обоих случаях выбор экстраполируемых характеристик обусловлен фиктивной коммуникативной ситуацией: в первом случае один из персонажей объясняет другому значение термина *broomstick water-skiing*, а во втором – традициями школы, в которой учатся персонажи и новые характеристики не противоречат логике формирования возможного мира. Более того, выполнив однажды перенос «катер для катания на водных лыжах – метла», автор вынужден придерживаться логики реального мира при использовании предикатов в новой предметной области. Это обусловлено такой характеристикой фикционального мира сказки, как правдоподобие.

Третий тип рассматриваемых сущностей – это возможные физические события в фикциональном мире, которые с точки зрения обыденной реальности представляют собой фикции, то есть порождения чистой фантазии. Маркеры возможного мира, фиксирующие противоречия с экзистенциальной действительностью,

представлены лексикой, именующей действия, принадлежащие к семантическому полю «волшебство»: «*He muttered the words of a spell, waved his arms at the fireplace, and with a whoosh! a glorious log fire appeared, ...*» [Murphy, 1994, p. 93]. Или: «*During the winter term, Ethel had changed Mildred into a frog. <...> The frog-Mildred had escaped from her jar and fled to the pond, where she had met the magician, Mr. Rowan-Webb, also turned into a frog by enchantment*» [Murphy, 1994, p. 45]. «Волшебные» лексические единицы используются автором для описания возможного фикционального мира в соответствии с традициями англоязычного сообщества и не нарушают логику и нормы словоупотребления объективной реальности.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что фикциональный мир отдельно взятого сказочного цикла представляет собой закрытую структуру (универсум), так как создается автором как возможный мир, в котором представлены только актуальные для авторского замысла объекты и субъекты, факторы и закономерности.

Список литературы

- Веретенников А.А. Философия Дэвида Льюиса: сознание и возможные миры. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 2007.
- Гудмен Н. Способы создания миров. М. 2001.
- Липский Б.И. Метафизика СПб. 2008.
- Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика: Антология. М. 2001.
- Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. М. 1980.
- Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация. СПб., 2007.
- Kripke S. Naming and Necessity // Semantics of Natural Language. Dordrecht, 1972. P. 253–355.
- Murphy J. The Worst Witch. All at Sea. London, 1994.

Kleimenova Victoria Urievna (Pskov, Russia)

**BASICS OF FICTIONAL WORLD CONSTRUCTION
IN A FAIRY TALE**

The given article is devoted to the ontological status of the art fairy tale fictional world and means of its text representation. Possible worlds semantics enables us to define this mental entity on the basis of modal realism and to establish its relations with out-of-text reality.

Keywords: possible worlds, linguistic markers of possible worlds, art fairy tale, fictional world, modal realism, fictional object identification, fictional communication

Л.А. Кочетова (Россия, Волгоград)

ДИНАМИКА СТРАТЕГИИ НЕГАТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ XVIII–XIX ВЕКОВ

В статье описываются стратегии негативной вежливости в рекламном дискурсе Великобритании в XVIII–XIX веках. При описании языковых средств их реализации особое внимание уделяется динамическому аспекту и обсуждаются дискурсивные факторы, стоящие за изменениями.

Ключевые слова: рекламный дискурс, негативная вежливость, стратегия

Вежливость является предметом междисциплинарных исследований и привлекает внимание разных наук. С точки зрения лингвистики вежливость изучается, в первую очередь, в рамках лингвокультурологии и социопрагматики – дисциплин, учитывающих влияние этнокультурных и социальных факторов на выбор способов и приемов выражения интенций в коммуникации. В связи с тем, что выбор языковых средств в дискурсивной деятельности в значительной степени определяется характером отношений между участниками коммуникации, их интенциями, социокультурным контекстом общения, основная часть современных исследований посвящена анализу приемов выражения вежливости в разных культурах и социальных ситуациях. Изучение категории вежливости традиционно ведется в этнокультурной или межкультурной парадигме [Ратмайр, 2003; Chen 1993; Yeung, 1997; Морозова, 2010], однако в рамках исторической лингвистики вежливость до сих пор остается малоисследованным явлением. К основным целям изучения вежливости в диахроническом аспекте, на наш взгляд, относятся изучение прагматического аспекта данной категории в историческом контексте, анализ изменений в стратегиях и средствах ее выражения, что предполагает сравнение языковых средств в разные исторические периоды, проведение сравнительного анализа реализаций стратегии вежливости в

дискурсе отдельной разновидности в эти периоды, установление причин изменений.

Отправной точкой изучения прагматики коммуникативной категории «вежливость» в данном исследовании послужили два понятия теории коммуникации – «лицо» (впервые введено американским социологом Э. Гофманом [Goffman, 1967, 1972]) и «коммуникативное действие «сохранение лица» (как действия, нацеленного на демонстрацию уважительного отношения говорящего к себе и своему партнеру [Brown, Levinson, 1987]). При этом «сохранение лица» рассматривается не как цель коммуникации, а условие, без выполнения которого успешное общение невозможно. Связано это с тем, что некоторые коммуникативные акты изначально являются «угрожающими лицу», и в целях сохранения и поддержания уважения друг к другу собеседники используют ряд коммуникативных стратегий, которые помогают нейтрализовать или смягчить угрозу «повреждения лица от совершаемых речевых действий».

Особый интерес в связи с вышесказанным представляет стратегия негативной вежливости [Brown, Levinson, 1987], направленная на сохранение свободы действий партнера по коммуникации. Она проявляется в таких способах коммуникативного поведения, как использование косвенных речевых актов, средств модальности, демонстрация уважения к адресату; намеренное принижение статуса говорящего и повышение статуса адресата; готовность извиниться и т. п. Это отличает ее от стратегии позитивной вежливости, состоящей в демонстрации солидарности говорящего и слушающего и выраженной в следующих линиях речевого поведения: проявление внимания и интереса к слушателю (прямое цитирование, вовлечение слушателя в диалог, стремление к согласию, учет желаний и склонностей слушающего); создание атмосферы внутригрупповой идентичности (использование диалекта, жаргона, обращения на «ты», эллиптических образований).

Целью данного исследования было изучение прагматических особенностей выражения негативной вежливости в текстах англоязычной рекламы XVIII–XIX вв. В рамках диахронического подхода решались следующие задачи:

- выявить языковые средства выражения категории негативной вежливости в рекламе ними за указанный исторический период и установить различия между рекламой XVIII и XIX вв.;

- определить прагматические мотивы, которые стоят за диахроническими изменениями и влияют на выбор стратегии вежливости и ее лингвистическое оформление.

Степень угрозы лицу оценивается с учетом трех независимых переменных:

- 1) социально-психологической дистанции между адресантом и адресатом;
- 2) авторитета говорящего (коммуникативная власть адресанта);
- 3) степени внедрения в личную сферу адресата.

Материалом исследования послужили рекламные тексты, опубликованные в газетах *The Times*, *Penny Illustrated News*, *The Graphic* в период с 1788 по 1896 гг. Представляется, что детальное рассмотрение средств вербального воплощения стратегии вежливости в рекламном дискурсе в историческом аспекте позволит установить изменение характера отношений между участниками рекламной коммуникации, обусловленное социокультурными условиями указанного периода.

В прагматическом аспекте рекламный текст, несомненно, представляет весомую угрозу лицу адресата, поскольку его цель – оказать влияние на адресата, вызвать интерес к предлагаемому товару или услуге, убедить адресата приобрести товар или воспользоваться услугой – можно рассматривать как проникновение в личное пространство клиента. Рассматриваемый нами период характеризуется удлинённой социально-психологической дистанцией между участниками рекламного дискурса и, как следствие, низкой коммуникативной властью адресанта рекламы. Как свидетельствуют данные социо-экономических исследований, подобное положение дел было обусловлено тем, что доход основной части населения Англии в это время был невысоким, цены на продовольствие вплоть до середины XIX века были высокими, и даже увеличение заработной платы служащих не способствовало улучшению уровня жизни населения [More, 1989, p. 97–99]. В связи с этим только небольшая часть населения, обладающая высоким уровнем доходов и социальным статусом, могла позволить себе потреблять товары не первой необходимости.

Подобные обстоятельства объясняют широкое использование в рекламе XVIII–XIX вв. стратегии негативной вежливости, подчеркивающей высокий социальный статус адресата рекламы и

намеренно принижающей статус отправителя рекламного сообщения. Эксплицитный призыв к покупке представляет собой коммуникативное действие, содержащее угрозу «негативному» лицу адресата, и в рекламных текстах выявляются особые средства вербализации негативной вежливости – речевыми актами, уменьшающие степень внедрения рекламной информации в личную сферу адресата и оставляющие за ним право принятия решения. Так, например, следующий рекламный текст в косвенной форме предлагает услугу «обучение танцам», перечисляя их виды и описывая условия обучения:

QUADRILLES, Waltzing, Minuets, Gavottes, and every other style of fashionable DANCING. TAUGHT by Mr. WILLIS, 41, Brewer-street, Golden-square; private lessons at all hours to untaught or incomplete pupils, of any age, wishing privacy and expedition. A select academy every Tuesday and Friday evening. A juvenile academy on Wednesday and Saturday. Also a morning academy, for ladies only, on Mondays and Thursday. Families and schools punctually attended.

[The Times June 10, 1825]

Использованием стратегий негативной вежливости можно объяснить преобладание дескриптивных текстов в рекламе XIX века, т. к. простое описание товара, информация об услуге не оказывают сильного воздействия на адресата, что значительно снижает степень угрозы его лицу.

В XVIII веке и начале XIX века в роли дополнительных индикаторов информативности текста широко использовались перформативные глаголы, например, глаголы *inform, announce, acquaint*: 1) *Galley and Deardmore think it a duty incumbent on them to inform the Public, that by the late Lottery Act, no shares of tickets, English or Irish, are legal without duly stampd by the Commissioners of the Stamp Office in London* [The Times Oct. 20, 1788]; 2) *Mr and Mrs King have the honour to announce they hold four classes a week for dancing, deportment, and callisthenic exercises* [The Times March 22, 1860]; 3) *Philip Day most respectfully acquaints Noblemen and Gentlemen, that he has now on sale truly elegant assortment of pier glasses, girandoles, stands, and picture frames of every description* [The Times Febr. 16, 1788].

Подобные языковые предпочтения объясняются не только стремлением подчеркнуть неравенство статусных отношений между участниками рекламной коммуникации, но и отрицательным отношением общества к рекламе, существовавшим, по данным историков рекламы, до середины XIX века, когда расхваливание товаров и призывы к покупке вызывали презрительное отношение и недоверие со стороны общественности [Turner, 1965, p. 52–55]. Многие рекламодатели стремились защитить свою репутацию, акцентируя внимание адресата на том, что текст содержит фактуальную информацию, например, *William Park acquaints the Public, that his Warehouse was opened for sale of Foreign Spirits* [The Times Febr. 18, 1788].

К числу способов, снижающих степень угрозы лицу адресата рекламы, относится усиление перформативных глаголов наречиями или фразами, подчеркивающими уважительное отношение к адресату: в следующих примерах преподаватель иностранных языков *respectfully informs ladies and gentlemen of this neighbourhood that he is forming Private Classes for these languages [Italian, French, German]* [The Times Febr. 10, 1825]; компания *Simpson and Co respectfully announce to their numerous patrons that they are now receiving from the Continent large assortment of novelties, suitable for presentation* [The Times, Nov. 22, 1860]; продавец *Edward Archer ... with great respect informs the Nobility and Gentry, that he has now an extensive assortment of Poplins* [The Times Oct. 16, 1788]; *Greenwood; Pringle and CO. most respectfully inform the Nobility; Clergy and Gentry of Gloucestershire, that the Map of that County is now Published* [The Times Febr. 10, 1825].

Приведенные примеры подтверждают мысль о существовании относительно жестких и относительно свободных формул вежливости, высказанную В.И. Карасиком: степень жесткости или свободы зависит от ситуации общения – чем официальнее ситуация общения, чем более подчеркивается статус участников, тем более жесткими будут формулы общения, включая формулы вежливости [Карасик, 2007, с. 386]. В условиях удлиненной социальной дистанции между рекламодателем и адресатом в рекламных текстах XVIII-XIX вв. была востребована стратегии негативной вежливости, об этом свидетельствует высокая степень официаль-

ности и формализованности рекламной коммуникации, устойчивый инвентарь языковых единиц и их сочетаний.

Так, если в XVIII и начале XIX века перформативные глаголы использовались в 30 % рекламных текстов, то во второй половине XIX века их число значительно возросло: количество употреблений перформативного глагола *inform* в период с конца XVIII по начало XIX вв. составляло 462 случая, а во второй половине XIX века – 1917 случаев; использование глагола *announce* возросло с 981 до 2106 случаев; глагол *acquaint* встречается в основном в конце XVIII – начале XIX вв. (195 и 63 случая употребления соответственно); одновременно происходит резкое увеличение случаев употребления таких перформативных глаголов, как *invite* – с 33 примеров до 1716 во второй половине XIX века и *recommend* – со 121 до 1475.

Косвенные средства выражения негативной вежливости в рекламе этого периода широко представлены страдательными конструкциями с глаголами в форме повелительного наклонения, например:

VEGETABLE LIQUID ROUGE

PREPARED by BAYLEY and LOWE, who beg leave to recommend it to the notice of the Ladies [...] To be had only at their shop, in Cockspur-Street, and T.Golding, Perfumer, in Cornhill. [The Times June 16, 1788].

В рекламных текстах наблюдается еще одной важное средство для воплощения стратегии негативной вежливости – местоимения, с помощью которых подчеркиваются такие важные характеристики как социальная дистанция и коммуникативная власть. Так, местоимения 3-го лица единственного и множественного числа передают референцию к отправителю текста, тем самым рекламодатель, не обращаясь прямо к адресату, увеличивает дистанцию между собой и адресатом текста, создается видимость представления себя через посредника.

Использование перформативных глаголов служит средством передачи статусной тональности, понимаемой как «вариативное динамичное общение, целью которого является обеспечение комфортного диалога» [Карасик, 2007, с. 386]. Стратегия негативной вежливости в рекламном дискурсе этого периода направлена на подчеркнутую демонстрацию статусного превосходства адресата

и принижение адресантом собственного положения, как, например, в рекламном объявлении: *Hurgood begs to leave to acquaint the Faculty, and Public in general, that in consequence of the death of the alte Mr Wrigglesworth, he has taken into his employ the workmen which were discharged from his shop in the Minorities, and are at this time actually employed in executing several articles upon his plan* [The Times June 16, 1788]. Подчеркивая вышестоящую позицию адресата, рекламодатели дают понять, что их позиция не позволяет им повлиять на решение адресата, эксплицитно побудить его к осуществлению действия: 1) *Samuel Belcher begs to leave to acquaint Passengers going to the East or West Indies, Private Families, and others, that they may be supplied with every article of Ready-made Linen* [The Times Apr. 11, 1825]; 2) *Richard Miles and Jacob Bird* (продавцы угля) *presume to inform the Public, that they have undertaken the Agency and management of this office ... for the Sale of Coals by Pool Measure only* [The Times Febr. 16, 1788].

Как отмечалось выше, реализация статусной тональности в рекламном дискурсе XVIII и начала XIX вв., выражавшаяся в стратегиях негативной вежливости, была обусловлена относительно высоким социальным положением потенциальных потребителей. Свидетельством слабой коммуникативной власти адресанта являются формы обращения, относящиеся к представителям высших классов. Например, *Philip Day*, продавец зеркал, использовал обращение *Noblemen and gentlemen*, Edward Archer, продавец одежды и тканей, адресовал свой рекламный текст *The Nobility and Gentry* [The Times Oct. 16, 1788]. Одновременное обращение к представителям дворянства и простым людям демонстрирует, что его целью было польстить адресату рекламы. Так как в XIX веке потребление являлось статусным показателем [Вососк, 1993, р. 15–16], потенциальные потребители могли интерпретировать такую форму обращения, как знак продвижения по социальной лестнице, которого они могут достичь, купив рекламируемый товар или воспользовавшись услугой. Лесть и иллюзия социальной мобильности через потребление предполагают, что широкое использование принципа вежливости являлось не только результатом соблюдения социальных норм, но и дискурсивной стратегией. В связи с тем, что данный тип обращения акцентирует высокий социальный статус адресата,

его можно рассматривать как стратегию негативной вежливости, указывающей на то, что статус создателя текста не дает ему права использовать директивные речевые акты.

Наблюдения показали, что в конце XIX века перечисленные ранее перформативные глаголы практически не использовались, что, на наш взгляд, связано с социо-экономическими изменениями в Англии (увеличением производительности труда, появлением нового, привлекающего внимание, формата рекламного текста, переходом в разряд потребителей широких слоев населения). К 1896 году лишь незначительное число рекламных текстов использовало стратегию негативной вежливости: ср. *Debenham* (магазин) *beg to state that their stock contains a very choice and complete assortment of Novelties* [The Times Sept. 21, 1896]; *Chappel and Co. beg to announce their After-Season Sale of second-Hand Pianofortes* [The Times Sept. 21, 1896]. Выделенные приемы используют общие формулировки для выражения традиционных ценностей, таких как уважение к потребителю и качество товара, не нуждающиеся в оценке. В конце XIX и начале XX веков значительно увеличилось количество текстов, использующих аргументацию, это означает, что в качестве компенсирующей стратегии вежливости, смягчающей весомость угрозы лицу адресата, выступает уже объясняющая стратегия. Тенденция к использованию аргументации вместо неаргументированных утверждений, приводимых в рекламных текстах на более ранних периодах, отражает растущий авторитет потребителя, который на основании приводимых суждений способен самостоятельно оценить предлагаемый товар.

Таким образом, дискурсивный анализ стратегии негативной вежливости в рекламе XVIII–XIX веков позволил выявить специфические языковые средства ее реализации, установить социокультурные особенности рекламы в отдельные исторические периоды и проследить их динамику.

Список литературы

Карасик В.И. Языковые ключи. Волгоград, 2007.

Карпова Е.В. Стратегии вежливости в современном английском языке (на материале малоформатных текстов). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002.

Морозова И.И. Коммуникативные стратегии вежливости в стереотипном речевом поведении викторианской женщины. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Харьков, 2010.

Ратмайр Р. Прагматика извинения / пер. с немецкого. М., 2003.

Солдатова А.В. Директивные речевые акты в средневерхненемецком языке. Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004.

Воссок R. Consumption. London, 1993.

Brown P., Levinson S. Politeness. Some universals in language usage. Cambridge, 1987.

Chen R. Responding to compliments – a contrastive study of politeness strategies between American English and Chinese speakers // Journal of Pragmatics. 1993. Vol.20 (1). P. 49–75.

Goffman E. Interaction Ritual. Garden City, New York, 1967.

Goffman E. Relations in Public. London, 1972.

More Ch. The industrial age: economy and society in Britain, 1750–1985. London; New York, 1989.

Richards T. The Commodity Culture of Victorian England: advertising and spectacle, 1851–1914. Stanford, 1990.

Turner E.S. The Shocking History of Advertising. Harmondsworth, 1965.

Mills S. Gender and Politeness. Cambridge, 2003.

Watts R. J. Politeness. Cambridge, 2003.

Yeung L. Polite Requests in English and Chinese Business Correspondence in Hong Kong // Journal of Pragmatics. 1997. Vol.27 (4). P. 505–522.

Kochetova Larisa Anatolyevna (Volgograd, Russia)

DYNAMICS OF NEGATIVE POLITENESS STRATEGY IN ENGLISH DISCOURSE OF ADVERTISING IN THE XVIII–XIX CENTURIES

The article deals with the strategies of negative politeness in the advertising discourse of the XVIII–XIX centuries in Britain. The language means employed are described and discursive factors responsible for their change are discussed with an accent on their dynamic character.

Keywords: advertising discourse, negative politeness, strategy

О.Н. Кузьменко (Санкт-Петербург, Россия)

ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Статья посвящена вопросам языкового творчества М.И. Цветаевой в отношении топонимов и выявлению их особых функций, обусловленных индивидуально-авторским использованием топонимов в художественных целях.

Ключевые слова: М.И. Цветаева, топоним, поэтическая этимология, рэтимологизация, ресемантизация

По-французски я пишу свободно [Цветаева, Из письма Р.-М Рильке от 12-го мая 1926 г. т. 7, с. 58].

Французский язык занимал особое место в жизни М.И. Цветаевой: она говорила на нем с детства, она на нем творила, она перевела на французский язык произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, а также свою поэму «Молодец» («Le Gars»), она нередко вставляла слова и фразы на французском языке в письма, написанные по-русски. Письма М.И. Цветаевой, как правило, не являлись объектом специального исследовательского интереса, а привлекались цветаеводами в качестве дополнительного материала (фактического, аргументативного и т. д.) при рассмотрении различных сторон ее творчества. Французские инкорпорации в текстах писем М.И. Цветаевой многочисленны и разнообразны. Настоящая статья посвящена именам собственным-топонимам, рассматриваемым в ракурсе языкового творчества М.И. Цветаевой. В качестве материала исследования мы выбрали письма М.И. Цветаевой, опубликованные в семитомном собрании сочинений: Цветаева М. Сочинения: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М., 1994–1995. В тексте статьи все ссылки даются по этому изданию с указанием тома и страницы.

Про Монблан сказал: – «Хорошая гора. Только – маленькая» [Цветаева, из письма Ломоносовой Р.Н. от 12-го октября 1930 г., т. 7, с. 322].

Исследователями идиостиля М.И. Цветаевой отмечается особое внимание поэта к внутренней форме слова [Зубова, 1989; Зубова, 1999]. Этим вниманием отмечено и отношение к встречающимся в ее письмах топонимам.

1. Ведущим приемом осмысления внутренней формы топонима выступает ресемантизация, под которой мы будем понимать семантическую регенерацию имени собственного, т.е. актуализацию значения имени в целом или его частей на данном синхронном срезе.

• Ресемантизации подвергается неразложимая форма имени собственного: *Была в страшном банке на страшном ездовом узле Concorde 10. (Хорошо «Согласие», – все врозь!)* [Цветаева, 1930, т. 7, с. 321]

М.И. Цветаева – через актуализацию внутренней формы топонима – иронизирует над значением имени площади Согласия, подразумевающим едино-мыслие, едино-душие, со-размерность, нечто, обращенное к другому человеку, противопоставляя этому ее холодные, официальные учреждения, находящиеся в полном диссонансе с человеком, совершенно равнодушные к нему. Кроме того, площадь Согласия представляет собой оживленную транспортную развязку (*страшный ездовой узел*), а это – источник дополнительного (если не главного) стресса для М.И. Цветаевой. Таким образом, ресемантизируя название площади и составляющих его морфем, поэт выявляет то *страшное* несоответствие, которое существует между именем места (*Соп-corde*, *Со-гласие*) и реальностью (*все врозь!*).

Прием ресемантизации с последующей антитезой используется М.И. Цветаевой еще раз в контексте, который уже она сама горько определяет как «иронию»: *Правда – ирония: Innova – Hôtel? Две иронии: Innova и Hôtel – мне, любящей старые дома и, кажется, больше ничего* [Цветаева, 1938, т. 7, с. 531]

М.И. Цветаевой актуализируется значение обоих имен собственных: из названия отеля *Innova* извлекается его корень *nov-*, который антонимичен корню *стар* – русского прилагательного: *старые (дома)*; автоматизм восприятия преодолевается в имени *Hôtel*, который из нейтрального обозначения определенного типа

заведений превращается поэтом в обезличенное, враждебное, противоестественное место пребывания, выступая контекстуальным антонимом к слову «дом» и вставая в ряд, ранее обозначенный М.И. Цветаевой: «В дом, и не знающий, что – мой,/ Как госпиталь или казарма» [Цветаева, 1934, т. 2, с. 315].

Поселим Вас не на краю леса, а на краю мяса: единств<енное> свободное помещение у мясника на Route de Veau (нарисована голова телянка), 21/2 километра от моря. [Цветаева, 1928, т. 6., с. 324]

В этом примере дважды обыгрывается название дороги [*Route de*] *Veau* (досл.: Дорога Теленка): иконически – через рисунок головы телянка и семантически – через нахождение в одном семантическом поле с именем «мясник» и в одном реальном пространстве с мясником. При этом французское *veau* может означать как «телянка», так и «телятину». М.И. Цветаева, помещая это имя в соответствующий контекст, актуализирует именно второе значение, лишь потенциально заложенное в данном топониме. Отталкиваясь от него, М.И. Цветаева погружается в звуко-смысловую игру русских слов, основанную на семантико-структурном сходстве построения сочетаний и паронимической аттракции составляющих: *не на краю леса, а на краю мяса*, что ведет к фантастическому переосмыслению действительности.

Тонкий, присущий М.И. Цветаевой юмор проявляется при обыгрывании внутренней формы топонимов в следующем примере (он требует расшифровки, которая дается комментаторами): «*Приписка на полях: Какая у Вас легкомысленная вилла! Особенно в соседстве с аббатом. Что-то мопассановское.*» [Цветаева, 1936, т. 7., с. 487]. Цветаева отметила контраст между игривым названием виллы «*La frétille*» (от глагола *frétiller* – *извиваться*) и названием переулка: *sente de l'abbé Suger* (*тропка аббата Сюжера*) – строителя в XII в. базилики St-Denis [Комментарий составителя: т. 7., с. 542].

Приписка на полях М.И. Цветаевой говорит о ее замечательном чувстве юмора и непрестанном вслушивании в слова и их взаимодействие. В данном случае ресемантизация имени виллы и соотнесение ее с названием ближайшего переулочка практически выстраивает сюжет, вписанный во французскую же культуру (*Что-то мопассановское*).

- Ресемантизация внутренней формы имени происходит за счет объединения морфем и создания нового слова:

Городок St.Gilles-sur-Vie, стоящий на речке Vie (Жизнь), с жизнью же и отождествляется великим цветаевским корреспондентом Р.-М. Рильке, а затем и ей самой, принимающей рильковскую интерпретацию:

«*B St.Gill'e все хорошо*», – явно отождествляя St. Gilles – с жизнью. (Что впрочем и раньше сделал в одном из писем: St. Gilles-sur-Vie (*survie*))» [Цветаева, из письма Б.Л. Пастернаку от 9-го февраля 1927 г. т. 6, с. 270]. Объединяя в одно слово предложное сочетание *sur Vie*, Рильке образует существительное *survie*, одним из значений которого является «бессмертие души, загробный мир». Таким образом, слух поэта, чуткий к созвучиям, рождающим новые смыслы, не только возвращает обыденному названию городка его посястороннее очевидное значение, но и дарит новое метафизическое измерение.

- Ресемантизация внутренней формы имени происходит за счет разложения топонима на два слова и осмысления получившегося словосочетания.

С именем Рильке связана и регенерация внутренней формы названия местечка Bellevue (буквально: прекрасный вид «Belle vue») – предместья, где жила М.И. Цветаева в 1926 г. – в год смерти Рильке, откуда она написала ему свое последнее перед его смертью письмо: «*Борис, я рада, что последнее, что он от меня слышал: Bellevue. Это ведь его первое слово оттуда, глядя на землю!*» [Цветаева, из письма Б.Л. Пастернаку от 1-го января 1927 г. т. 6, с. 267]. В письме к Пастернаку М.И. Цветаева не переводит названия предместья, значение его дано здесь. Этот пример – в его соотнесенности с предыдущим – дает прекрасную и редкую возможность проникнуть в творческую лабораторию поэта, стать свидетелем непрерывности работы мысли и единства творческого пространства поэта, увидеть, что нет непроницаемой границы между жанрами (эпистолярным и поэтическим), ибо и тот, и другой – лишь разные ипостаси одной и той же творческой личности. Для этого необходимо сравнить приведенные цитаты со строками из поэмы «Новогоднее», посвященной Рильке:

*В Беллею живу. Из гнезд и веток
Городок. Переглянувшись с гидом:*

*Беллею. Острог с прекрасным видом
На Париж – чертог химеры галльской —
На Париж – и на немножко дальше...
Приблукотьясь на алый обод,
Как тебе смешны (кому) «должно быть»,
(Мне ж) должны быть, с высоты без меры,
Наши Беллею и Бельдеверы!*

[Цветаева, 1927, т. 3, с. 134]

В поэме название предместья дается по-русски. Возможно, есть в этом свой умысел: лишить глаз графической опоры, оставить лишь полагание на слух. Ресемантизация имени производится дважды: непосредственным переводом на русский язык «острог с прекрасным видом» и конъюнктивным сочетанием «Наши Беллею и Бельдеверы», где «Бельведер» так же, как и Bellevue, означает «прекрасный вид», но уже в переводе с итальянского (*belvedere*) – так, кстати, называлась вилла Буниных в Грассе (возможно, отсюда определение «*наши*»). Два этих этимологических дублета выступают контекстуальными синонимами для обозначения нашего жалкого «прекрасного вида», несопоставимого с тем, что открылось Рильке при взгляде на землю *оттуда*. Письмо Б.Л. Пастернаку написано 1-го января 1927 г., поэма «Новогоднее» – 7-го февраля 1927: образ, возникший в письме – взгляд Рильке из инобытия – получает свое развитие в поэме: прекрасный вид «**На Париж – и на немножко дальше...**» Осмелюсь предположить, что не случайно через два дня после написания поэмы у М.И. Цветаевой всплывает воспоминание о St. Gilles-sur-Vie (*survie*) (письмо Б.Л. Пастернаку датировано 9-м февраля 1927 г.) – это отзвук противопоставления: *Париж* как продолжающаяся жизнь (*Vie*) и *немножко дальше* как *survie* (рамки пространства раздвигаются, приобретая иное качество – временное, точнее, надвременное, вневременное). М.И. Цветаева не прекращает свой внутренний диалог с Рильке – переключку реплик этого диалога мы и улавливаем в ее письмах и поэме.

К этому приему прибегает М.И. Цветаева, разлагая на составные части и название северного парижского предместья **Courbevoie** (где проживает ее корреспондент), выделяя в нем прилагательное *courbe* (кривой) и существительное *voie* (дорога) и ассоциативно соотнося значение получившегося словосочетания

с народной приметой: «Эпиграф к Вашему местожительству: *Февраль – кривые дороги (Народная примета, даже – календарная)*» [Цветаева, 1937, т. 7, с. 470]

2. Исследователями поэзии М.И. Цветаевой отмечается, что другой ее излюбленный способ взаимодействия со словами и с осмысляемой через них действительностью – так называемая «поэтическая этимология», под которой понимается «намеренное переосмысление слова, связанное с авторским толкованием» [Зубова, 1989, с. 43]. Этот прием используется ею и применительно к такому «непоэтическому» материалу, как топонимы.

• Поэтическая этимология, основанная на фонетическом принципе.

«*Этими воротами выходили на реку, собственно – речку, с чудным названием Loing (loin!)*» [Цветаева, 1936, т. 6, с. 439].

«*Мой поезд (как гордо!) идет 28-го, в 5 ч. 20 мин. дня, с Лионской (львиного) вокзала.*» [Цветаева, 1935, т. 7, с. 48]

• В первом случае этимология имени речки выводится из фонетически совпадающего с ним наречия *loin* –далеко. Во втором случае обыгрывается фонетическое совпадение имени города [gare de] **Lyon** и существительного

Поэтическая этимология, основанная на разложении слова на составляющие элементы.

Этимологическому осмыслению подвергается М.И. Цветаевой название городка Elancourt: «*Значит и Вас взяла с собой в Elancourt – в русск<ом> переводе олень (старинное елень) бежит*». [Цветаева, 1934, т. 6, с. 414]. Интересно, что разбивая имя собственное на два слова *Elan court*, в первом М.И. Цветаева усматривает не лежащее на поверхности значение «*élan*» (лось), а интуитивно улавливает его более глубинную индоевропейскую основу: елень (олень). Благодаря столкновению французского и русского языков и окказиональной этимологии, М.И. Цветаева создает яркий поэтический образ (*олень (старинное елень) бежит*), далекий от реальной прозаической этимологии топонима, – сочетания *Aglini Curtis*, которое интерпретируется чаще всего как состоящее из антропонима *Aglini* и существительного *Curtis*, обозначающего «хозяйство, ферма» [Elancourt: электронный ресурс].

Реэтимологизация – оживление этимологических связей слова, восстановление его внутренней формы в диахроническом аспекте.

«*DIVES-SUR-MER (CALVADOS) 8, RUE DU NORD*

Дорогая Ариадна! Правда – дивное имя? Был у меня когда-то – ровно 20 лет назад! – такой стих (кончавший стихотворение):

...Над разбитым Игорем плачет Див

(Див – неведомое существо из Песни о Полку Игореве, думую – полу-птица, полу-душа...) Наш Dives – полу-Guillaume-le-Conquérant, полу-рабочий поселок, с одним домом во всю улицу и под разными нумерами (казенные квартиры для заводских рабочих)». [Цветева, 1938, т.7, с. 529].

Название французского городка, фонетически совпадающее с русским корнем *див*, – включается в гнездо однокоренных слов: дивное (имя), Див (неведомое существо). Совпадение в звучании французского и русского слов и их графическое сходство ведет к семантическому наполнению французского имени Dives и сближению его с мифологическим существом Дивом. Через запараллеливание атрибутивных частей предложения и оппозицию к сочетанию *полу-птица, полу-душа* М.И. Цветаева выражает противопоставление вневременного – историческому (*полу-Guillaume-le-Conquérant* – из Дива Вильгельм Завоеватель начал свой поход на Англию) и актуальному (*полу-рабочий поселок*), нематериального и невесомого – социальному и грубо-материальному, и противопоставление «дивного» имени городка, видимо, отнюдь не «дивной» реальности. Отличие от предыдущего примера состоит в том, что этимологизация имени *Elancourt* является в чистом виде актом поэтической этимологии, тогда как в случае с *Dives-sur-Mer* она имеет свои основания: этимология топонима Dives возводится к имени галльского божества Дивоне (Divona), имеющей древнюю праоснову *devos* – ту же, что и славянское Див [Quelques origines de noms de lieux en Normandie: электронный ресурс]. Таким образом, поэтическая интуиция М.И. Цветаевой наполняет французский топоним исконным этимологическим значением.

• Прием, обратным реэтимологизации, является деэтимологизация: так, М.И. Цветаева предостерегает от ложной этимологии имени парижского предместья *Ville-Juif*: *Пролежал 10 дней*

в *Ville-Juif*'ском госпитале (еврей – ни при чем: старинное название пригорода) [Цветаева, 1935, т. 6, с. 425].

И вновь интуитивно М.И. Цветаева оказывается права: несмотря на то, что происхождение имени этого городка до сих пор вызывает споры, версия о возведении его к *Villa Judea* отвергнута по ряду лингвистических и экстралингвистических причин [Villejuif: электронный ресурс].

Пойдите в мою память на Rue Bonaparte, я там жила [Цветаева, из письма Л. Е. Чириковой от 3-го нов<ого> ноября, 1922 г. т. 6, с. 304].

Функции топонимов

Употребление топонимов в эпистолярном жанре определяет характер выполняемых ими функций: к основным речевым функциям топонимов [см. Суперанская, 1973, с. 272–276] добавляются функции, обусловленные индивидуально-авторским использованием топонимов в художественных целях:

- Функция идентификации. Это основная и наиболее характерная функция топонима: имя собственное используется для обозначения географического объекта, нередко при указании адреса: *Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot; Vanves (Seine) 33, Rue Jean Baptiste Potin*

- Ассоциативно-экспрессивная функция. Топоним сам по себе коннотативно не окрашен, но появление его в тексте связано с запуском ассоциативного механизма, «активирующего» в памяти поэта важные для него и эмоционально окрашенные моменты его биографии.

Так, среди всех парижских адресов есть один, обладающий для М.И. Цветаевой особой эмоциональной окраской: *Rue Bonaparte, 59 bis* – место ее первого проживания в Париже в 1909 г., когда 16-летняя М.И. Цветаева впервые приехала в Париж. Увлечение ее Наполеоном в тот период сказалось и на выборе улицы. В разное время и в письмах самым разным корреспондентам вспоминает она об этом адресе:

Если будет время, зайди Rue Bonaparte, 59 bis ... [Цветаева, 1911, т. 6, с. 53]

Какова будет наша следующая встреча? Думаю, не в России. Хочешь в Париже? На моей Rue Bonaparte? [Цветаева, 1911, т. 6, с. 6]

Пойдите в мою память на Rue Bonaparte, я там жила: 59-bis. [Цветаева, 1922, т. 6, с. 304]

Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая, независимая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору ... Пойдите во имя мое на Rue Bonaparte и вспомните меня, 16-летнюю. [Цветаева, 1923, т. 6, с. 613]

Имя этой улицы вызывает к жизни целую эпоху, безвозвратно ушедшую, оно (феномен прустовской *madeleine*) запускает неостановимую цепь ассоциативных воспоминаний.

Типизирующая функция. Появление топонима не имеет более целью обозначение конкретного объекта, но, напротив, ведет к абстрагированию от его индивидуальных черт в сторону типизации характеристик употребленного топонима:

В Париже ... навряд ли останусь, мне, чтобы перейти Place de la Bastille, нужно напрячь всю свою волю... [Цветаева, 1926, т. 7, с. 28]

Появление именно этого топонима в цветаевском письме определяется качествами, присущими ему и роднящими его с классом топонимов, обладающих сходными характеристиками: площадь Бастилии – это огромная площадь с бесчисленным количеством отходящих от нее улиц и переулков, где так легко заблудиться, с оживленным движением. Общеизвестно, как М.И. Цветаева боялась транспорта, как легко терялась в городе, какой страх испытывала перед ним. Поэтому *Place de la Bastille* воплощает для нее всю урбанистическую inferнальность, всю бездушность и безликость спешащего, занятого только собой города, сосредоточивает в себе весь «священный ужас» поэта перед большим городом, превращаясь из единичного имени в некое обобщенное понятие, воплощенное в нем.

В следующем примере такое движение от индивидуального знака к универсальному претерпевает топоним *Côte d'Azur* :

Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые мне доверяют себя сказать – и меня – я это чувствую – любят. А любить – Côte d'Azur – то же самое, что двадцатилетнего наследника престола, – мне бы и в голову не пришло. [Цветаева, 1936, т. 6, с. 426].

Имя собственное *Côte d'Azur* воплощает для М.И. Цветаевой всю пошлость «залюбленных мест» и любви, не требующей уси-

лий души, всю вульгарность устремлений толпы, от которой поэт самоустраняется характерным для себя «ne daigne».

Рифмообразующая функция. В восприятии поэтом географических названий ведущим остается слух, реагирующий на звуковую переключку имен даже в адресе корреспондента:

А адрес, как эхо:

Vaumoise

(эхо): – Oise...

(И получились – стихи):

А адрес, как эхо:

– Vaumoise. (Эхо): Oise ... [Цветаева, 1935, т. 7, с. 478].

Полное фонетико-графическое совпадение конца слова Vaumoise (населенный пункт) и названия департамента Oise, в котором он находится, оказывается не банальной рифмой, но отзывается друг другу эхом созвучия.

*Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть –
Как сами себе верны.*
[Цветаева, т. 1, с. 247]

На основании вышеизложенного мы можем заключить:

- Для создания объемности взгляда на топонимы в эпистолярном наследии М.И. Цветаевой их рассмотрение не должно ограничиваться чисто лингвистическим анализом: необходимо учитывать биографический контекст, особенности поэтики М.И. Цветаевой, межжанровые переключки.

- В произведениях М.И. Цветаевой создается единое пространство поэтического языка, в котором межжанровые границы носят весьма условный характер. В данном случае «поэтический язык» понимается нами в широком смысле слова вне привязанности к жанру, но в связи с особенностями мировидения поэта, мировосприятия, отображения в слове сути вещи, где бы это ни имело место: в поэтических произведениях, в лирической прозе или, как в нашем случае, в письмах М.И. Цветаевой. Поэт остается верен законам своей поэтики и своего языка даже в такой далекой от поэзии сфере, как топонимия.

• Наряду с отмечаемыми исследователями приемами реэтимологизации и деэтимологизации, широко используемыми в поэзии М.И. Цветаевой и встречающимися в ее письмах, ведущим приемом в эпистолярном жанре оказывается ресемантизация имени собственного.

• Функционирование топонимов в текстах писем определяется художественными задачами, стоящими перед М.И. Цветаевой, отсюда, наряду с базовой идентифицирующей функцией имен собственных появляются такие, как ассоциативно-экспрессивная, типизирующая, рифмообразующая.

Список литературы

Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л., 1989.

Зубова Л.В. Язык поэзии Марины Цветаевой (Фонетика, словообразование, фразеология). СПб., 1999.

Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

Цветаева М. Сочинения: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М., 1994–1995.

Электронные источники

Elancourt: [сайт]. URL: <http://www.officedetourisme.agglo-sqy.fr/> (дата обращения: 16.01.2012).

Quelques origines de noms de lieux en Normandie: [сайт]. URL: <http://crehange.free.fr/norm.htm/> (дата обращения: 16.01.2012).

Villejuif: [сайт]. URL: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Villejuif/> (дата обращения: 16.01.2012).

Kouzmenko Olga Nikolaevna (Saint Petersburg, Russia)

FRENCH TOPONYMS IN M. TSVETAEVA'S LANGUAGE SPACE

The article deals with M. Tsvetaeva's language creativity concerning French toponyms and revealing their particular text functions.

Keywords: M. Tsvetaeva, toponym, poetic etymology, resemanitisation

Т.С. Нифанова (Северодвинск, Россия)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ОБЪЕКТ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена обсуждению дискуссионного вопроса о возможностях и путях сопоставительно-семасиологического изучения художественных образов.

Ключевые слова: художественный образ, сопоставительно-семасиологический анализ, концептуальный признак, наглядно-чувственный компонент, прагматический компонент, рациональный компонент, парадигма образа, деривационный анализ

Лексическая семантика представляет собой систему, которая фиксирует и интерпретирует различные типы знания. Наряду с областью явлений, раскрытой и объясненной новым естествознанием, в языке бытуют представления ребенка, первобытного человека, а также поэта. Одной из закономерностей художественного мышления является стремление к осмыслению абстрактных понятий через конкретные образы: «Через внешнее, индивидуальное в художественном образе познается субстанциональное» [Гегель, 1971, с. 384].

Образ является важнейшей для художественного текста категорией и подробно описывается в литературоведении. В последние годы возобладала точка зрения, в соответствии с которой образ может быть объектом не только литературоведческого, но и лингвистического семасиологического анализа. При этом образ предстает «как результат отражения реалии в языке и сознании и как единица лексико-семантической системы. В лексико-семантическом аспекте он представляет собой единицу, аккумулирующую разнообразные признаки реалии ...и во всем разнообразии этих признаков эксплицирующуюся соответствующими лексическими средствами» [Илюхина, 1999, с. 372]. Следовательно, к лингвистическому изучению художественных образов можно подойти и с сопоставительной точки зрения.

Утверждая, что межъязыковые исследования художественных образов возможны, мы руководствуемся следующими положениями. Стремясь передать личностный опыт, мастера художественного слова задают иные основания категоризации мира. Творя и создавая свой индивидуальный язык, писатели в то же самое время отражают тот или иной массовый язык своего времени, выступая скорее в роли резонаторов общих тенденций [Ирисханова, 2003, с. 9]. Наличие сходных приемов создания художественных образов у разных авторов в определенном языке подтверждает эту мысль. Бесспорно, особая функция художественного образа обуславливает высокую степень индивидуализации признаков явления в литературных описаниях, но субъективность познания художников пера ограничена. Ограничение обусловлено, во-первых, онтологией мира: человечеством накоплен определенный общий опыт восприятия окружающей действительности и социального существования [Шафиков, 1996, с. 14]. Во-вторых, каждое литературное произведение воплощает частный вариант концептуализации мира, но имеются и повторяющиеся образы. Они относятся к проявлениям архетипов и являются общими для всех времен и народов. «В настоящее время архетипом чаще всего называют уже не способность психики, а сами образы – древние, исконные, общие для большей части человечества, попавшие в литературу из мифов и фольклора» [Павлович, 1995, с. 33]. Как кажется, никто не оспаривает и мысль о существовании топосов – образов, которые «многократно варьируясь, приобретают общенациональную распространенность и характерность» [Эпштейн, 1990, с. 5]. В-третьих, если бы материал, переработанный творческой фантазией художника, был совершенно непереводаем на язык логики, то не существовало бы наук, с разных точек зрения изучающих художественный текст [Борев, 2003, с. 522].

Лингвистический сопоставительный анализ способов художественной репрезентации тех или иных феноменов позволяет выявить накопленный опыт эстетического освоения данных явлений представителями изучаемых лингвокультур, выявить особенности концептуализации рассматриваемых сущностей, свойственные поэтической картине мира того или иного языка, а в последствии – сравнить, как отражается художественное, научное и наивное мировидение в лексических системах изучаемых языков.

Межъязыковое сопоставительно-семасиологическое исследование мы считаем необходимым проводить не только посредством обращения к таким способам концептуализации, как частеречная отнесенность лексических единиц, их словообразовательные модели, внутренняя форма, стратификационные и другие характеристики рассматриваемых лексем, но и путем привлечения к анализу косвенных признаков, о существовании которых писал, в частности, С.Г. Воркачев [Воркачев, 1997, с. 14].

Определенная уязвимость сопоставительно-семасиологического исследования, осуществляемого на основе неопределяемой единицы, компенсируется, на наш взгляд, комплексным подходом к анализу способов закрепления концептуальных признаков в художественных образах. Таких способов пять:

1. Основой художественного образа является наглядно-чувственный компонент, следовательно, через его сопоставительное описание устанавливается специфика эмоционально-оценочного и рационального осмысления определенного объекта в разных языках.

2. Прагматический компонент значения художественного образа вскрывается через выявление особенностей позиции текстового субъекта в эмоциональном, утилитарном и эстетическом оценочных значениях в разных языках.

3. Рациональный компонент значения художественного образа воплощается в семантическом осложнении имени денотативного класса, в состав которого входит художественный образ, и связывает наглядно-чувственный образ объекта с мироощущением писателя как представителя определенной лингвокультуры. Этот компонент значения художественного образа в каждом из изучаемых языков выявляется посредством сопоставительной интерпретации скрытых смыслов, составляющих эстетическое значение слова.

4. Выделение парадигм образа объекта способствует структурированию ассоциативного пространства, связанного с объектом, в сопоставляемых языках.

5. Межъязыковой деривационный анализ метафорических высказываний раскрывает особенности метафоризируемых свойств и состояний объекта в рассматриваемых лингвокультурах.

Сравнивая художественные образы по этим параметрам можно с достаточной определенностью и полнотой установить, ка-

кие признаки объекта в изучаемых языках рассматриваются как сходные, а какие – как специфические.

Основанием межъязыкового исследования художественных образов избираются концептуальные признаки, что позволяет выявить приоритетность тех или иных художественных образов в соответствующей лингвокультуре, то есть установить общее и идиоэтническое в специфике отражения эстетических знаний о мире, свойственных тому или иному народу.

Нами разработана и опробована методика межъязыкового семасиологического анализа денотативно связанных художественных образов [Нифанова, 2007]. В основе методики лежит идея о том, что в составе денотативных классов каждого из изучаемых языков выделяются группы индивидуально-авторских образов, прямо или косвенно ориентированных на определенный объект в одном из его конкретных состояний или проявлений. Данные об объекте зафиксированы в художественных образах в единстве чувственного, прагматического и рационального компонентов, закрепляющих результаты эстетического способа освоения действительности, и поддаются сопоставлению. Сходные сведения интерпретируются как проявления семантического сходства между сопоставляемыми языками, а специфические – как манифестации семантической оригинальности изучаемых языков.

Список литературы

Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. М., 2003.

Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии // Вопросы языкознания. 1997. № 4. С. 115–125.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. М., 1971.

Илюхина Н.А. Образ как объект и модель семасиологического анализа. Уфа, 1999.

Ирисханова О.К. Лингвокреативный аспект деятельности человека // Филология и культура: Материалы четвертой международной научной конференции 16–18 апреля 2003 года / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. Тамбов, 2003. С. 9–12.

Нифанова Т.С. Сопоставительно-семасиологическое исследование художественных образов. Архангельск, 2007.

Павлович Н.В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. М., 1995.

Шафиков С.Г. Семантические универсалии в лексике. Уфа, 1996.

Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990.

Nifanova Tatyana Sergeevna (Severodvinsk, Russia)

IMAGE AS AN OBJECT OF COMPARATIVE SEMASIOLOGICAL RESEARCH

The article is devoted to the disputable problem of possibilities and ways of comparative semasiological research of images.

Keywords: image, comparative semasiological analysis, conceptual sign, visual and perceptive component, pragmatic component, rational component, image paradigm, derivational analysis

С.А. Светличная (Санкт-Петербург, Россия)

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В «ИРРЕАЛЬНОМ МИРЕ» ТЕКСТОВ ФЭНТЕЗИ

К дистинктивным характеристикам пространственно-временного континуума текстов фэнтези могут быть причислены цикличность времени, противопоставление сакрального времени эмпирическому времени, нарушение линейности времени, членимость на пространственно-временные локации, на центр и периферию, прерывность пространства, наличие системы бинарных оппозиций.

Ключевые слова: пространство, время, тексты фэнтези, ирреальный мир, мифологическая картина мира, цикличность, сакральное время, эмпирическое время

Понятия «пространство» и «время» принадлежат к важнейшим философским понятиям, на которые опирается мировоззрение человека. Это прогнозирует основополагающую роль категорий художественного пространства и художественного времени в структурно-семантической организации литературного произведения как вторичной моделирующей системы (Ю.М. Лотман), отражающей в художественной форме особенности реального мира. Для обозначения пространственно-временного единства используются классический термин М.М. Бахтина «хронотоп» и термин М.В. Никитина «топохронос». Как отмечает сам М.В. Никитин, «топохронос как образ некоего фрагмента единого пространства-времени, наполненного и меняющегося в соответствии с законами реального мира, противостоит бахтинскому хронотопу как форме подачи (репрезентации, изображения) пространственно-временных отношений, обусловленной спецификой протекания мыслительных процессов, обстоятельствами и условиями коммуникации» [Никитин, 2007, с. 652]. Топохронос и хронотоп соотносятся как «содержание (смысл) и форма сообщения в той его части, которая касается его пространственно-временных параметров, характеристик и отношений» [там же, с. 653].

Художественная картина мира детерминирует и трансформирует входящие в нее элементы различных картин мира (научной, религиозной, мифологической и пр.), подчиняя их интенции языковой личности писателя-творца и предопределяя выбор языковых единиц, направленных на её реализацию. Важной составляющей художественной картины мира в текстах литературной фантастики выступает трансформированная силою авторского воображения мифологическая картина мира. Как и в любом художественном тексте, эта картина мира моделирует мифологическую картину реального мира, т. е. тот субъективный целостный образ реального объективного мира, который был сформирован в рамках исходных мировоззренческих установок мифологического сознания. «Необычные для «наивного читателя» герои текстов фэнтези имеют прототипы в текстах античной мифологии или фольклоре» [Щирова, 2010, с. 82].

В основе любой художественной картины мира лежат представления о пространстве и времени. Восприятие персонажем пространства и времени в текстах фэнтези связано с мифоритуальными представлениями мифологической картины мира и отличается от представления, сформированного современной наукой. Важным свойством пространственно-временных локаций в мифе является наличие «сакрального центра и потенциально враждебной периферии» [Неклюдов, 2000, с. 20], что по отношению к художественному тексту (и в частности, к тексту фэнтези), может быть представлено как членение пространства текста на центр, где находится персонаж и «недоосвоенное», промежуточное пространство, примыкающее к рубежу, за которым находится «чужое». «Данная неоднородность пространства обусловлена <...> возможными или обязательными событиями, происходящими в разных областях этого пространства (поле, лес, кладбище, мельница, хлев, дом, двор и т. д.). Подобное [мифопоэтическое – прим. мое] пространство прерывисто, разделено многочисленными рубежами, впрочем, зыбкими, подвижными, зависимыми, в частности, от суточного и календарного времени (день/ночь, будни/праздник и т.п.)» [Неклюдов, 2000, там же].

Похожую мысль о членимости пространства находим у В.Б. Касевича: «архаическое пространство носит ярко выраженный аксиологический, оценочный характер; пространство

таково, какова его роль, его функция в жизнедеятельности соответствующего сообщества. Поэтому для мифологического типа ментальности нет единого пространства, а есть множество пространств, которые могут складываться в достаточно сложную мозаику и совсем необязательно образуют некоторый непрерывный континуум. Мифологическое пространство прерывно» [Касевич, 2004, с. 140]. Так, например, в произведениях Энн Маккеффри пространство планеты Перн делится на отдельные локации: вейры (*Weyr*) – системы пещер в кратерах потухших вулканов, служащих домом для пернитских драконов и их всадников – и холды (*Hold*) – аналог земных городов, подземные комплексы, вырубленные помещения в скалах. «*A weyr is where a dragon is, no matter how it's constructed*» [McCaffrey, 1986, с. 67]. В свою очередь, пространство вейров и холдов членится на менее крупные помещения для людей более низкого ранга «*...we of the Lower Caverns have learned to disregard the ties of blood and affection*» [McCaffrey, 2005, р. 97]. Интересным представляется отметить, что в «драконо-ориентированном» мире Энн Маккеффри единицей измерения расстояния является длина тела дракона.

Время во многих мифологических традициях дробится на замкнутые, периодически повторяющиеся циклы и воспринимается как вечное движение и возрождение жизни. Цикл, – неременный элемент архаической мифологической картины мира. В качестве мировоззренческого ориентира образ временного цикла, скорее всего, сформировался на основе простых и доступных наблюдений: смены времен и сезонов года, лунных фаз, морских приливов и отливов, жизненно-биологической размерности земного пути человека [Гречко, 1995, с. 26].

Зональная организация пространства и цикличность времени, присущая мифу, составляют важные отличительные характеристики хронотопа в текстах фэнтези.

Так, в пространственно-временной модели Энн Маккеффри планета Перн (*Pern*) подвержена регулярно, циклично повторяющимся нашествиям из космоса нитиевидных спор (*Thread spores*), нитей (*Thread*), уничтожающих любую органическую материю. Пернитский год называется оборотом (*Turn*). Период времени между двумя появлениями Нитей равен 200 оборотам и называется Интервалом (*Interval*). Долгим интервалом (*long*

Interval) считается период времени, вдвое больший обычного, когда Алая Звезда (*Red Star*) (планета, которая сбрасывает в атмосферу Перна Нити) проходит мимо Перна, т. к. движется по нестабильному, сильно вытянутому эллипсу. Период, когда происходит сброс Нитей, называется Прохождением (*Pass*).

В пространственно-временной модели Глена Кука цикличность времени выражается в смене эпох «мира Черного Отряда»: за несколько веков до начала действия книги царит эпоха Владычества (*the Domination*), через триста лет она сменяется эпохой правления Леди (*the Empire of Lady*), далее следует эпоха Приближающейся Кометы (*the Year of the Coming Comet*). “*It’s the Year of the Comet. The ghosts of the Taken will rise to mourn the passing of the Domination*” [Cook, 1990, p. 12].

Время для архаического человека с мифологическим сознанием является двумерным, т. е. затрагивает два временных измерения: он существует в профанном времени, а над ним возвышается сакральное время, которое раскрывает творческую активность персонажей мифа: М. Элиаде так выражает свой взгляд на категорию времени в мифологической картине мира: мы ощущаем личное присутствие персонажей мифа и становимся их современниками. Это предполагает существование не в хронологическом времени, а в первоначальной эпохе, когда события *произошли впервые*. Это необычайное, «сакральное» время, когда обнаруживаются явления новые, полные мощи и значимости [Элиаде, 2000, с. 24]. «Все-сакральность» и «безбытность» как следствие «все-сакральности» составляют характерную черту мифопоэтической модели мира». Миф *совмещает* в себе два аспекта – диахронический (рассказ о прошлом в его явной или неявной связи с настоящим) и синхронической (средство объяснения настоящего, а иногда и будущего). [Маковский, 1996, с. 20] (курсив мой – С.С.).

Мифологическая картина мира дает человеку возможность познавать мир через систему бинарных оппозиций. Действие такого механизма описано А.С. Мелетинским: «Первоначальными «кирпичиками» мифологических символических классификаций являются не мотивы, а отношения в виде элементарных семантических оппозиций, в первую очередь соответствующих простейшей пространственной и чувственной ориентации чело-

века (верх/низ, левый/правый, близкий/далекий, внутренний/внешний, большой/маленький, ... и т. д.), которые затем «объективизируются» и дополняются простейшими соотношениями в космическом пространственно-временном континууме (небо/земля, земля/подземный мир, земля/море...), в социуме (свой/чужой...)... и таких фундаментальных отношений, как жизнь/смерть, счастье/несчастье и т. п., а также магистральной мифологической оппозиции сакрального/мирского [Мелетинский, 1975, с. 230–231]. Четкая система бинарных оппозиций положена в основу картины мира ирреального мира Дж. Роберсон. Пространственно-географическое разделение континуума на Север и Юг, между которыми лежит Приграничье, определяет разницу в менталитете, ценностных установках, внешности, образе жизни. Противостояние Юга и Севера ярко проявляется во всех сферах жизни «*For a brief moment we faced one another: Northerner to Southron*» [Roberson, 1986, p. 37]. «*Which (South) was very different from the North, where women had more freedom, and very much different from Skandi, where women ran things altogether*» [Roberson, 2003, p. 23].

Для фантастических текстов характерно нарушение линейности, необратимости времени, т.к. возможно сосуществование параллельных миров со своими законами пространства и времени. Свойствами времени мира фэнтези можно назвать его «изменчивость, нестабильность, способность к разного рода превращениям. ... Оно становится дискретным длящимся бесконечно» [Папина, 2002, с. 205]. Так, в ирреальном мире Танцоров Мечей Дж. Роберсон большое внимание уделено изменчивости «*When in the midst of deadly danger, time slows. Fragments. It is me, the moment, the circumstances*» [Roberson, 2003, p. 102].

Время мира фэнтези может нарушать законы реальной категории времени. Например, фантастические существа драконы в ирреальном мире Э. Маккефри обладают способностью не только путешествовать во времени, но и встретиться с самими собой в одном месте в одно время, что может быть определено как временной парадокс: «*I believe that is the paradox of timing it*» [McCaffrey, 2002, p. 348].

Понятия «пространство» и «время» принадлежат к важнейшим философским понятиям, на которые опирается мировоз-

зрение человека. Частью художественной картины мира текстов фэнтези – вида литературной фантастики – является мифологическая картина мира, в которой, как в художественной модели, автор воспроизводит особенности мифологической картины мира, существовавшей в реальном сознании архаичного человека: членимость художественного пространства на отдельные пространственно-временные локации, противопоставление эмпирического (профанного) и сакрального времени, возвращение сакрального времени первотворения при помощи магических ритуалов, познание мира через систему бинарных оппозиций, цикличность времени.

Список литературы

- Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М., 1995.
- Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык / 2-е изд. СПб., 2004.
- Маковский М.М. Язык – Миф – Культура. М., 1996.
- Мелетинский Е.М. Типологические исследования по фольклору. М., 1975.
- Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России / Под ред. К.Аймермахера, Ф.Бомсдорфа, Г. Бордюкова. М., 2000.
- Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 2007.
- Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: Учебник для студентов-журналистов и филологов. М., 2002.
- Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с франц. М., 2000.
- Щирова И.А. О «правде вымысла» // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. языковое образование», 2010, № 2 (6). С. 74–85.
- Cook Glen. The White Rose: A Novel of the Black Company (Chronicle of the Black Company). Tor Fantasy, 1990.
- McCaffrey Anne. Dragonflight. Del Rey, 2005.
- McCaffrey Anne. Dragonquest. Del Rey, 1986.
- McCaffrey Anne. The Skies of Pern. Del Rey, 2002.
- Roberson Jennifer. Novels Of Tiger And Del, Sword Dancer. DAW, 1986. Roberson Jennifer. Novels Of Tiger And Del, Sword Sworn. DAW, 2003.

Svetlichnaya Sofya Alexandrovna (Saint Petersburg, Russia)

**CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN «IRREAL WORLD»
OF FANTASY TEXTS**

To distinctive features of space and time categories realization in texts of fantasy the following feature may be referred: time cyclicality, the opposition “sacral time” vs. “empirical time”, breaking of time linearity, division into space-time locations, division into centre and periphery, space discontinuity.

Keywords: space, time, fantasy texts, irreal world, mythological worldview, cyclicality, sacral time, empirical time

Э.В. Седых (Санкт-Петербург, Россия)

ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ У. МОРРИСА

В статье рассматривается проблема взаимодействия искусств в творчестве викторианского писателя и художника Уильяма Морриса, одного из основоположников стиля модерн во всех видах искусства, включая литературу. Моррисовский метатекст основывается на категории интермедиальности, теоретические положения которой изложены здесь применительно к её функционированию, как в литературных текстах, так и в текстах других видов искусства (живопись, архитектура, декоративные искусства, искусство книги, музыка). Автором статьи предлагается полная схема видов интермедиальности (эксплицитной и имплицитной), которая может быть применена при анализе художественного творчества писателя-художника.

Ключевые слова: интермедиальность, взаимодействие искусств, синестезия, английская литература XIX века, Уильям Моррис

Уильям Моррис (1834–1896) – выдающаяся творческая личность викторианской Англии. Он создал собственную теорию синтеза искусств и воплотил её в своём многогранном творчестве. Моррис представлял собой особый тип художника-универсала, занимающегося различными видами деятельности в области различных искусств, которые он стремился соединить в единое целое. Он был поэтом, писателем, публицистом, теоретиком искусства, переводчиком, художником, декоратором, дизайнером, создателем иллюминированных и печатных книг, одним из образованнейших людей, когда-либо живших на земле. Моррис явился родоначальником Эстетического движения, одним из основоположников стиля модерн, создателем жанра фэнтези. В своём творчестве он не только соединил произведения различных видов искусства в единое целое, но и создал синтетические произведения искусства, выразив в них свой идеал красоты, увековечив в них представления о взаимодействии искусств, о единстве материального и духовного созидания как культа служения Красоте.

Взаимодействие литературы с другими видами искусства в контексте творчества Морриса породило особый тип текста – полихудожественный текст, в котором одновременно реализуется несколько способов взаимодействия искусств. Моррисовский метатекст, базирующийся на категориях интертекстуальности и интермедиальности, охватывает все виды художественного творчества, объединяет черты разных стилей и эпох, синтезирует культурные традиции Запада и Востока, сочетает одушевлённое с отвлечённым, вещное с духовным, реальное с фантастическим.

Всему художественному творчеству Морриса была свойственна интермедиальность. В ряде зарубежных исследований [Zander, 1985; Plett, 1991; Wagner, 1996] она рассматривается как частный случай интертекстуальности, что является неверным. В отличие от интертекстуальности интермедиальность [Hansen-Löve, 1983; Тишунина, 1998] основана на корреляции разнородных текстов (медиа-каналов), переводе одного художественного кода в другой и их дальнейшем взаимодействии. В этом случае язык одного вида искусства включается в художественную систему другого вида искусства. У. Вулф называет интертекстуальность мономедиальным, а интермедиальность кроссмедиальным вариантом их интегрально-межсемиотических отношений [Wolf, 1999]. Интермедиальность – особый тип структурных взаимосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии языков различных видов искусства в системе единого художественного целого [Тишунина, 1998, с. 4]; наличие в художественном произведении таких образных структур, которые заключают информацию о другом виде искусства [Тишунина, 2002, с. 101].

Термин «интермедиальность» (*inter + media/art = intermedia/interart*) был предложен немецким учёным Ханзен-Лёве, а обоснование термину дал отечественный философ И.П. Ильин, который вывел большой язык культуры, складывающийся из языков каждого искусства [Ильин, 1996]. В широком смысле интермедиальность – создание целостного полихудожественного пространства в системе культуры (художественного метаязыка культуры). В узком – особый тип внутритекстовых взаимоотношений в художественном произведении, где взаимодействуют разные виды искусства.

Произведение словесного искусства не только интертекстуально и состоит из цитат из других литературных текстов, но и интермедиально, т. е. состоит из «цитат», заимствованных из текстов иного рода, созданных на языках других искусств. Такая художественная «цитация» широко использовалась символистами XIX в., которые обращались как к литературным, так и к изобразительным текстам предшествующих культур, переосмысливая их в контексте нового произведения. В данной интерпретации «текст» понимается широко: не только как литературный, но и как «текст искусства», «текст культуры», «сверхтекст» [Меднис, 2003].

Принципы интермедиального анализа текста разрабатывались на основе теории интертекстуальности (Р. Барт, Ю. Кристева), получив развитие в работах Г.А. Левинтона, Б. Вальденфельса, Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти. В интермедиальной типологии текста нашли отражение понятия и концепты интертекстуальности: заимствование и переработка тем, сюжетов, образов, явная и скрытая цитация, аллюзия, реминисценция, пародия.

И.В. Арнольд вместо термина «интермедиальность» использует термин «синкретическая интертекстуальность» [Арнольд, 1997, с. 55], а Л.П. Прохорова называет данное явление «интерсемиотичностью», которая проявляется через связь с произведениями других семиотических систем путём вербализации последних [Прохорова, 2002, с. 110]. В этом случае интертекст словесно передаёт содержание и форму произведений живописи, архитектуры и т.д., отражая ту сферу искусства, из которой он взят. Зачастую вербализуется не произведение, принадлежащее к невербальной семиотической системе, а реакция персонажей (внешность героя ассоциируется с известным живописным/скульптурным портретом; его эмоциональное состояние раскрывается через описание/упоминание произведения искусства). Важным средством в системе интерсемиотичности является живописный стиль автора. Поэт, подражая художнику, старается сблизить языковые средства выражения с художественными средствами живописи.

Интермедиальность – особый тип внутритекстовых взаимосвязей в произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных искусств. В ситуации «искусство как

означающее» литература стремится заимствовать средства выражения другого искусства. Если речь идёт об ориентации на иконический текст, то это может проявляться в живописности, яркой образности. В случае «искусство как означаемое» речь идёт о композиционном, структурном сходстве, попытке воспроизвести технику композиции, типовые формы. В ситуации «искусство как референт» литература стремится овладеть образом художественного мира иного искусства, будь то музыкальное переживание или образы и сюжеты живописного, скульптурного, архитектурного текста.

В зарубежном литературоведении разработано несколько интермедийальных типологий, среди которых основательными считаются литературно-музыкальная классификация С.П. Шера и литературно-живописная А.А. Ханзен-Лёве [Scher, 1970; Hansen-Löve, 1983]. В последней классификации автором рассматриваются три типа интермедийальности. К первому типу он относит моделирование материальной фактуры другого вида искусства в литературе (мелодика поэтической речи, визуальная поэзия/проза, принцип монтажа, пространственная перспектива). Вторым типом интермедийальности связан с отражением в литературном произведении формообразующих принципов живописного полотна, архитектурного сооружения, музыкального произведения, кинокартины. Третий тип основан на использовании в литературном тексте образов, мотивов, сюжетов других искусств. В этом случае реализуется принцип «текста в тексте» Лотмана, «искусства в искусстве» Фарыно, «геральдической конструкции» Ямпольского [Faguno, 1991; Ямпольский, 1993; Лотман, 1997; Лотман, 1999].

Данная типология соотносится с технической классификацией Ганса Лунда, в которой также выделяются три компонента: комбинация (сочетание визуального и словесного в составных произведениях типа эмблем), интеграция (визуализация формы литературных произведений как в стихах барокко, «Каллиграммах» Аполлинера), трансформация (словесное переложение произведения визуального искусства) [Lund, 1992].

При анализе литературного произведения, в котором взаимодействуют искусства, следует отыскать некий живописный код, при помощи которого будет возможно расшифровать мельчайшие

оттенки художественного содержания. Интермедиаальный анализ текста опирается на тезис о том, что все *медиа* – художественные средства и методы разных видов искусства [Тишунина, 2001] или сами искусства [Wolf, 1999] – являются особым способом передачи художественной информации; и с семиотической точки зрения в этом отношении они являются равноправными, «но в каждом виде искусства они организуются по своему своду правил» [Ильин, 1998, с. 8]. Живописные *медиа* в литературном тексте – один из инструментов воплощения автором глубинного философского смысла произведения (скрытые, имплицитные смыслы). Интермедиаальность возникает вследствие усложнения принципов организации художественного текста, который заимствует, ассимилирует свойства текстов, принадлежащих другим видам искусства. Это и особый способ организации художественного текста, и специфическая методология анализа отдельно взятого произведения искусства и языка художественной культуры в целом, опирающаяся на принципы междисциплинарных исследований.

При анализе художественного произведения, обладающего интермедиаальностью, в качестве стилевой доминанты могут выступать живописность (живописная изобразительность, повышенная метафоричность, категории движения, звука, света, цвета; принцип зеркальности), музыкальность (музыкальная выразительность, напевность, интонирование, возможности слова в аспекте музыкального), декоративность (словесное декорирование текста). В интермедиаальной поэтике звуковые, цветовые, жестовые «корни» литературы обеспечивают словесному произведению наглядность, динамику, хореографию.

В настоящее время возможность обращения к феномену интермедиаальности обусловлена тем, что на смену монолитной концепции мира приходит стереофоническая парадигма [Сидорова, 2006], происходит разгерметизация границ искусства, разные виды искусства сливаются в единое неделимое художественное целое, становятся мультимедийными, комбинирующими текст, зрительный образ, звук (цветомузыкальные зрелища, видеоинсталляции, «цифровая литература», аудиокнига). Интермедиаальность начинает рассматриваться не только на уровне целостного метапространства и метаязыка культуры, но и на микроуровне – на уровне внутритекстовых связей разных искусств. В этом

смысле литература, вбирая в свой контекст тексты других искусств, становится металитературой.

Такая усложнённая искусствами литература делает попытку восстановить культурное целое через диалог разнородных культурных языков в пределах одного текста. Наличие такого диалога искусств в художественном тексте в современном литературоведении получило название метатекста. Существование метатекста стало возможным благодаря автономности искусства и его контекстуальной креативности [Гройс, 2003], которые были достигнуты в эпоху модерна, предвестником которого было творчество Морриса.

Интермедальность художественного творчества Морриса показывает, насколько мастерски он сумел применить приём заимствования литературным текстом выразительных средств, образных структур, стилевых, жанровых, сюжетных и композиционных особенностей живописи, архитектуры, скульптуры, декоративного искусства, музыки, и наоборот. Его поэтические и прозаические тексты опираются на произведения других искусств, живописно-декоративные шедевры имеют литературную основу. Моррис, будучи мастером художественного перевода, и в литературе, и в живописи широко применял тексты переводимых авторов и эпосов («Беовульф», «Оды» Горация, «Энеида» Вергилия, «Одиссея» Гомера, «Рубайят» Хайяма, исландские саги, французские романы).

В произведениях Уильяма Морриса выявляется взаимодействие искусств на межъязыковом уровне; интермедальный принцип построения текста получает здесь своё эстетическое обоснование. Моррисовский образ становится синтетическим благодаря взаимодействию искусств не по принципу взаимодополнения, а по принципу взаимопроникновения языков разных искусств друг в друга на основе цитации исходного претекста. В данном случае создаётся совершенно новый по смыслу и содержанию образ, так как каждый вид искусства, переходя в иную эстетическую систему, преобразуется, обретая новую художественную выразительность. Сами виды искусства становятся при этом художественными элементами в создании нового эстетического целого.

В художественном творчестве Морриса можно выделить как эксплицитные, так и имплицитные виды интермедальности

в зависимости от типа текста (литературного или живописно-декоративного). Интермедиальность в его метатексте имеет место в следующих случаях:

I. Присутствие элементов литературы в живописно-декоративных произведениях Морриса

I.1. Эксплицитное присутствие

I.1.1. Наличие на полотне авторского комментария

I.1.2. Иллюстрирование литературного текста

I.1.3. Создание картин по мотивам литературных произведений

I.2. Имплицитное присутствие

I.2.1. Наличие мифологического контекста и библейских аллегорий в произведениях искусства

I.2.2. Включение в контекст произведений искусства литературных символов

I.2.3. Поэтическое начало произведений искусства

II. Присутствие разных видов искусства в литературных произведениях Морриса

II.1. Эксплицитное присутствие

II.1.1. Рисуночное письмо

II.1.2. Создание литературных текстов по мотивам произведений искусства

II.1.3. Включение в контекст литературного произведения терминологии разных видов искусства, аллюзий и реминисценций, связанных с произведениями искусства и их авторами; посвящение литературного произведения художнику, искусству или произведению искусства

II.2. Имплицитное присутствие

II.2.1. Заимствование литературным текстом композиционных особенностей разных видов искусства

II.2.2. Использование в литературном тексте жанровых элементов живописи

II.2.3. Живописность и декоративность словесных описаний

II.2.3.1. Декоративность текста

II.2.3.2. Живопись словом

II.2.3.3. Картинно-музыкальная синестезия

Наличие на полотне авторского комментария выражается у Морриса в надписях, заключённых в рамки, отделённых от основного «текста». Надпись выполняет различные функции:

номинативную (девизы на полотне); информационную (поясняющие надписи, надписи-комментарии, вердюры под картиной в качестве дополнительной рамы); интегративную (литературная цитация, автоцитация), аттрактивную и эстетическую.

При **иллюстрировании литературного текста** автор стремился передать подтекст оригинала, расширял сюжеты, усложнял арсенал изобразительных средств и форм. Он создавал некий лирический аккомпанемент, иллюстрацию-сопровождение. Моррис относил к иллюстрации не только рисунок, но и орнамент, бордюр, декоративную вставку. Для фолиантов, изданных в его издательстве «Кельмскотт Пресс», он создал около 650 графических решений. В его «средневековых» книгах сочетались вербальный текст, иллюстрации и орнаменты (основной принцип его искусства книги).

При **создании произведений искусства по мотивам литературы** Моррис подпитывал своё творчество образами мировой литературы. Среди них были «Сказания о Вольсунгах и Нибелунгах», «Илиада» Гомера, «Медовый месяц короля Рене», «Роман о Розе» де Лорриса, «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Легенды о славных женщинах» Дж. Чосера, сказки Ш. Перро и братьев Гримм, собственные литературные тексты.

В живописно-декоративных текстах Морриса воплотились сюжеты мировых **мифологий**: северной, кельтской, восточной. Большое значение он придавал сюжетам и образам античной мифологии – греческой и римской. Неиссякаемым источником для его произведений была **Библия**. Центральными в творчестве Морриса были образ Христа и почитаемые им святые, пророки и библейские персонажи (Дева Мария, Святой Георгий, Ангелы).

В его произведениях искусства присутствуют **символы**, связанные с литературой, мифологией, христианством. Выбор сюжетов обусловлен темой целостности, всеобщей органической связи всего сущего (рост, развитие, обновление). Отсюда частое обращение к символике «Времени года». Важными были и растительные мотивы – деревья и цветка, которые он наделял символизмом. В художественном дискурсе имели место метафоры Леса и Сада как единения противоположных сущностей.

Литературность символизма картин Морриса переходит в такой феномен, как **поэтическое начало** произведений искусства.

Его картины, ткани, обои, витражи, ковры, вышивки, плитки, гобелены, мебель, книги рассказывали сказки, были лирическими и драматическими поэмами, обладали нарративностью, сюжетностью, поэтической образностью. В его изобразительном искусстве воплотилась идея одухотворения, поэтизации материи, обретения целостного повествовательного пространства.

Рисуночное письмо у Морриса может быть орнаментальным и изобразительным. К орнаментальному – относятся рисунки в рукописях и записных книжках (изображения ландшафта, растений, птиц, портреты, зарисовки средневековых артефактов, доспехов, оружия, архитектурных деталей, дизайны шпалер, графические миниатюры), орнаменты в иллюминированных и печатных книгах, каллиграфически выписанные буквы; к изобразительному – инициал-литеры с сюжетными элементами.

Моррис создавал литературные тексты **по мотивам произведений искусства** (архитектурные сооружения, иллюминированные книги и декоративные изделия Средних веков, картины Д.Г. Россетти и Э. Бёрн-Джонса, автоиллюстрации к картинам, вышивкам, росписям, гобеленам, плиточным композициям). Его излюбленным жанром были «Поэмы к картинам».

В произведениях Морриса есть место **терминологии** живописи и архитектуры, **аллюзиям и реминисценциям**, связанным с искусством. По законам скульптуры строятся главные образы его произведений. Декоративные искусства пронизывают все его тексты, «интерьеры» которых заполнены вышивками и гобеленами, витражами и фресками, росписями и тканями. Знаковыми героями его произведений являются **художник** (или творец вообще) и **произведение искусства** (зачастую безымянное: собор, дворец, церковь, часовня, книга, картина, фреска). Моррис вписывал образ художника и произведения искусства в контекст общества, в котором главная роль принадлежала **искусству**. Искусством пронизана вся ткань его текстов, основанных на синтезе искусств. Главные герои писателя стремятся достичь высшего пункта своего бытия – Дворца Искусств.

Литературное произведение Морриса заимствует **композиционные особенности** разных искусств. Композиция усложнённого искусства текста может быть архитектурной, картинной, иконической, миниатюрной. Для него важной была «архитек-

турная организация» книги; он воспринимал книгу как форму, конструкцию. Его произведения сконструированы по принципу «лестницы», «матрёшки», «шкафа», где каждая ступень, отделение или ящик содержит свой смысл, свою историю, органично входящую в последующий уровень. В прозаических и поэтических произведениях Морриса есть общая черта – он создавал их по принципам **дизайна**, взяв за основу мотив движения, развития, потока (водная и растительная символика). В литературных текстах он создавал **живописные полотна**: картины, гобелены, витражи, их серии и циклы, парные композиции, полиптихи. **Иконография** воплотилась в его кэролах, поэмах на артуровскую тематику. Для его ранних текстов характерно их уподобление **миниатюрам** из средневековых иллюминированных манускриптов.

В текстах Морриса виды искусства «реализуются» и в **живописных жанрах** портрета, пейзажа, интерьера, натюрморта. Писатель создаёт идеализирующий и гротескный **портрет**; «вписывает» портреты в рамки пейзажных зарисовок, превращая персонажи в часть природы. Он рисует топографические и живописные **пейзажи**: дикие, сельские, городские. Его пейзажи имеют тенденцию к перевоплощению и взаимозаменяемости, а природный и архитектурный ландшафты гармонично сосуществуют. При помощи искусства **интерьера** (от хижины до замка) Моррис декорировал пространство произведения. Его интерьеры сочетались с пейзажами, становились друг другом: реки и ручьи уподоблялись тканям, цветущие поля и луга превращались в ковры, леса и сады – в гобелены. Предметом его **натюрморта** была как неодушевлённая, так и живая, на мгновение «застывшая» природа (животные, птицы, деревья, цветы).

Для его произведений характерны **живописность** и **декоративность** словесных описаний. Эти две категории участвуют в реализации принципа взаимодействия искусств в текстах на уровне лексико-стилистического контекста. **Декоративность** текста обеспечивается за счёт намеренной архаизации текста. Писатель использует синтаксическую инверсию и устаревшие грамматические конструкции («декоративная канва»), историзмы и архаизмы, кеннинги и хейти, собственные псевдо-архаистические слова («декоративный колорит»). **Живописность** выражается в использовании Моррисом живописи словом. Он «рисует» словом

при помощи сравнений, метафор, эпитетов, олицетворений, метонимий, словесной игры с антропонимами и топонимами. Его топография включает живописные названия гор, долин, лесов, водных пространств, населённых мест; являет собой архаичную форму пейзажа. Он широко использует колоритные говорящие имена персонажей, соотносит живописное слово с качествами героя.

Лексико-стилистические приёмы в его текстах реализуются и в **цветоживописи словом**. Концептуализация действительности осуществляется у него при помощи цветового сравнения и эпитета, метафоры и метонимии цвета, разнообразных цветовых контрастов, цветового символизма и необычной колористики. У Морриса цветовая синестезия является одним из видов **картинной синестезии**, другим видом которой служит звуковая синестезия (звуки естественной и человеческой природы). Его живописно-декоративные литературные картины насыщены красками, эмоциями, пластикой, визуальностью, кинематографичностью.

Для произведений Морриса характерна и **музыкальная синестезия**, которая возникает в следующих случаях: 1) музыкальность литературного текста: ритм, рефрен, аллитерация, параллелизм, анафора, хиазм; 2) использование различных песенных форм: лирическая песня, военная песня, баллада, кэрол (в качестве включений в прозаический текст и в контексте самостоятельных поэм-песен); 3) введение в повествование в качестве главного героя или лирического фона Музыка (персонификация, имплицитный персонаж, компонент повествования). Музыка у Морриса служит также декоративным украшением текста. Зачастую в контексте его произведений рождается настоящий синтез музыки и цвета. В его синестетических текстах слухозрительная полифония обеспечивает образное единство, целостность разнородных средств при их синтезе.

Список литературы

Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики. СПб., 1997.

Гройс Б.Е. Комментарии к искусству. М., 2003.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999.

Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста / под ред. В.П. Нерознака. М., 1997. С. 202–212.

Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003.

Прохорова Л.П. Синкретическая интертекстуальность в литературной сказке // Текст: восприятие, информация, интерпретация. М., 2002.

Сидорова А.Г. Интермедиаальная поэтика современной отечественной прозы: Литература, живопись, музыка. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2006.

Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема синтеза искусств: опыт интермедиаального анализа. СПб., 1998.

Тишунина Н.В. Методология интермедиаального анализа в свете междисциплинарных исследований // Методология гуманитарного знания в перспективе XX века. К 80-летию профессора М.С. Кагана. Серия «Symposium». № 12. СПб., 2001. С. 149–154.

Тишунина Н.В. Проблема взаимодействия искусств в литературе западноевропейского символизма // Синтез в русской и мировой художественной культуре. Материалы II научно-практической конференции, посвящённой памяти А.Ф. Лосева. М., 2002.

Ямпольский М.Б. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993.

Faruno J. Введение в литературоведение. Warszawa, 1991.

Hansen-Löve A.A. Intermedialität und Intertextualität: Probleme der Korrelation von Wort- und Bildkunst // Dialog der Texte. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 11, 1983. P. 291–360.

Lund H. Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures. Lewiston; NY., 1992.

Plett H.F. Intertextualities // Intertextuality. Berlin-N.-Y., 1991. P. 3–29.

Scher S.P. Notes toward a Theory of Music // Comparative Literature. 1970. Vol. XXII. № 2. P. 147–156.

Wagner P. Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s) // Icons – Texts – Iconotext: Essays on Ekphrasis and Intermediality / Ed. P. Wagner. Berlin-N.Y., 1996. P. 1–40.

Wolf W. The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam, 1999.

Zander H. Intertextualität und Medienwechsel // Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen, 1985. S. 178–196.

Sedykh Elina Vladimirovna (Saint Petersburg, Russia)

INTERMEDIALITY IN W. MORRIS'S WORKS

The article considers the problem of interaction of arts in works of the Victorian writer and painter William Morris, one of the founders of the style “art nouveau” in all kinds of art, including literature. Morris’s metatext is based on the category of intermediality, which is described here with reference to its functioning, both in literary texts, and in texts of other kinds of art (painting, architecture, decorative arts, art of the book, music). The author of the article offers the full circuit of various kinds of intermediality (explicit and implicit), which can be applied to the analysis of works of the writer-painter.

Keywords: intermediality, interrelation of arts, synesthesia, English literature of the XIX century, William Morris

УДК 81: 1

С.Г. Филиппова (Волхов, Россия)

О ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОМ СТАТУСЕ

Статья посвящена описанию особенностей философского дискурса, который рассматривается как дискурс, занимающий промежуточное положение между научным и художественным. Его особый универсальный статус позволяет ему стать составляющей любого дискурса и определять синкретизм языковой личности.

Ключевые слова: дискурс, текст, синкретизм, языковая личность, философский дискурс

Тенденцией современного научного познания является движение к человеку. Оно определяет интерес лингвиста к изучению социального, психологического и коммуникативного аспектов языка, мыслительных процессов и социально значимых действий, осуществляющихся через порождаемые и воспринимаемые личностью тексты [Тураева, 2011, с. 9]. Понимаемый как посредник при общении текст заставляет лингвистов расширить объект исследования и обратиться к проблеме дискурса. В современной лингвистике это понятие наполняется различным значением, что свидетельствует о его сложности. В дефинициях дискурса, как правило, подчеркивается его коммуникативный характер: дискурс определяется как «высказывание, включенное в коммуникативную ситуацию», «текущая речевая деятельность», «высказывание в его взаимосвязях с коммуникативной ситуацией», «завершенное коммуникативное событие» [Стариченок, 2008, с. 177]. Максимально широкая трактовка понятия дискурса предложена Н.Д. Арутюновой, согласно которой, дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова, 2000, с. 137]. Можно остановиться ещё на двух, достаточно распространённых трактовках дискурса. Первая фокусирует внимание на сверхличных факторах коммуникации, отражающих процессы возникновения и развития коллективного опыта определенного способа текстоо-

бразования. Так, М. Фуко, один из основоположников теории дискурса, предлагает описание дискурса как совокупности высказываний, принадлежащих к одной и той же системе формаций (дискурсивных формаций). Дискурсивная формация представляется как «принцип рассеивания и распределения» высказываний. Фуко считает обоснованным говорить о «климатическом дискурсе, дискурсе экономическом, дискурсе естественной истории и дискурсе психиатрии» [Фуко, 1996, 108]. Сходную точку зрения излагает П. Серио (известный своим исследованием «советского политического дискурса»), который называет предметом дискурсивного анализа высказывания, т.е. тексты, произведенные в институциональных рамках и накладывающих ограничения на акты высказывания, а также наделенные исторической, социальной и интеллектуальной направленностью. Эти тексты обладают значимостью для определенного коллектива, т.к. содержат разделяемые убеждения, т.е. «предполагают позицию в дискурсном поле» [Серио, 2001, с. 551]. Подходы к дискурсу, разработанные французскими семиотиками, заставили лингвистов увидеть в нём совокупность тематически соотнесенных текстов, различая таким образом отдельные типы дискурса: художественный, научный, политический, литературно-критический, юридический и т. д.

Иное видение дискурса носит личностно-ориентированный (когнитивный) характер и трактует участников коммуникации как автономные субъекты. Дискурс в этом случае представляет собой когнитивно, психологически, социально, культурно и т. д. значимое событие, взаимодействие, «отягощенное» характеристиками реального времени коммуникативных обстоятельств, в которых находятся участники в качестве языковых личностей [Щирова, Гончарова, 2006, с. 109]. Еще Э. Бенвенист усматривал в дискурсе манифестацию высказывания как самый акт производства этого высказывания, индивидуальный акт использования языка, «дело говорящего, который использует язык по своему усмотрению». Диалогический по природе дискурс эксплицитно или имплицитно обращен к кому-либо и постулирует наличие собеседника [Бенвенист, 1974, с. 312–313]. Общение диалогично, диалог признается «естественной» формой существования языка. В процессе диалогического дискурса адресат выражает свое коммуникативное намерение и эмоциональное

состояние, соответствующее его социальной и психологической роли, и, пользуясь общим с адресатом кодом, воздействует на него. В свою очередь, адресат вычленяет намерение собеседника, совершает ряд когнитивных операций и определяет направление собственного реагирования [Гурочкина, 2009, с. 45]. При когнитивном подходе функцией дискурса признается «встраивание» человека в среду, оказывающую влияние на языковое поведение. Область дискурса определяется тем, что значимо для диалога с точки зрения ситуации. Более того, язык понимается как биосоциальное явление, включенное в когнитивную структуру человеческого организма на любом этапе его развития, а не как кодовая система, при помощи которой осуществляется общение. Текст не существует без человека, поскольку значения возникают в процессе взаимодействия человека с окружающей средой [Кравченко, 2011]. Дискурс признаётся лингво-когнитивной деятельностью языковой личности, «ограниченной выдачей текста и/или восприятием нового текста» [Архипов, 2001, с. 108].

В лингвистике нет единого подхода и к разграничению дискурса и текста. Нередко эти понятия считаются равнозначными и взаимозаменяемыми, и рассматриваются как «связная последовательность предложений» [Диалектика текста, 1999, с. 24]. Основанием для их разграничения, если таковое проводится, становится противопоставление «процесс – результат (структура)», где дискурс – само речевое общение, деятельность (в ситуации создания письменного текста – упорядоченное, в соответствии с законами жанра и с помощью различных дискурсивных приемов, изложение, подача знаний), а текст – организованное единство языковых единиц и их отношений (текстовых связей). Однако текст никогда не дается лингвисту в его статическом виде, поскольку понимание текста – определенный вид деятельности, т.е. дискурс [там же, с. 26]. В несколько ином понимании соотношения акцентируется статус текста как составляющей дискурса. Так, В.В. Красных понимает под дискурсом «вербализованную речемыслительную деятельность как совокупность процесса и результата и обладающую как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [Красных, 1999, с. 27]. Текст как «реальное измерение» дискурса связан с языком, манифестирует себя в используемых языковых средствах и проявляется в

совокупности порожденных текстов (Ср. дискурс как результат). «Виртуальное измерение» дискурса связано с картиной мира, которая обуславливает выбор языковых средств, порождение и восприятие текстов (дискурс как процесс) [там же]. Характер отношений между текстом и дискурсом описывается и с точки зрения их существования в открытом семиотическом универсуме, где текст и дискурс исследуются как открытые системы. На положении об открытости дискурса, предложенном французскими семиотиками, основывается понятие интердискурсивности. Так, по мнению П. Серио, идентификация дискурса не может быть заданной, поскольку процесс высказывания «пронизан угрозой смещения смысла» [Серио, 2001, с. 553]. Если дискурсивность представляет собой свойство текста, позволяющее отнести его к пространству определенного типа дискурса, то интердискурсивность свидетельствует о намеренном использовании в продуцируемом тексте структурных и лексико-семантических особенностей иных типов дискурса. Интердискурсивность предполагает «когнитивное переключение» с одной системы знаний на другую, что обозначает переход с одного типа дискурса на другой. Интердискурсивность может пониматься как «взаимодействие, взаимоналожение различных ментальных, т.е. над- и предтекстовых, структур, операций, кодовых систем, фреймов в процессе текстопроизводства» [Чернявская, 2007, с. 22].

Концепция интердискурсивности оказывается продуктивной при рассмотрении принадлежности одного текста к различным типам дискурса, и, наоборот, при включении различных жанров, стилей, типологических моделей в единое дискурсивное пространство текстов. Текст, таким образом, может характеризоваться интердискурсивностью как результат интердискурсивной деятельности языковой личности. Интердискурсивный характер речевой деятельности языковой личности может быть рассмотрен как свидетельство её (личности) синкретизма, в свою очередь, предопределяющего синкретизм её дискурса.

Необходимо отметить, что синкретизм в широком смысле этого термина трактуется как нерасчлененность различных видов культурного творчества, свойственная ранним стадиям его развития. Чаще всего этот термин применяется к области искусства и относится к фактам исторического развития музыки, танца, дра-

мы и поэзии. Изучение явлений синкретизма сыграло важную роль в разрешении вопросов происхождения и исторического развития искусств [Фундаментальная электронная библиотека, <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/lea/lea-7341.htm>]. Синкретизм, характеризующийся нерасчлененностью модальностей, отсутствием понимания отличия мира и явлений от логических оппозиций, рассматривается как древнейший принцип отношения человека к миру, к самому себе и к своей деятельности.

Однако синкретизм как ранняя стадия генезиса человеческого мышления, предшествующая современному этапу логического рационалистического мышления, принимается не всеми учёными. Так, М.В. Никитин считает, что признание синкретизма в качестве стадии умственного развития человека означает, что на раннем этапе истории концептуальная категоризация мира производилась не на сущностной, а на аналогической основе, не посредством существенных свойств вещей, а посредством их поверхностного уподобления по внешним признакам. В результате человек не смог бы ориентироваться в мире действительности, поскольку для успешной ориентации в мире в качестве базисной необходима максимально прогностичная и информативная рациональная система классов и категорий. «Увы, по всей вероятности, не было в сколько-нибудь чистом виде» ни «долгого дологического этапа прозябания сознания в мнимых, далеких от действительности фантазийных мирах», ни «внезапно сменившего его этапа деятельного логического отрезвления», «ни полного синтеза логики с аналогией». «Логика всегда побеждает, но не сразу и не полностью, а только в конечном счете и с запозданием, а аналогия уживается с логикой, подчиняясь ей, если не всегда и не сразу, то опять же в конечном итоге» [Никитин, 2003, с. 15–17]. Стадиальная гипотеза развития человеческой мысли, настаивает М.В. Никитин, противопоставляет логику и аналогию, образ и абстракцию, духовный синтез и мыслительный анализ. Эта гипотеза чрезмерно схематизирует структуру мышления, упрощает его строение и функционирование. Сознанию-мышлению изначально свойственно наличие, одновременное существование и взаимодействие перечисленных антитез [Никитин, 2003, с. 20]. Интересно в этой связи сослаться и на мнение К. Хюбнера, согласно которому науку не следует противопоставлять мифу, на-

ука и миф равноценны. Мифологический образ мира представляет собой завершённую и всеобъемлющую систему понятий и восприятий, даже если он «одет в маску образности» [Хюбнер, 1996].

Человеку, таким образом, *изначально присущ синкретизм логического (научного) и образного (художественного) мышления с доминированием первого*. Оба представляют собой специфические формы отражения мира и специфические способы его познания, специфические составляющие картины мира, существующие не отдельно, а в тесном единстве. Эти же основные составляющие присутствуют и в дискурсе языковой личности, определяя его синкретизм. В.И. Карасик убеждён, что для естественного общения характерен синкретизм рационального и эмоционального содержания. В определенных жанрах речи баланс между рациональным и эмоциональным отношением к действительности может быть смещен в сторону одного из таких видов отношений [Карасик, 2009, с. 266]. Известно, что синкретизм научного и художественного дискурсов проявляется в жанрах эссе, дневниках ученых, их переписке, исторических романах, исторических документальных повестях, и других образцах художественного документализма. Такого рода синкретизм не может не «оставить следы» и в «чисто» художественных или «чисто» научных текстах. Между двумя полюсами научного и художественного, – вновь сошлёмся на М.В. Никитина, – лежит обширная область переходных форм мышления, к которым в первую очередь следует относить фидейную и мифологическую [Никитин, 2003, с. 31]. Однако в истории человечества сложилась сфера знаний, в той или иной степени *объединяющая различные формы мышления и включающая в себя на различных этапах своего развития фидейное, мифологическое и рациональное*. Эта сфера знаний – философия, не только занимающая область переходных форм между образным и рациональным, но и в большом объеме с ними пересекающаяся.

Считается, что философия родилась примерно в VI веке до н. э., заняв пограничное положение между образным мышлением мифа и понятийным теоретическим аппаратом науки. Именно в это время мифологическое мышление уступает место рациональным механизмам в доминировании психической жизни че-

ловека [Катречко, 1998, www.philosophy.ru/library/diskurs/00.html]. Философия обращена к миру как к единому целому, переосмысление фантастических мифологических образов привело к возникновению философских представлений о мировом порядке, объективной необходимости и т. д. Переход от религиозно-мифологических представлений о мире к его философскому пониманию означал замену произвольного вымышленного «рассказа» обоснованной аргументацией, разумно-логическими соображениями, т. е. тем, что греками было обозначено термином «логос» [Кессиди, 1972, с. 106–107]. Философия как наука, таким образом, появилась одновременно с философским дискурсом.

Философию трактуют как особую форму общественного сознания и познания мира, вырабатывающую систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее проявлениях. Однако философия является и теоретическим ядром мировоззрения [Философия: Энциклопедический словарь, 2004, с. 909]. Это позволяет максимально расширять её понимание *от специализированного (философия как наука) до обиходного (философия как мировоззрение)*. Особенности философии как универсальной науки, формы сознания и мировоззрения определяют *особенности философского дискурса как типа научного дискурса*. Базовыми характеристиками философского дискурса признаются его всеобщность и предельность. Научный дискурс обнаруживает тенденцию к росту и трансформации, которая носит кумулятивный характер: дискурс, как правило, не пересматривается полностью, но обогащается новыми терминами и отношениями. Всякий научно-теоретический дискурс, таким образом, подразумевает ряд предпосылок, которые не «проговариваются» в самом дискурсе. Философский дискурс – «беспредпосылочный». *Являясь некоторой терминологической конструкцией, он должен предъявить такие отношения своих терминов, которые были бы предпосылками любого другого дискурса*. Термины философского дискурса, обозначающие философские категории, носят характер *всеобщности*, поскольку с их помощью можно говорить о любой науке. Философский дискурс, таким образом, оказывается предельным дискурсом, не допускающим ни-

какой последующей рефлексии. Философская система содержит все, что может содержать, ее трансформации противоречили бы всеобщности, а, следовательно, философ не продолжает дискурс, начатый другим, а вынужден начинать все с самого начала. Для предельно универсального философского дискурса неприемлемы процедуры верификации и фальсификации. Философ стремится подвергнуть процедуре понимания любой дискурс, попадающий в его поле зрения. «Любой дискурс может быть встроен в философский – конструкцию, в которой приобретают определенность предельно общие понятия» [Гутнер, 1998, <http://www.philosophy.ru/library/diskurs/gutner.html>].

Пограничное положение философского дискурса между научным дискурсом и религиозным дискурсом подчеркивается в его описании как трансцендентального дискурса, субъект которого не может находиться ни в мире реальных объектов (научное мышление), ни за пределами мира (фидейное мышление). Для философского наблюдения, сошлёмся на С.Л. Катречко, наблюдатель должен оказаться «на границе мира». Поэтому «в структурном плане философия занимает пограничное положение между задаваемыми вопросами и еще не найденными ответами; а философская деятельность – это скорее вопрошание, и в этом ее специфика в отличие, скажем, от науки, которая занимается отвечанием на уже поставленные философской мыслью проблемы» [Катречко, 1998, www.philosophy.ru/library/diskurs/00.html].

К языковым особенностям философского дискурса, прежде всего, относят неденотативную семантику. Философская деятельность – это работа с метафизическими объектами, или целостностями: Я (Душа) – Мир (Космос) – Бог. Метафизический характер объектов философии обуславливает специфику языка, состоящую в его символичности [там же]. Философию, таким образом, как и искусство (по Ю.М. Лотману), можно рассматривать в качестве *вторичной знаковой системы*. Семантика философского дискурса осложнена актуализацией коннотаций и использованием метаязыка. Коннотации, порождающие новые смыслы, обеспечивают идеологическую функцию философии, метаязык как система терминов, необходимых для описания исходного языка, служит основанием для философской рефлексии [Анкин, 1998, www.philosophy.ru/library/diskurs/00.html].

Существует мнение, что сегодня наблюдается трансформация и деформация философского дискурса. Изначально он ассоциировался с поиском вечных истин, сейчас же апеллирует к современным реалиям. Как следствие, происходит терминологическое упрощение (снижение лексики), размываются границы между отдельными областями философии – сложно отличить работы по этике от работ по социальной философии, эпистемологии, философии культуры. Современный философский дискурс приближается к публицистическому и художественному, под влиянием постмодернистских взглядов его иногда называют «особым литературным жанром». Эти тенденции отражают, с одной стороны, изменения в самосознании философского сообщества, а с другой, – особый пограничный статус философии [Ищенко, 2003].

Рациональная экспликация смыслов в философии начинается со своеобразного улавливания общности в качественно различных областях человеческой культуры, с понимания их единства и целостности. Поэтому первичными формами бытия философских категорий выступают не столько понятия, сколько смыслообразы, метафоры и аналогии. В литературе, искусстве, художественной критике и обыденном сознании возникают в первичной форме экспликации философских категорий. В произведениях великих писателей может быть разработана и выражена средствами художественного языка целостная философская система, сопоставимая по своей значимости с концепциями великих философов [Философия: Энциклопедический словарь, 2004, с. 910].

Антропоцентричность философского дискурса априорно приближает его к художественному дискурсу. Если научное знание безлично, то философия сознательно допускает присутствие человека в мире, определение его места и назначения. Раскрытие смысла бытия и человеческой жизни – основная задача философского познания [Кессиди, 1972, с. 106–107].

Особый статус философского дискурса позволяет видеть в нем универсальную основу для любого иного дискурса, который может рождаться как философское размышление. «[...] любой дискурс, например «дискурс красками», или теоретический дискурс науки, в каком-то смысле уже обременен философией» [Катречко, 1998]. Новые категориальные смыслы, полученные

философией и включенные в культуру, селективно заимствуются наукой, адаптируются к специальным научным проблемам и активно участвуют в порождении новых научных идей [Философия: Энциклопедический словарь, 2004, с. 910]. Философский дискурс обладает статусом универсального дискурса: он способен стать составляющей дискурса ученого, писателя, критика или проповедника и участвовать в формировании синкретизма языковой личности как взаимодействия основных форм мышления – рационального и художественного.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Дискурс // БЭС: Языкознание. М., 2000. С. 136–137.

Архипов И.К. Человеческий фактор в языке. СПб., 2001.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

Гурочкина А.Г. Диалогический дискурс как среда и результат межличностного взаимодействия // Актуальные проблемы современного языкознания. *Studia Linguistica*. Вып. XIII. СПб., 2009. С. 43–48.

Диалектика текста. Том 1. СПб., 1999.

Карасик В.И. Языковые ключи. М., 2009.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии). М., 1972.

Кравченко А.В. Что такое «когнитивная структура», или об одном распространенном заблуждении // Взаимодействие когнитивных и языковых структур. М., 2011. С. 96–104.

Красных В.В. Структура коммуникации в свете лингвокогнитивного подхода (коммуникативный акт, дискурс, текст). Автореф. ... дис. док. филол. наук. М., 1999.

Никитин М.В. Аналогия, миф и генезис мышления // *Studia Linguistica*. Вып. XII. Перспективные направления современной лингвистики. СПб., 2003. С. 13–34.

Серио П. Анализ дискурса во французской школе (Дискурс и интердискурс) // Семиотика: Антология / сост. Ю.С. Степанов. М.; Екатеринбург, 2001. С. 549–562.

Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. Ростов н/Д., 2008.

Тураева З.Я. Язык и социальное взаимодействие // *Studia Linguistica*. Вып. XX. Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы. СПб., 2011. С. 9–27.

Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Иванова. М., 2004.

Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. Киев, 1996.

Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

Чернявская В.Е. Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность – дискурсивность – интердискурсивность // *Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы*. СПб., 2007. С. 7–26.

Щирова И.А., Гончарова Е.А. Текст в парадигмах современно-го гуманитарного знания. СПб., 2006.

Электронные источники

Анкин Д.В. К семиотике философии // Особенности философского дискурса. Материалы научной конференции. М., 1998: [сайт]. URL: www.philosophy.ru/library/diskurs/00.html (дата обращения: 15.12.2011).

Гутнер Г.Б. Философский и теоретический дискурс: [сайт]. URL: <http://www.philosophy.ru/library/diskurs/gutner.html> (дата обращения 20.12.2011).

Ищенко Е.Н. Современный философский дискурс; пространство и границы // *Вестник ВГУ, серия «Гуманитарные знания»*, 2003, № 2: [сайт]. URL: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/hum/2003-02/hum0302_14.pdf (дата обращения 10.01.2012).

Катречко С.Л. Философия как пограничный феномен // Особенности философского дискурса. Материалы научной конференции. М., 1998: [сайт]. URL: www.philosophy.ru/library/diskurs/00.html (дата обращения 20.12.2011).

Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ). Русская литература и фольклор. Синкретизм: [сайт]. URL: <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/lea/lea-7341.htm> (дата обращения 20.12.2011).

Filippova Svetlana Gennadievna (Volkhov, Russia)

ON THE PHILOSOPHICAL DISCOURSE AND ITS UNIVERSAL STATUS

The article is dedicated to the description of the characteristics of the philosophical discourse. The philosophical discourse may be regarded as a discourse, occupying the intermediate position between the scientific and literary ones. Its specific universal status makes it the basis of any other discourse and determines the syncretism of the language personality.

Keywords: *discourse, text, syncretism, language personality, philosophical discourse*

УДК 821.111(680)-311.1

З. М. Чемодурова (Санкт-Петербург, Россия)

ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВРЕМЕНИ В ФИКЦИОНАЛЬНЫХ МИРАХ ПОСТМОДЕРНИЗМА

В статье изучаются особенности представления художественного времени в литературе 20-го века, анализируются некоторые различия в моделировании темпоральных параметров художественных текстов модернизма и постмодернизма. Особое внимание уделяется игровым аспектам временной организации художественных текстов постмодернизма.

Ключевые слова: временной лабиринт, нелинейное время, теория хаоса, понятие игры, «невозможный фикциональный мир», «мобильность сознания»

Одной из важнейших функций повествователя в художественном тексте является моделирование пространственно-временных условий протекания художественных событий, пространственно-временная локализация персонажей, позволяющая читателям составить некую картину изображаемого фикционального мира, реконструировать его, опираясь на текстовые элементы с пространственно-временной семантикой. Хронотопические отношения в художественном тексте, таким образом, являются одним из важнейших средств обеспечения его глобальной связности, или когерентности (см., например, Тураева, 2009).

Задачей данной статьи является рассмотрение некоторых приемов и стратегий моделирования времени в постмодернистском художественном тексте, создающих так называемые «хаосмотичные» фикциональные миры, характеризующиеся высокой степенью фрагментарности, неупорядоченности и противоречивости темпоральных элементов. В связи с поставленной задачей представляется важным проанализировать наиболее явные различия в репрезентации временных отношений в модернистских и постмодернистских текстах, а также выявить значение игрового компонента при моделировании временных параметров постмодернистских художественных текстов.

Теоретики, изучающие нарратив, полагают, что время является одним из важнейших параметров, при помощи которого конструируется и интерпретируется нарратив. Пол Рикер отмечает, что время «очеловечивается», когда приобретает форму нарратива, а нарратив в свою очередь может быть осмыслен наиболее полно, когда становится условием существования времени [Ricoeur, 1984, p. 52]. Другими словами, необходимо подчеркнуть, что когерентность нарратива зависит от способности читателей связать повествуемые события в едином временном потоке, расположить описываемые события на единой временной шкале, установить причинно-следственную связь между ними. Хорошо известно, насколько сложной и иногда практически не возможной представляется эта задача для читателей художественных произведений двадцатого века, сталкивающихся с такими способами представления художественного времени, как «временной лабиринт», «специализация времени», «временной дисконтинуум», «нелинейность времени», наличие множества временных шкал, «временная бифуркация».

Хорхе Л. Борхес, чье творчество оказало огромное влияние как на многих писателей двадцатого века, так и философов, литературоведов и лингвистов, в своем ставшем всемирно известном рассказе «Сад расходящихся тропок» подробно разрабатывает тему «невидимого лабиринта времени» («an invisible labyrinth of time») [Borges, 1962, p. 96]. Подхваченная многими писателями и теоретиками литературы, данная метафора – “the garden of forking paths” – стала одним из наиболее ярких символов постмодернистской эпохи, характеризующейся множеством экспериментов с представлением времени в художественном тексте. В рассказе Борхеса, искусно сочетающем в себе элементы детективного жанра, метапрозы, философского дискурса, даже шпионской литературы, разрабатывается модель неклассического нарратива, которую условно можно назвать «невозможным фикциональным миром», выстроенным на заложенных внутри данного мира противоречиях:

The Garden of Forking Path was the chaotic novel itself. The phrase “to various future times, but not to all” suggested the image of bifurcating in time, not in space. Rereading the whole work confirmed this theory. In all fiction, when a man is faced with alternatives he

chooses one at the expense of the others. In the almost unfathomable Ts'ui Pen, he chooses – simultaneously- all of them. He thus creates various futures, various times which start others that will in their turn branch out and bifurcate in other times. This is the cause of the contradictions in the novel [Borges, 1962, p. 9].

Особое внимание к категории времени, способам отражения времени в художественном тексте характерно для многих выдающихся произведений двадцатого века, в том числе таких шедевров модернизма, как романы Д. Джойса, В. Вулф, У. Фолкнера, которые, в отличие от классических романов предыдущего столетия с их достаточно четкой хронологической последовательностью повествуемых событий, акцентируют фрагментарность, прерывистость, непоследовательность своей временной организации. Такие приемы модернистских произведений, как «мобильность сознания», множество точек зрения, отражающих восприятие одного и того же момента времени различными персонажами, «перспективизм», выдвигающий на первый план индивидуальное время различных повествователей или рефлекторов [McNale, 1992; Heise, 1997], значительно затрудняют концептуализацию времени в модернистских произведениях. Проблема отражения, даже «искажения» человеческим сознанием и памятью того, что мы привычно называем «объективным» временем, противоречивость и недостоверность сюжетных событий, описываемых одновременно разными рассказчиками, среди которых выделяются ненадежные, создают трудности при выстраивании непротиворечивой картины изображенного мира.

Роман Вирджинии Вулф «Mrs. Dalloway» может служить ярким примером модернистского произведения, в котором прием «мобильности сознания» искусно передает процесс репрезентации в нарративе одномоментно внутренних монологов персонажей-рефракторов и точки зрения объективированного повествователя, проектирующих полифонический фикциональный мир:

There was a breath of tenderness; her severity, her prudery, her woodenness were all warmed through now, and she had about her as she said good-bye to the thick gold-laced man who was doing his best, and good luck to him, to look important, an inexpressible dignity; an exquisite cordiality; as if she wished the whole world well, and must now, being on the very verge and rim of things, take her leave. So she made him think. (But he was not in love.)

Indeed, Clarissa felt, the Prime Minister had been good to come. And walking down the room with him, with Sally there and Peter there and Richard very pleased, with all those people rather inclined, perhaps, to envy, she had felt that intoxication of the moment, that dilatation of the nerves of the heart itself till it seemed to quiver, steeped, upright--yes, but after all it was what other people felt, that; for, though she loved it and felt it tingle and sting, still these semblances, these triumphs (dear old Peter, for example, thinking her so brilliant), had a hollowness,.. [Woolf, 2000, p. 217].

Мастерское «вплетение» мыслей Питера Уолша и Клариссы в объективированное по форме повествование способствуют «остановке» мгновения, описанного с разных точек зрения. Использование лексических маркеров времени «now» и «the moment», многочисленные повторы глаголов «feel», «love», ироническое соположение эпитетов «inexpressible, exquisite», которыми Питер мысленно наделяет Клариссу и ее «dear old Peter», наконец, образ премьер-министра, который в сознании Питера предстает как «the thick gold-laced man who was doing his best to look important», способствуют, с одной стороны, выдвижению на первый план темпорального аспекта проецируемого фикционального мира, а, с другой стороны, создают у читателей ощущение, что во «внешней» реальности восприятие данного момента Питером и Клариссой протекает параллельно.

Читателям произведений Джойса, Вулф, Фолкнера приходится выстраивать фикциональный мир с его пространственно-временными параметрами, опираясь на иногда неточные, искаженные представления о фикциональном мире персонажей и рассказчиков. Тем не менее, и в этом заключается основное различие в репрезентации модернистских и постмодернистских миров, расхождения и противоречия в модернистских произведениях носят эпистемологический характер, то есть персонажи могут ошибаться, чего-то не знать о фикциональной действительности и ее временных параметрах, в частности, однако читатель, сопоставляя и анализируя различные версии описываемых событий, имеет возможность составить достаточно не противоречивую картину вымышленного мира.

Иными словами, используя предложенный М.Я. Дымарским термин «дейктический модус текста», который исследователь трактует как «функционально-семантическую категорию тек-

ста, базирующуюся на значениях референциальной определенности/ неопределенности всех содержащихся в нем элементов субъектной и хронотопической семантики» [Дымарский, 2006, с. 243], можно говорить о том, что в модернистских произведениях наблюдается некая энтропия дейктической определенности, обусловленная, прежде всего, нестабильностью локализации повествователя в тексте, изменением «точки отсчета» текста. «Мобильность сознания», множественность повествовательных перспектив, предлагаемых читателю, представляют собой эксперименты с нарративной «нормой» классического/традиционного повествования. Однако можно, видимо, утверждать, что введение большого числа персонажей-рефлекторов, частая смена точек отсчета, затрудняющая для читателей однозначное восстановление временных и пространственных параметров текста, не происходит немотивированно и чаще всего маркируются в произведениях модернистов. Возвращаясь к творчеству В. Вулф, можно отметить, например, что в ее произведениях переход от изображения одного сознания к другому осуществляется мотивированно: изображением внешнего объекта, воспринимаемого разными персонажами (парус, бой часов, или, как в приведенном отрывке, второстепенный персонаж – премьер-министр).

В постмодернистских произведениях представления различных событий прошлого или настоящего часто не связаны напрямую с «голосом», с сознанием конкретного повествователя или персонажа, то есть локализация повествователя утрачивает определенность, нарушается некий «дейктический паритет между автором и читателем» (по Дымарскому), причем изменения точки отсчета часто представляются немотивированными и немаркированными. События часто преподносятся в виде противоречивых и взаимно исключающих друг друга версий, так что читателям подчас очень трудно установить причинно-следственную связь между отдельными событиями, определить их хронологию. Сомнения в достоверности изображенных событий, их «реальности» (в рамках фикционального мира) приобретают онтологический характер, что частично и объясняет термин «хаосмос», применимый для описания фикциональных миров постмодернизма.

Время в постмодернистских фикциональных мирах «разветвляется», образуя множественные альтернативы, которые даже

при ретроспективном анализе создают у читателей ощущение неуверенности в их фикциональном статусе: являются ли описанные события «нереальными» в рамках возможного мира произведения (сновидением, фантазией того или иного персонажа), или «реальными», но противоречащими друг другу версиями, разворачивающимися в альтернативных временных плоскостях? Если в реальной жизни только будущее представляется нам непредсказуемым, имеющим множество вариантов развития, бесконечно разветвленным, иными словами слабо детерминированным, а прошлое воспринимается как линейное и определенное, выстраиваемое вдоль одной временной оси, то в работах постмодернистов даже нарративное прошлое и настоящее приобретают характер нелинейности, многовариантности и неопределенности.

Хаотичность и фрагментарность создаваемых миров постмодернизма во многом объясняются общей тенденцией культуры постмодернизма считать, что в нашем мире отсутствует точность, линейность, предсказуемость, равновесие и редукционизм. Многие ученые отмечают, что «появление квантовой теории, «теории неопределенности, недетерминированности и тайны», знаменовало инициацию в новое мировоззрение» [ВандерВен, 2003, с. 302]. Согласно теории хаоса, реальность представляется фундаментально хаотической, мир в ней рассматривается как нестабильный, нелинейный, сложный и непредсказуемый [Goerner, 1994, цит. по ВандерВен, 2003, с. 300]. Время индивидуальное, «очеловеченное» в культуре постмодернизма представляется одним из множества временных измерений, так что события, кажущиеся связными и последовательными на одной временной шкале, могут не быть таковыми в других временных системах [Heise, 1998, p. 46].

Философия хаоса неразрывно связана с еще одним фундаментальным понятием, приобретшим особое значение в эпоху постмодернизма, – игрой. В последние десятилетия феномен игры активно изучается в философии, культурологии, лингвистике, математике, экономике и других областях знания, поскольку, обладая онтологической амбивалентностью, выступая одновременно и как объективное явление, и как субъективная деятельность, характеризуясь эпистемологической двойственностью, как сочетание реальности и ирреальности, истины и вымысла, игра рассматривается как «идеальная среда для понимания мира как хаотического» [ВандерВен,

2003, с. 301]. И.А. Каргаполова в своем фундаментальном труде, посвященном языковой игре, рассматривая игру с точки зрения культурной антропологии, указывает на ее «лиминальный» аспект, которому свойственны в том числе антиструктурные тенденции, «испытание абсурдом» [Каргаполова, 2007, с. 326].

Общепризнанным фактом можно считать игровой характер создания и восприятия художественного текста. «Сознательная отмена неверия» со стороны читателей, некий «пакт», имеющий игровой характер, заключаемый между авторами и читателями, позволяют читателям сохранять иллюзию правдивости повествуемого (этимологически, как известно, «иллюзия» означает «в игре») и осознавать в то же время, что все изображаемое — вымысел, «игра воображения» творца возможного мира [Андреева, 2006, с. 91; Дымарский, 2006, с. 241].

В этой связи уместно говорить о неких «правилах игры», игровых конвенциях, которые лежат в основе парадокса фикциональности. Предложенная М.Я. Дымарским категория дейктического модуса текста может рассматриваться как одна из таких игровых конвенций, поскольку она достаточно удачно раскрывает условный, исторически изменчивый характер представлений о «норме» организации нарратива. Определенность дейктического модуса художественного текста, дейктический паритет автора и читателей, когда «читателю предоставляется равная возможность проникать вместе с автором в любую точку художественного пространства-времени; хронотоп не имеет закрытых для читателя зон» можно считать существенными признаками классического (традиционного) нарратива [Дымарский, 2006, с. 243].

В эпоху постмодернизма меняются «правила игры», резко возрастает неопределенность дейктического модуса текста (его субъектных и хронотопических элементов), обостряется «лиминальный» аспект игры, и моделируемый возможный мир приобретает черты непредсказуемости, хаотичности, противоречивости. В «неклассическом» нарративе иллюзия мотивированности повествуемой истории [Андреева, 2006, с. 97] сменяется иллюзией «нон-селекции» событий, что выдвигает на первый план идею комбинаторной игры с элементами времени и пространства.

Игровая стратегия моделирования *лабиринта времени* может рассматриваться как один из способов репрезентации художе-

ственного времени в постмодернистских текстах. Данная стратегия реализуется в художественном тексте при помощи повтора, который условно можно обозначить как прием *серийности описываемых эпизодов*. Классический постмодернистский рассказ Роберта Кувера “The Elevator” [Coover, 1969] представляет собой, на первый взгляд, преимущественно объективированное по форме повествование, состоящее из пятнадцати частей-фрагментов, описывающих поездки главного героя рассказа Мартина в лифте в свой офис на четырнадцатом этаже. Возможный мир рассказа характеризуется высокой степенью энтропии дейктической определенности, поскольку читателям очень сложно определить временную последовательность эпизодов, ряд из которых представляются взаимно исключающими версиями поездки в лифте. Пространственные характеристики текста также представляются противоречивыми, так как сам лифт описывается то как «self-service elevator» (эпизоды 1, 5, 7, 10), то как имеющий оператора (эпизоды 2, 3, 6, 8, 9). Объективированный повествователь в первом эпизоде начинает рассказ с установления темпорально-пространственных параметров текста:

Every morning without exception and without so much as reflecting upon it, Martin takes the self-service elevator to the fourteenth floor, where he works [Coover, 1969, p. 125].

Второй эпизод, однако, предлагается уже в другой временной перспективе (используется простое прошедшее время) и повествует о постоянных поездках Мартина с коллегами, которые ему досаждают, и оператором лифта: *Martin was always left alone with the girl who operated the elevator* [Coover, 1969, p. 127]. Пятикратный повтор лексемы «always» в этом фрагменте создает первое противоречие в конструируемом возможном мире. В эпизоде № 6 описывается первая версия несчастного случая в лифте, управляемом оператором: *The cable snaps at the thirteenth floor. There is a moment's deadly motionlessness – then a sudden breathless plunge! The girl, terrified, turns to Martin* [Coover, 1969, p. 130].

Однако, следующий эпизод рассказа, повествуемый в прошедшем времени, начинается с описания обычного рабочего дня Мартина: *Martin worked late in the office...* [Coover, 1969, p. 130]. Заканчивается рассказ альтернативным сценарием катастрофы с лифтом, на этот раз не имеющим оператора, так что время в рас-

сказе предстает как нелинейное, неопределенное, бифуркационное: *Martin does not take the self-service elevator to the fourteenth floor, as is his custom,... Halfway up, he hears the elevator hurtle by him and then the splintering crash from below* [Coover, 1969, p. 137]. Стратегия создания лабиринта сюжетного времени, таким образом, может рассматриваться как один из игровых способов моделирования противоречивого и неупорядоченного постмодернистского фикционального мира.

Список литературы

- Андреева В.А. Литературный нарратив: текст и дискурс. СПб., 2006.
- ВандерВен К. Игра, Протей и парадокс // Игра со всех сторон. М., 2003. С. 299–324.
- Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст / Изд. 3-е, исправленное. М., 2006.
- Каргаполова И.А. Человек в зеркале языковой игры. СПб., 2007.
- Тураева З. Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика: Учебное пособие. М., 2009.
- Borges J.L. Ficciones. N.Y., 1962.
- Coover R. Pricksongs and Descants. N.Y., 1968.
- Heise U. Chronoschisms. Time, Narrative and Postmodernism. Cambridge, 1997.
- McHale B. Constructing Postmodernism. London, 1992.
- Ricoeur P. Time and Narrative. Vol. 1. Chicago, 1982.
- Woolf V. Mrs. Dalloway. M., 2000.

Chemodurova Zinaida Markovna (Saint Petersburg, Russia)

THE PROBLEM OF TIME REPRESENTATION IN POSTMODERN FICTIONAL WORLDS

The article addresses the problem of representing time in the 20th century literature, analyzing some differences in modeling temporal parameters of modern and postmodern fictional universes. The article focuses on certain playful aspects of the temporal organization of postmodern texts.

Keywords: labyrinth of time, non-linear time, the Chaos theory, play/game concept, “impossible fictional world”, mobile consciousness

И.А. Щирова (Санкт-Петербург, Россия)

ТЕОРИЯ РАЗУМА И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЕМАНТИКИ

Статья посвящена возможностям экстраполирования известной в когнитивной психологии теории разума на процессы создания и интерпретации художественного текста. Когнитивная способность человека «считывать» психические состояния другого человека на основании внешнего наблюдения рассматривается в контексте понимания читателем внутренних процессов персонажа.

Ключевые слова: теория разума, репрезентация, метарепрезентация, способность считывать ментальные состояния, литературная семантика, психологическая проза, внутренний мир, имплицитная художественная деталь

Что мотивирует интерес к чтению? Желание получить интеллектуальное удовольствие и\или испытать «эйфорию» эмоционального наслаждения? (Ср. «говорящие образы» Р. Барта). Обрести новые знания и\или обогатиться новыми впечатлениями? «Вступить» в «доверительный диалог» с автором\персонажем (Ср. понятия интимизации и эмпатии) и\или получить возможность самопознания? Эти и многие иные ответы на поставленный вопрос уже предлагались в научной литературе. Априорная незаконченность любого такого перечислительного ряда легко объяснима сменой научных парадигм, сложностью человека, порождающего и воспринимающего текст или в нём изображаемого, сложностью разума человека, процесса творчества и, наконец, самого художественного текста.

Своеобразие «расщеплённой» референции художественного текста заключается в том, что моделируемая в нём действительность предстаёт перед читателем не в виде слепка с реальной действительности, которую интериоризирует креативный субъект в ходе создания текста как способа познания мира, а в виде её индивидуально-авторской модификации. Целенаправленный

авторский вымысел, основанный на универсальной когнитивной способности человека – воображении, отдаляет фикциональную действительность от действительности реальной, но неизменно запечатлевает в ней авторский взгляд на мир. Уникальность авторской личности прогнозирует сложности изучения и описания авторского мировосприятия.

Проблема вымысла, его типологий, когнитивно-прагматических и лингвистических механизмов фикциональности всегда привлекала представителей научных интерпретативных сообществ, которые, описывая природу фикциональности и воздействия художественного текста на читателя, опирались в своих рассуждениях на теоретические и методологические установки близкой им области научного знания: логики, философии, риторики, литературоведения и пр. «Человекомерность» современной науки предопределила актуальность и продуктивность интегративных исследований фикционального текста. Нередко такие исследования проводятся на границе «наук о тексте» (лингвистики текста, литературоведения, стилистики, герменевтики, философии литературы и пр.) и когнитивных наук: когнитивной лингвистики, когнитивной психологии и когнитивной философии. Ещё в 1993 г. Зинаида Яковлевна Тураева справедливо отмечала перспективность холистических тенденций в описании текста и решающую роль когнитивистики в их реализации: «Мы являемся свидетелями становления *новой когнитивной парадигмы*, характеризующейся сближением с естественными науками, вовлекающей в свой *интеллектуальный универсум* науки, изучающие жизнь общества – социологию, психологию, теорию информации, теорию коммуникации [Тураева, 1993, с. 29] (курсив мой – И.Щ.).

Концептуальную базу описания художественного текста сегодня формируют не только отдельные понятия когнитивистики и, но и базовые положения целостных когнитивных учений, – концепций и теорий, которые позволяют текстолингвисту «взглянуть» на «узнаваемые» проблемы сквозь новую понятийную сетку. В этой небольшой статье автор остановится на одной из таких теорий – теории разума (Theory of Mind) (ToM), известной в когнитивной психологии, и, как представляется автору, способной открыть новые перспективы в осмыслении природы

фикциональности. Фокусируя внимание на важнейшем понятии когнитивистики – понятии разума и, в частности, на психическом состоянии человека, теория разума уже используется сегодня для описания специфических проблем художественной литературы, например, причин интереса к процессу чтению, с обсуждения которых мы начали эту статью.

Человек разумный обладает чувствами, мыслями, намерениями, желаниями и устремлениями (внутренним миром) и является социальным существом. Он живёт в мире себе подобных и, принимая действия по отношению к ним, во-первых, исходит из своих чувств, мыслей и намерений, а, во-вторых, из того, что все ему подобные также имеют внутренний мир и, как и он сам, выстраивают поведение, исходя из его составляющих. Иными словами, человек оказывается способным *делать предположения о чувствах, мыслях и намерениях другого человека (mind-reading capacity) и на основе этих предположений прогнозировать чужое поведение и строить своё собственное*. Способность человека *объяснять поведение в терминах чувств, верований, желаний* и пр. и описывает теория разума (Theory of Mind (ToM)). Встречаются различные русские аналоги этого английского термина, о чём автор статьи упоминал в предыдущем сборнике серии. В этой статье используется термин «модель психического», что объясняется единственной причиной – эксплицировать обоснованность экстраполяции понятий и тезисов теории разума на произведения *психологической* литературы. Впрочем, условность такого предпочтения очевидна, хотя бы потому, что наряду с понятием психологическая литература, в критике используется и понятие литературы интеллектуальной.

Термин «модель психического», как уже было отмечено, относится к способности приписывать независимые представления себе и другим людям с целью объяснения своего и чужого поведения. Эти представления должны быть независимыми и от реального положения дел (поскольку люди могут ожидать то, чего нет на самом деле), и от представлений других людей (поскольку ты и я можем ожидать и хотеть разных вещей) [Аппе, 2006, с. 62] (курсив мой – И.Щ.). Иными словами, важность вышеназванной способности человека связывается с тем, что она структурирует ежедневное общение (Ср. у Заншайн: see bodies as animated by

minds [Zunshine, 2006, p. 7]). Без этой способности, несмотря на то, что наши попытки «приписать» другому то или иное состояние иногда оказываются ошибочными («incorrect though our attributions frequently are» [там же]), жизнь человека в обществе была бы невозможной, что подтверждает пример больных, страдающих аутизмом. Согласно Leslie 1987, 1988 [цит по Аппе, 2006, с. 60], для того чтобы не происходило смещения воображаемой и реальной действительности, ребёнок должен иметь (быть способен к формированию) двух типов репрезентаций: *первичной репрезентации*, отражающей то, что действительно существует в мире, и *метарепрезентации*, используемой для овладения воображаемой реальностью. Нарушение создания метарепрезентации является причиной неспособности аутичного ребёнка участвовать в символической игре. Важную роль играет метарепрезентация и для отражения таких «информационных связей» или отношений (представлений), как «мысль», «надежда», «намерение», «желание» и «ожидание», а значит для понимания поведения человека. Чтобы понимать поведение, мы должны уметь «приписывать» человеку те или иные переживания («считывать представления») [цит. по Аппе, 2006, с. 61–63].

Когнитивная способность «считывать» чужой разум и «создавать» чужой разум, исходя из врождённой способности к его «считыванию», является необходимой предпосылкой творческого процесса: «What drives the creative process is our hankering for mind-making and mind-reading» [Zunshine, 2006, p. 160]. В работе «Why do we Read Fiction: theory of mind and the novel», Лиза Заншайн использует теорию разума для теоретического обоснования и практического подтверждения закономерности интереса читателя к художественной литературе: «Literature persuasively capitalizes on and stimulates Theory of Mind mechanisms that had evolved to deal with real people, even as on some level readers do remain aware that fictive characters are not real people at all» [Zunshine, 2006, p. 10]. Жанр романа рассматривается Заншайн как когнитивный эксперимент (cognitive experiment), а материалом для исследования проблемы выступает широкий спектр художественных (не только психологических) текстов, что представляется закономерным: внутренний мир человека, вне зависимости от жанра художественного текста, так или иначе,

моделируется в нём в силу его (текста) абсолютной антропоцентричности.

Небезынтересно заметить, что в названиях разделов работы Заншайн эксплицируются разноплановые возможности использования понятий и положений когнитивной теории для изучения художественного текста. Так, в первом разделе «Attributing Minds» [там же, р. 3–44], посвященном специфическим проблемам теории разума, интерес человека к литературе объясняется его способностью к «считыванию» внутренних представлений (mind-reading capacity). Во втором разделе «Tracking Minds» [там же, р. 47–118] обсуждается проблема метарепрезентаций как репрезентаций феноменов психического не первого, а второго и пр. порядка: «Sometimes described as «a representation of a representation», a metarepresentation consists of two parts. The first part specifies a source of representation, for example, «I thought...», or «Our teacher informed us...». The second part provides the content of representation, for example, «...that it was going on to rain...» [там же, р. 47]. Основная мысль Заншайн заключается в том, что читатель, используя врождённую способность идентифицировать, *кем и каким образом* репрезентируется когнитивная деятельность другого человека, применяет её по отношению к персонажам фикционального (художественного) текста и приписываемым этим персонажам ментальным состояниям (mental states). Иными словами, благодаря своим врождённым когнитивным способностям, читатель может отличить репрезентацию от метарепрезентации и тем самым идентифицировать источник «приписывания». Заметим, что анализируемая Заншайн способность читателя к идентификации и локализации источника чувства, мысли, желания и пр. (Ср.: the ability to keep track of *who* thought, wanted, and felt what, and *when* they thought it) [там же: 60]) *формирует необходимое основание для адекватной интерпретации текста*. В третьем разделе «Concealing Minds» Заншайн анализирует возможность использования читателем способности к метарепрезентациям (the working of our metarepresentationality) для понимания жанра детектива [там же, р. 121–155]. Выбор жанра следует признать оптимальным, поскольку инвариантная сюжетная схема детектива предполагает намеренное сокрытие когнитивной деятельности, как мини-

мум, одним персонажем – преступником-антагонистом, утаивающим от окружающих свои истинные чувства, мысли, желания и устремления. Способность сыщика-протагониста восстановить эти внутренние состояния по деталям внесобытийного ряда приводит к обнаружению преступника.

Читатель приписывает внутренние состояния персонажам, – отмечает Л. Заншайн, – следит за развитием этих состояний и демонстрирует способность «прочитывать» их, даже когда они не номинируются эксплицитно, поскольку опирается на сопутствующие им внешние проявления. Чтение сложных литературных текстов, как следствие, развивает когнитивную способность «читать разум» [Zunshine, 2006, p. 160] (перевод мой – И.Щ.). В справедливости этих слов, как представляется, с наибольшей очевидностью убеждает психологическая (интеллектуальная) литература XX в., истоки которой, изначально ассоциировавшиеся с именами мыслителей, прослеживаются со времён античности. Литературоведы обнаруживают элементы психоанализа в новелле Боккаччо «Фьяметта», но и средневековая литература созерцаний и размышлений, и произведения эпохи романтизма, сосредоточенные на глубинах авторского «Я», свидетельствуют о неизменном интересе человека к «движениям души». Становление психологической литературы как самостоятельного жанра в XX в. связывается с открытиями Эйнштейна, Бергсона, У. Джеймса и, конечно же, Фрейда. «Новая психология» вызвала к жизни новые художественные формы, – технику потока сознания и «психологический реализм». Предмет изображения психологической литературы – внутренний мир позволяет говорить о *наибольшей обоснованности проецирования основных положений «модели психического» (теории разума) на художественную реальность именно психологических текстов.* Поясним этот вывод более подробно.

В процессе реальной (естественной) устной коммуникации, отмечает А.Г. Гурочкина, – адресант и адресат контактируют друг с другом, выступая одновременно в качестве отправителя и в качестве реципиента информации. При взаимодействии они меняются ролями, контролируя релевантные параметры коммуникативной ситуации и приводя в соответствие с её требованиями свой вербальный и невербальный вклад в интеракцию для поддержания

коммуникативного баланса. [Гурочкина, 2005, с. 25]. Способность считывать внутренние представления справедливо может проецироваться не только на область реальной коммуникации, охарактеризованной А.Г. Гурочкиной (Ср.: автор и читатель), но и на область изображенной коммуникации, в которой, согласно авторской интенции, участвуют разного рода квазисубъекты (фикциональные субъекты). «Коммуникация внутри коммуникации» может быть общением персонажей, повествователей, персонажей и повествователей или самообщением повествователя\ей или персонажа\ей, то есть автокоммуникацией. Используя вербальные средства, автор может имитировать в тексте природу и особенности вербальной и невербальной коммуникации. Однако, любая коммуникация фикциональных субъектов может быть названа общением «реальных фигур», лишь с точки зрения изображённой коммуникации, где её реальность гарантируется статусом эстетически возможного мира как мира художественной действительности. С точки зрения коммуникации реальной, мы имеем в этом случае дело с квазиобщением.

Авторская оценка внутреннего мира квазисубъектов в текстах психологической направленности XX века, в отличие от литературы более ранних периодов, обычно переносится в подтекст. Автор иллюзорно отстраняется от «происходящего», имитируя когнитивную самостоятельность квазисубъектов как носителей оценочного мнения и тем самым уменьшая дистанцию между ними и вторым реальным коммуникантом (читателем). Иллюзия отсутствия автора создаёт основание для как бы самостоятельного приписывания\считывания эксплицитно или имплицитно изображённых психических (внутренних) состояний не только квазисубъектом, находящимся в плоскости изображенной коммуникации, но и субъектом, принадлежащим коммуникации реальной (читателем). Поскольку именно в «чувствах, мыслях и желаниях» квазисубъектов репрезентируется оценочное мнение автора, успешность их «считывания» читателем, с неизбежностью предполагая *активизацию его когнитивной деятельности*, во многом означает успешность интерпретации текста, в целом.

Компоненты внутреннего мира квазисубъекта могут изображаться эксплицитно, в сегментах художественно-трансформированной внутренней и внешней речи, с помощью языковых

средств, называющих, обозначающих или выражающих эмоции, иерархии ментальных модусов, освоение которой позволяет читателю следить за «движением мысли» квазисубъекта и пр. Не менее эффективно и опосредованное изображение внутреннего мира через детали внешнесобытийного ряда: жесты, мимику, кинесику, детали поведения и пр. Идея «овнешнения» внутреннего мира, активно разрабатываемая в трудах литературоведов и лингвистов, имеет непосредственное отношение к «модели психического», поскольку в реальной коммуникации, именно такие, экстерииорирующие внутренний мир детали, позволяют нам представлять мысли, чувства и устремления других людей, догадываться об их намерениях (Ср. также т.н. «Язык тела»). *Активизации когнитивной деятельности* читателя способствует не только необходимость декодирования скрытого смысла «овнешняющих деталей», в которых читатель, реализуя тем самым авторскую интенцию, усматривает внешние проявления внутренних состояний. Не меньших когнитивных усилий требует идентификация читателем *намеренного искажения* автором внешних проявлений внутреннего, которое может иметь место, например, при включении в текст ««двунаправленного авторского слова» (Ср. пародийные элементы текста или иронический модус повествования). Описываемые автором детали поступков (внешние проявления) в этих случаях не соответствуют реальному внутреннему состоянию персонажа, каким оно сформировалось в авторском сознании и (предположительно) должно сформироваться в сознании читателя.

Адекватная интерпретация детали, «овнешняющей» внутренний мир, иногда затрудняется тем, что, выстраивая образ персонажа, автор использует *метод от противного* (см. Щирова, 2003), и из-за искаженного «считывания» чувств квазисубъекта читателем положительный персонаж может вызвать у него отторжение не только при первом появлении, как это планируется автором, но и по прочтении целого текста. Возможности подобного искажения заложены в априорном расхождении индивидуального эстетического, нравственного и житейского опыта автора и реального читателя. «Смысловые поля», формирующиеся в сознании автора и читателя при интерпретации деталей поведения как «ключей» к прочтению внутреннего мира человека в этом

случае не совпадают. Повторим, что «неадекватно считать» сконструированный автором внутренний мир может лишь реальный, а не гипотетический читатель, образ которого автор, создавая текст, выстраивает в своём сознании и на которого ориентированы авторские коммуникативно-творческие стратегии и подчиненные им тактики. Искажённое «считывание ментальных состояний» при изображении персонажа «методом от противного», как и неспособность идентифицировать иронический модус изображения персонажа влекут за собой построение в читательском сознании искаженного образа внутреннего мира фикционального субъекта, – мира, не соответствующего «истинному внутреннему миру», если понимать под последним часть заложенной автором в текст интерпретационной программы. *Иными словами, «скрытый смысл» внутреннего мира персонажа, а значит – опосредованно, и самого автора для читателя так и может остаться «скрытым», в чём убеждают выражения, присутствующие в критическом аппарате исследователей текста. Ср.: «неспособность к восприятию авторской иронии» «отсутствие «чувства текста»», «непонимание психологических нюансов», «поверхностное чтение», «невнимательный читатель» и пр.*

Противопоставленность искренности и неискренности чувств, для декодирования которых читатель использует врождённую модель психического считывания внутренних состояний, может стать критерием и для разграничения положительных и отрицательных героев. Впрочем, этот вывод также требует оговорок. Причины, «заставляющие» персонажа скрывать «свои мысли», множественны и детерминированы авторской интенцией, жанровой принадлежностью текста, сложностью образа персонажа в современной литературе, возможностью включения в текст «двунаправленного авторского слова» и пр. Признавая продуктивность использования теорий из смежных научных областей для изучения текстовой проблематики, хотелось бы, таким образом, отметить и *неизбежную условность* экстраполирования понятий и положений этих теорий на сложную природу художественного текста. Моделируемые в тексте внешние и внутренние миры носят вероятностный характер, а границы между их составляющими размыты в силу сложности реального мира, человека, который в нём существует, его разума и порождаемого разумом

текста. Прочитируем Айрис Мёрдок: «But the human situation is muddled and complex...Our whole busy moral-aesthetic intellectual creativity abounds in private insoluble difficulties, mysterious half-understood mental configurations. A great part of our thinking is the retention, the cherishing, of such entities. 'Inner' can co-exist or fuse with 'outer' and not be lost (What is inner, what is outer?) This is what thinking is like» [Murdoch, 1993, p. 280].

Список литературы

Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. М., 2006.

Гурочкина А.Г. Когнитивный и прагмасемантический аспекты функционирования языковых единиц в дискурсе. СПб., 2005.

Тураева З.Я. Лингвистика текста. Лекции. СПб., 1993.

Щирова И.А. Психологический текст: деталь и образ. СПб., 2003.

Murdoch I. Metaphysics as a Guide to Morals. L., 1993.

Zunshine L. Why we read fiction: theory of mind and the novel. Columbus, 2006.

Schirova Irina Alexandrovna (Saint Petersburg, Russia)

THEORY OF MIND AND THE PROBLEMS OF LITERARY SEMANTICS

The article dwells on the Theory of Mind, worked out in contemporary cognitive psychology, and explores the possibilities of its use in the sphere of literary creation, interpretation and imagery. Our mind-reading capacity is discussed from the viewpoint of the reader's ability to understand («to read») the characters' inner states.

Keywords: Theory of Mind, representation, metarepresentation, mind-reading capacity, literary semantics, psychological prose, inner world, implicit artistic detail

Т.В. Юдина (Санкт-Петербург, Россия)

РОЛЬ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ТЕКСТА В ОСМЫСЛЕНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В рамках лингвистики текста разработан целый ряд понятий, который целесообразно использовать для уточнения основных положений теории и практики перевода. В статье предлагается точка зрения на аппарат текстовых категорий как на инструментарий, позволяющий эффективно выполнить предпереводческий анализ текста и как на систему критериев для оценки качества перевода.

Ключевые слова: процесс перевода, качество перевода, лингвистика текста, текст, текстуальность, категория текста, смысл текста, единица текста

Развитие коммуникативной теории текста, лингвистики текста и теории дискурса позволило преодолеть лингвоцентризм в переводоведении и обратиться к текстоцентризму – современной научной парадигме, позволяющей включить переводческий процесс в текстовую и шире – когнитивно-дискурсивную деятельность. Понимание процесса перевода как коммуникативного акта и признание текста основной и высшей единицей коммуникации навсегда изменили представление о переводческой деятельности как о сугубо лингвистической. По меткому замечанию У. Эко, «если бы это было так, то высшим переводческим достижением был бы двуязычный словарь» [Эко, 2006, с. 19].

Текстоцентрическая концепция стала ведущей в теории и практике перевода, а такие понятия как “текст”, “единица текста”, “категории текста”, “смысл текста” прочно вошли в концептуальную систему теории перевода. Это стало возможным благодаря тщательной и последовательной разработке этих понятий в трудах многих выдающихся лингвистов, среди которых особое место занимает Тураева Зинаида Яковлевна, научные труды которой не теряют своей актуальности и дают пищу для развития новых идей.

Несмотря на то, что ведущая роль текста в процессе перевода подчеркивается многими переводоведами, потенциал лингвистики текста, способный углубить представление о спорных вопросах теории и практики перевода, остается недостаточно исследованным. Вместе с тем, в лингвистике текста достаточно хорошо разработан целый круг проблем, способный объяснить различные аспекты переводческой деятельности. Например, результаты изучения смысловой структуры текста, дифференциация понятий «содержание» и «смысл» фактически снимают критику моделей перевода, которые понимают процесс перевода как процесс вычленения и трансляции смысла средствами другого языка. Результаты изучения процесса смыслообразования убеждают в том, что процесс вычленения смысла текста не означает отрыва от его языкового содержания, поскольку смысл текста как явление более высокого уровня складывается из взаимодействия содержательной структуры текста с контекстуальной, ситуативной и энциклопедической информацией, он зависит от тезауруса читателя и связан с актуализацией прошлого опыта, знания, оценочно-эмоциональных компонентов сознания личности [Тураева, 2009].

Другим примером может служить проблема определения единицы перевода (транслатемы), которая тесно связана с проблемой вычленения единицы текста. Для вычленения единицы перевода существенным является вывод о том, что «в основе членения текста на СФЕ лежит определенное членение экстралингвистической действительности (реальной или идеальной, связанное с обменом информацией и семиологически значимое» [Тураева, 2009, с. 116].

В данной статье рассматривается значение категориального аппарата текста для осмысления переводческих проблем.

Ю. Найда был первым, кто отметил необходимость принятия во внимание при изучении процесса перевода категориальных признаков текста, которые он называет «универсалиями дискурса»: поскольку «универсалии дискурса» имеют различные средства выражения в разных языках, то, по мнению автора, актуализация данных «универсалий» в текстах представляет особый интерес [Nida, 1964]. Особый вклад в теорию перевода внес А. Нойберт, который в своей монографии «Text and Translation»

делает попытку переформулировать ряд переводческих проблем в свете положений лингвистики текста, уделяя при этом большое внимание соотношению переводческой проблематики с категориями текста [Neubert, 1985].

Изучение процесса перевода, собственный переводческий опыт и опыт обучения переводу, убеждает нас в целесообразности использования категориального аппарата текста для предварительной «обработки» текста, который традиционно называется предпереводческим анализом. Предпереводческий анализ способствует точному восприятию текста оригинала, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода, намечает пути решения переводческих проблем. Цель переводчика состоит в том, чтобы в процессе анализа вычленил смысл текста, его структурные особенности, и выработать стратегию перевода. В силу того, что «категории текста отражают его наиболее общие и существенные признаки и представляют собой ступеньки в познании его онтологических, гносеологических и структурных признаков» [Тураева, 2009, с. 80], характер их функционирования в речевом произведении дает возможность взглянуть на него или его фрагмент как единое семантическое целое. Это является принципиальным моментом для вычленения смысла текста и последующего процесса его воспроизведения на языке перевода. Естественно, что в зависимости от прагматики текста, лингвистических, и экстралингвистических особенностей, переводчик, как правило, обращает внимание на признаки, характерные именно для данного текста, но качество последующего перевода любого текста неизбежно связано с осмыслением таких категорий как авторская интенция, адресованность, модальность и информативность текста, категория времени, связность текста на синтаксическом и семантическом уровнях (когезия и когерентность), членение текста (структурно-композиционное и актуальное), тональность текста, категории причины и следствия, интертекстуальность текста.

Как уже отмечалось, изучение текстовых категорий предполагает и изучение средств их выражения. Поэтому, фокусируя свое внимание на особенностях функционирования той или иной категории в тексте, переводчик получает более объемное представление о лингвистических (лексических, синтаксических) и

лингвостилистических особенностях данного текста, которые необходимо принять во внимание при выработке переводческой стратегии.

На первый взгляд, анализ текста с опорой на аппарат текстовых категорий сосредоточен только на изучении его категориальной семантики, но при более глубоком рассмотрении становится очевидным, что он расширяет рамки собственно текстовой структуры и позволяет выйти на другие уровни анализа. Подобный подход к предпереводческому анализу базируется на понимании текста как единицы, репрезентирующей дискурс. По своей сути – это семантико-смысловой анализ, ориентированный на вычленение смысла речевого образования.

Решение еще одной важной проблемы теории и практики перевода связано с поиском критериев оценки качества перевода.

Оценка качества перевода является одной из самых сложных и неоднозначных проблем современного переводоведения. Ее пытаются решать не только в научных исследованиях, но и в организациях, оказывающих переводческие услуги, и, конечно, сами переводчики. Сейчас разработано огромное количество систем оценки качества переводов, но, к сожалению, ни одна из них не предлагает, ни четких критериев, ни единого подхода к оценке качества перевода.

Оценка качества перевода связана с созданием конечного продукта переводческой деятельности – вторичного текста, текста перевода. А.Нойберт считает, что текст существует как сложное структурно-семантическое целое; он является таковым и выполняет свою роль в процессе коммуникации, если соответствует правилам построения текстов данного типа в данном языке [Neubert, 1985]. В процессе продуцирования вторичного текста переводчик опирается на те же правила построения текста, что и автор, создающий оригинал. Независимо от того, как переводчик интерпретировал коммуникативную ценность оригинала, какие стратегии он реализует в процессе перевода, он должен создать целостное коммуникативно релевантное языковое образование, отвечающее основным критериям текстуальности, которые отличают текст от “не-текста”. Признаками текстуальности служит ряд категориальных параметров текста: связность (когезия и когерентность), интенциональность и воспринимаемость, ситуа-

тивность, информативность и интертекстуальность [Beaugrande, Dressler, 1981].

Рассмотрим, в какой мере перечисленные категориальные признаки могут служить критериями определения качества перевода.

Когезия и когерентность. Текст, созданный переводчиком должен быть связным, т. е. ему должна быть присуща грамматическая связность, предполагающая связность компонентов текста с помощью грамматических форм и грамматических отношений (когезия), и связность на семантическом уровне (когерентность), обеспечивающая смысловую целостность текста. Если в основе переводческой деятельности лежит интерпретация смысла речевого сообщения, то когезия и когерентность представляют собой важнейшие критерии оценки качества вторичного текста, определяющие степень проникновения переводчика в глубинную структуру текста оригинала и степень его понимания. Процесс воспроизведения смысла на языке перевода обуславливает оформление поверхностной структуры вторичного текста и соответствующий выбор средств когезии.

Интенциональность и воспринимаемость. Если интенциональность соотносится с автором речевого сообщения, то воспринимаемость – с реципиентом этого сообщения. Эти критерии взаимосвязаны между собой; они являются предпосылкой любого коммуникативного акта, в том числе, и переводческого процесса как его разновидности. Эти критерии также соотносятся со всеми участниками процесса перевода. Качество текста в значительной степени определяется умением переводчика декодировать интенцию автора исходного речевого сообщения и адекватно передать ее средствами другого языка. Понятие воспринимаемости текста предполагает намерение реципиента получить текст, который для него важен и значим, а это, в свою очередь подразумевает употребления тех или иных средств, соответствующих определенной коммуникативной ситуации. Таким образом, оба критерия – и интенциональность, и воспринимаемость – предполагают особый отбор языковых средств для описания той или иной ситуации.

Информативность. С помощью данного критерия выявляется соответствие объема воспроизводимой информации в исходном тексте и в тексте перевода, распределение различных

видов информации (содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой – термины И.Р. Гальперина) в тексте перевода в соответствии с текстом оригинала и с учетом прагматического назначения информации.

Ситуативность. Данный термин обозначает совокупность факторов, “которые делают текст релевантным для актуальной или реконструируемой коммуникативной ситуации” [Beaugrande, Dressler, 1981]. Текст перевода создается с учетом характера ситуации, в которой он функционирует. Особенности ситуации диктуют нормы коммуникативного поведения автора, переводчика и реципиента, а их взаимодействие обеспечивается общими знаниями о мире, общим когнитивным багажом.

Интертекстуальность в контексте переводческой деятельности предполагает, прежде всего, включение вторичного текста в многомерный культурный контекст. Текст перевода должен соотноситься с неким инвариантом – типом текста и с другими текстами данного дискурсивного пространства. Особое значение интертекстуальности для оценки качества переводческой деятельности раскрывается в связи с тем, что текст перевода создается путем преобразования исходного текста и предполагает по отношению к нему определенную степень аппроксимации содержания. В связи с этим вторичный текст может быть репродуктивным и воспроизводить семантическую структуру исходного текста с разной степенью развернутости (сокращенный или реферативный перевод); интерпретативным (если текст перевода преобразуется в соответствии с желанием заказчика); адаптивным (если текст перевода приспособливается к новым дискурсивным условиям, например, перевод Библии для детей).

В данной статье мы ограничимся рассмотренными категориями текста, но для оценки качества перевода различных типов текста следует привлекать и другие категории, которые, вполне вероятно, окажутся для отдельных типов текста такими же действенными. Очевидно, что данная проблема нуждается в дальнейшей разработке, и привлечение достижений лингвистики текста в теорию и практику перевода будет способствовать не только конкретизации ряда положений общей теории перевода, но и более глубокому пониманию сущности переводческого процесса в целом.

Список литературы

Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика: Учебное пособие. М., 2009.

Тюленев С. В. Теория перевода. М., 2004.

Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006.

De Beaugrande R. A., Dressler W.U. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, 1981.

Neubert A. Text and Translation. Leipzig, 1985.

Nida E. A. Toward a Science of Translating. Leiden, 1964.

Tatiana Vitalievna Yudina (Saint Petersburg, Russia)

**THE ROLE OF TEXT CATEGORIES IN UNDERSTANDING
TRANSLATION AND INTERPRETING ISSUES**

The system of basic concepts developed within Text linguistics might be effectually used for further elaboration of crucial issues of translation and interpreting processes. In this article the author considers the system of text categories as a tool for pre-translation analysis of the original text and a set of criteria which could be used in assessment of translation and interpreting quality.

***Keywords:** translation\interpreting process, quality of translation and interpreting, textlinguistics, textuality, text category, sense of the text, unit of text*

ПРОБЛЕМЫ ЭМОТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА

УДК 81'42

О.С. Дудкин (Санкт-Петербург, Россия)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О СВОИХ ЧУВСТВАХ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВЬЮ

В статье рассматривается реализация эмотивной прагматической установки «проинформировать о своих чувствах». Материалом послужили интервью с президентом США Бараком Обамой и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, проведённые на английском и немецком языках, соответственно. Автором статьи предлагается классификация видов эмотивных ситуаций, основных типов эмотивных прагматических установок, а также описание метода «проникающего изучения категории эмотивности», который может быть применён при изучении категории эмотивности в различных видах текста.

Ключевые слова: эмотивная ситуация, эмотивная прагматическая установка, метод проникающего изучения категории эмотивности, интервью

В современной прагматической лингвистике, стилистике и психологии важными являются понятия *эмотивной ситуации* и *эмотивной прагматической установки* (ЭПУ). Согласно одному из появившихся в недавнее время подходов, исследование речи строится с учётом актуальных для говорящего или говорящих внеязыковых факторов.

Многие исследователи (В.И. Шаховский, О.Е. Филимонова, Е.П. Ильин) и, в частности, Л.Л. Нелюбин, исследуя вопросы лингвостилистики английского языка, приходят к выводу о важности учёта эмотивной ситуации при исследовании речи. На основе ряда общих факторов, таких, как эмоциональная настроенность общающихся, их отношение друг к другу, к предмету речи, положение участников общения в обществе (т. е. их ие-

рархический ранг) и некоторых других факторов, Л.Л. Нелюбин выделяет четыре основных типа эмотивных ситуаций:

1) возвышенная ситуация, т. е. ситуация, отмеченная торжественностью, праздничностью, официальностью, поэтическим восприятием действительности, изысканной вежливостью и т. д;

2) нейтральная ситуация, которая отмечена нулевой эмоциональностью и при которой никак не отражается отношение общающихся друг к другу и к происходящему;

3) ситуация фамильярного общения, т. е. ситуация, отмеченная непринуждённостью общения, когда наличествует слегка грубоватое обращение друг к другу, без особого почтения к предмету разговора и пр.;

4) ситуация вульгарного общения, отмеченная раздражением, предельной несдержанностью, когда общающиеся высказывают высшую степень презрения друг к другу или к предмету разговора, что превосходит все допустимые правила морали и нормы поведения и выражается в брани и т. д. [Нелюбин, 2008, с. 94]

Соответственно данной классификации приводится шкала эмоционально-стилистической окраски, свойственная современному английскому языку, согласно которой выделяются возвышенно-официальная лексика, нейтральная лексика, фамильярно-разговорная лексика и вульгарная лексика.

Под эмотивными ситуациями В.И. Шаховский понимает типичные жизненные (реальные или в художественном изображении) ситуации, в которых задействованы эмоции коммуникантов: речевых партнёров, – наблюдателя или читателя. Все эмотивные ситуации, согласно В.И. Шаховскому, градуированы, знание теории эмоций позволяет говорящему моделировать топоры своей вербалики: снижать или усиливать силу моделированной или вызываемой эмоции. Это знание позволяет говорящему предвидеть эмоциональную реакцию своего партнёра, адекватно распознавать эмоциональную составляющую общения, а иногда и манипулировать эмоциями партнёра по коммуникации. Однако окончательный вывод о характере выражаемой эмоции можно сделать только в конкретной ситуации, в связи с чем возможен вывод о дискурсивном характере эмоции [Шаховский, 2008, с. 130–131].

Эмотивная ситуация оказывает влияние на формирование эмотивной прагматической установки (ЭПУ). Под прагматиче-

ской установкой в широком смысле понимается явная или скрытая цель действия, высказывания и т. д., а под ЭПУ понимается связь с чувствами говорящего и/или адресата. Основные ЭПУ можно сформулировать как «поделиться своими чувствами», «проанализировать свои чувства», «узнать о чувствах адресата», «излить свои чувства», «узнать о чувствах третьего лица/лиц и т. д.» [Филимонова, 2007, с. 97–127].

Влияние эмотивной ситуации на формирование речи учитывает «метод проникающего изучения категории эмотивности» (ПИКЭ). Он был разработан и внедрён в практику О.Е. Филимоновой с целью изучения когнитивной структуры данной категории на основе её функционирования в разных типах текста. Данный метод включает в себя семь этапов. Первый этап предполагает сканирование текста, выявление потенциально эмотивно заряженных единиц текста на основе его беглого просмотра. Вторым этапом ПИКЭ является тестирование. Он связан с реконструированием эмотивной ситуации (ситуаций); выявляются участники эмотивной ситуации, которые являются носителями эмоционального состояния. На третьем этапе, носящем название «спецификация», определяются доминантная и сопутствующая эмотивные темы, а также выявляются особенности семантической организации текста. Четвёртый этап ПИКЭ – стратификация эмотивного арсенала – выявление эмотивных единиц разных типов (например, сверхфразовых единств, отдельных слов и высказываний), предполагающее выявление различных «слоёв» в линейном развёртывании текста. Пятый этап – дескрипция, которая предполагает лексико-грамматическое описание эмотивных единиц и связана с выявлением прагматических установок субъектов эмоционального состояния. На шестом этапе, получившем название «анимация», осуществляется стилистическая интерпретация функционирования эмотивных единиц. Седьмой и заключительный этап ПИКЭ представляет собой интеграцию, оценку роли эмотивных единиц в общей структуре текста [Филимонова, 2007, с. 83–86].

Рассмотрим фрагмент интервью американского президента Барака Обамы для общественно-политического издания «Новая газета».

Do you agree with the opinion expressed by many Russian and European politicians that the United States is primarily responsible

for the economic difficulties that their countries are now living through?

(1) *No. We all are experiencing a severe economic crisis that is affecting the lives of many people in countries around the world. This crisis resulted from a culture of irresponsibility regarding financial matters that took hold over a number of years in the United States, Europe and elsewhere. (2) I am proud of our efforts to lead by reforming our regulatory and supervisory systems and promoting an era of responsibility, so that the U.S. and global economies will be stable and growth will be sustained. We of course have an obvious interest in developing policies that stimulate economic growth in the United States, but we also believe that economic growth in our country also will nurture economic growth around the world, including in Russia.*

In the 21st century, we all – Americans, Russians, and everyone else – have an interest in fostering world economic growth that benefits us all. We need to spend less time thinking about who is to blame and more time working together to do what needs to be done to get all of our economies moving in the right direction. [<http://www.novayagazeta.ru/politics/44472.html>]

В данном случае носителем эмоций является интервьюируемый, а то или иное эмоциональное состояние может быть спровоцировано содержанием заданного интервьюером вопроса. Спецификация показывает, что в приведённом ответе по принципу эмоционального состава можно выделить две основные части, представляющие собой две полярные эмотивные темы, отмеченные цифрами 1 и 2. В первой части говорится о трудностях, возникших в мире в результате мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Говоря слова *«severe economic crisis that is affecting the lives of many people in countries around the world»*, президент, возможно, имеет в виду миллионы людей, потерявших рабочие места, самоубийства, спровоцированные критическим положением мировой экономики. Лексика данной части формирует доминантную эмотивную тему сопереживания, то есть переживания сходной с объектом эмоции. Психолог Е.П. Ильин, вслед за американским психологом С. Ашем, указывает, что сопереживание является одним из двух типов симпатии. Вторым типом является сочувствие. Разница между ними заключается

в том, что при сочувствии переживания субъекта и объекта не тождественны [Ильин, 2011, с. 391].

Можно констатировать, что в первой части ответа президент Обама использует преимущественно лексику с отрицательной коннотацией. Вторая часть выступает контрастом к первой, и её доминантной эмоцией видится надежда. Президент Обама сообщает об этих эмоциях, употребляя в своей речи слова, имеющие сильные эмоциональный заряд и коннотационное значение (отрицательные «severe» и «irresponsibility» в первой части и положительные «efforts», «responsibility», «develop», «economic growth», «benefits», «working together», «right direction» во второй части). Мы видим, что слов надежды и оптимизма в данном микротексте в целом прозвучало больше, что, надо отметить, характерно для речи политика. Эффект, созданный употреблением эмотивно заряженных лексем, усиливается путём прямой номинации эмоционального состояния (*I am proud*). Также, говоря о важности веры в дальнейший экономический рост, президент употребляет интенсификаторы «of course» и «obvious». Отдельного внимания заслуживает употребление местоимения «we» в начале ответа. Реализуя ЭПУ «проинформировать о своих чувствах» путём употребления перечисленных выше эмотивов, президент также указывает на сопереживание, на то, что проблемы касаются каждого человека, включая его самого. А.П. Чудинов пишет о разграничении политической коммуникации на «два ведущих вида дискурса: персональный (личностный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает как личность, со всеми присущими ей индивидуальными характеристиками и особенностями. Во втором случае говорящий выступает как представитель определённого социального статуса, что предоставляет соблюдение установленных статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных норм» [Чудинов, 2008, с. 54]. Безусловно, в данном случае мы имеем дело с институциональным характером коммуникации и видом дискурса. Соответственно, эмотивная ситуация данного интервью, относится к возвышенным и обязывает президента тщательно взвешивать слова перед тем, как высказать их. Однако хотелось бы отметить, что, находясь в рамках принятых социально-этических условностей, президент Обама имеет возможность включать в высказывание и личностный компонент. Так или иначе, интерес са-

мостоятельного политика предполагает ещё одну ЭПУ: «вызвать доверие», что и достигается апелляцией к эмоциям.

По такой же схеме реализуются схожие ЭПУ федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью немецкой газете «Bild»:

BILD: Frau Bundeskanzlerin, die Börsen stürzen weiter ab. Jedes fünfte Unternehmen plant Entlassungen. Millionen Deutsche bangen um ihre Jobs: Wie schlimm wird die Wirtschaftskrise noch?

Angela Merkel: *(1) Eine solche Rezession, die gleichzeitig in allen Ländern der Welt stattfindet, hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. (2) Sicher ist für mich aber auch: Deutschland ist besser als die meisten Länder in der Lage, diese Krise zu meistern: Ende 2008 hatten wir die höchste Beschäftigungszahl seit Jahrzehnten, die Haushalte wurden in den vergangenen drei Jahren in Ordnung gebracht, und das gibt uns jetzt die Kraft für das Banken- und das Konjunkturpaket. Wir wollen aus der Krise stärker herauskommen, als wir in sie hineingekommen sind.*

Барак Обама и Ангела Меркель имеют схожие социальные статусы и политические посты, и поскольку приведённое выше политическое интервью имеет схожие тематику и настроение, мы имеем дело с идентичными эмотивными ситуациями. Приёмы построения ответа у госпожи Меркель идентичны с приёмами президента США. Ответ на вопрос о кризисе можно разделить по тому же принципу, что и ответ президента Обамы. Употребление отрицательно заряженных слов «Rezession», «seit dem Zweiten Weltkrieg» и интенсификаторов «solche Rezession, noch nie» в первой части и «besser als die meisten Länder», «diese Krise zu meistern», «die höchste Beschäftigungszahl», «das gibt uns jetzt die Kraft», «aus der Krise stärker herauskommen» во второй части реализует аналогичную ЭПУ. Примечательным является то, что уже с первых слов, помимо выражения чувств и оценки политико-экономической ситуации, госпожа Меркель отсылает аудиторию к фактологической информации, которая должна давать надежду на выход из экономического кризиса.

Таким образом, на примере двух фрагментов интервью, мы видим, что при совпадении ЭПУ и эмотивной ситуации у коммуникантов, говорящих на разных языках, но обладающих схожими социальными статусами, наблюдается сходство в средствах репрезентации эмоций.

Список литературы

Ильин Е.П. Эмоции и чувства / 2-е изд. СПб., 2011.

Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка: Учебное пособие / 5-е издание. М., 2008.

Филимонова О.Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском тексте: Учебное пособие. СПб., 2007.

Чудинов А.П. Политическая лингвистика: Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / 3-е изд. М., 2008.

Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: Монография. М., 2008.

Электронные ресурсы

Электронное издание «Новая Газета»: [сайт]. URL: <http://www.novayagazeta.ru/politics/44472.html> (дата обращения: 14.12.2011)

Официальный сайт канцлера Германии Ангелы Меркель [сайт]. URL: http://www.bundeskanzlerin.de/nn_4922/Content/DE/Interview/2009/03/2009-03-12-merkelbild.html (дата обращения: 14.12.2011)

Doudkin Oleg Sergeevich (Saint Petersburg, Russia)

REALIZATION OF THE EMOTIVE PRAGMATIC PURPOSE “TO INFORM ABOUT FEELINGS” IN A POLITICAL INTERVIEW

The article considers the problem of the realization of the emotive pragmatic purpose “to inform about feelings” in English and German. The article is based on the interviews with the American President B. Obama and the German Chancellor Angela Merkel. The author of the article offers the classification of various types of emotive situations describes the main types of emotive pragmatic purposes and outlines the method of the “penetrating study of the category of emotiveness”.

Keywords: emotive situation, emotive pragmatic purpose, penetrating study of the category of emotiveness, interview

Е.А. Мартемьянова (Санкт-Петербург, Россия)

ТИПОЛОГИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО СУБЪЕКТА СОСТОЯНИЯ

В статье исследуется репрезентация эмотивных ситуаций с множественным субъектом состояния на примере эмоций семантического поля «страх». Обоснована необходимость выделения новых типов множественного субъекта состояния и представлена его типология. Исследование проводилось на материале современного англоязычного текста.

Ключевые слова: эмотивная ситуация, эмоция, множественный субъект состояния, типология, репрезентация, страх

В последние десятилетия активно развивается новое направление лингвистики – лингвистика эмоций. Категория эмотивности изучается в рамках различных направлений: структурно-семантического, стилистического, прагматического, когнитивного, психолингвистического, лингвокультурологического.

Когнитивно-дискурсивное направление в изучении эмоций в языке развивается преимущественно по линии исследования эмотивных концептов и особенностей репрезентации эмоций в разных типах текста, при этом за основу во многих случаях берется понятие эмотивной ситуации, то есть ситуации, в которой субъект испытывает определенные эмоции. Однако существующие исследования в основном посвящены изучению эмотивных ситуаций с единичным субъектом состояния, то есть носитель эмоционального состояния – отдельно взятое лицо. Обычно это автор высказывания или герой художественного произведения.

Возрастание интереса к политической лингвистике делает актуальным изучение того, как реализуются в языке и тексте эмоциональные состояния больших и малых групп людей, иначе говоря, множественного субъекта состояния. В настоящее время возрастает вовлеченность общественности в происходящие в мире процессы, что обусловлено условиями глобализации, а также развитием средств связи и передачи информации. Эмотивные ситуации с множественным субъектом состояния широко пред-

ставлены в современном англоязычном тексте, и в настоящее время, характеризующееся возрастанием социальной напряженности в силу экономических причин и природных катаклизмов, возникает потребность в изучении репрезентации таких ситуаций в тексте.

Первое обращение к этой теме позволило обосновать теоретический подход к исследованию эмотивности в ситуациях с множественным субъектом состояния [Филимонова, 2001], базирующийся на изучении российских и зарубежных лингвистических работ по эмоциологии и, прежде всего, исследований В.И. Шаховского [Шаховский, 1987; 1998 и др.]. В последующих работах были выявлены различные типы множественного субъекта состояния: широкой и узкой локализации, политические, национальные, стихийные, контекстуально-обусловленные широкого значения, семейно-бытовые и др. [Филимонова, 2005, 2010], однако предложенная О.Е. Филимоновой типология множественных субъектов состояния может быть детализирована и далее.

Под эмотивной ситуацией в данной статье понимается такая реальная или воображаемая ситуация, в которой субъект испытывает определенные эмоции. Поскольку исследуется множественный субъект состояния, то есть носителем эмоции является не один человек, а группы субъектов разной численности, интересным является определение термина «эмоция» с точки зрения социологии. Рассматриваемый феномен «перестает быть исключительно психофизиологическим и может быть обозначен как *эмоция* именно тогда, когда «становится частью коммуникации», элементом «взаимозависимости между людьми» [Деева, 2010, с. 137].

В психологии и социологии имеет место разделение эмоций на «базовые» (например, страх, радость, гнев, печаль) и «вторичные». Базовые эмоции стабильны, они ни на что не расщепляются и сами являются частью сложных эмоций (например, таких как гордость и стыд). Предполагается, что базовые эмоции в силу своей стабильности и неделимости часто встречаются у множественного субъекта состояния, поскольку группы людей, одновременно испытывающих определенную эмоцию, представляя собой «толпу», не контролируют выражение этой эмоции и не размышляют над её причиной и характером протекания.

«Коллективные эмоции» – важное для социологии эмоций понятие. Термин «коллективные эмоции» обозначает не эмоции внутри группы (т. е. эмоции между ее участниками), а именно разделяемое эмоциональное состояние» [Деева, 2010, с. 136–137]. Ключ к пониманию этого состояния лежит в понятии *effervescence* («волнения», «бурления»), которое Э. Дюркгейм использует в работе «Элементарные формы религиозной жизни». Именно оно позволяет акцентировать различия между индивидуальными и коллективными эмоциями. «Если индивидуальные эмоции соответствуют, прежде всего, обычному течению жизни, то коллективные возникают в ритуале». Они «вызваны и направляются внешней силой, которая заставляет человека мыслить и действовать иначе, чем в обычное время [Деева, 2010, с. 136–137].

Идеи И. Гофмана относительно переключения фреймов [Гофман, 2004, с. 106–108] раскрывают соотношение индивидуальных и коллективных эмоций во взаимодействии. В эмотивных ситуациях с множественным субъектом состояния, может иметь место переключение фрейма «личные эмоции» на фрейм «разделяемое эмоциональное состояние». Также разделяемым эмоциям может отводиться роль фона во взаимодействии. В любом случае, разделяемое эмоциональное состояние не отменяет личностных эмоций задействованных субъектов.

В настоящей статье на материале романа А. Рэнд «We the Living» и примеров, взятых из корпуса современного американского варианта английского языка [Brigham Young University], доступном на сайте <http://corpus.byu.edu/coca/>, анализируется репрезентация эмоций семантического поля «страх», то есть в рассматриваемых далее эмотивных ситуациях множественный субъект состояния испытывает базовую эмоцию «страх». Цель анализа – расширение предложенной ранее типологии множественного субъекта состояния (МСС). По результатам анализа были выделены следующие типы МСС: 1) семейно-бытовой, 2) профессиональный, 3) политический, 4) контекстуальный, 5) территориальный, 6) национальный, 7) расовый, 8) глобальный.

Рассмотрим перечисленные выше типы МСС подробнее, используя для иллюстрации материалы корпуса современного американского варианта английского языка и оригинальный текст.

1. Семейно-бытовой тип МСС.

«...*smile at the thought of her family's collective horror should she do so*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«*An*» *everybody scared, kids, parents!*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

2. Профессиональный тип МСС.

Этот тип МСС можно понимать как в узком, так и в широком смысле. Профессиональный множественный субъект состояния в узком смысле присутствует при указании на конкретную профессию:

«... *doctors fear she will lose an eye*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«*Prosecutors were still frightened of Arthur*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

Профессиональный множественный субъект состояния в широком смысле выражается объединением субъектов по некоему профессиональному признаку:

«*Banks could suffer huge losses on their bond portfolios; investors could panic and dump all European bonds*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«*Even though I'm exonerated, employers fear me because I...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

3. Политический тип МСС.

«*It didn't take long for the mood among Democrats to turn from fear of the party to fear of the citizenry*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«*The governments of many developing countries fear that ...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«*The Republicans say they're scared to go first on entitlements because ...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

4. Контекстуальный тип МСС (объединенный в каждом конкретном тексте по какому-либо признаку).

«...*search for number six had frightened all possible candidates away*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«...*to the horror of helpless customers and personnel*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

«...*acting talents afraid to come near anything so controversial*» [Rand, 465].

«*We need those who are not afraid of a little compromise*» [Rand, 306].

5. Территориальный тип МСС.

Следует отметить, что в данном случае территориальный тип МСС характеризует субъект состояния, а не место его расположения.

«...*the frightened Siberian peasants had ever seen*» [Rand, 28].

6. Национальный тип МСС.

«*The same apprehension led Iran to suspend weaponization in 2003...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«*The Arab world fears that...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«*Reagan's Star Wars forced the Soviet Union to collapse, forced it into bankruptcy. But that's not really what happened. Reagan's vision gave them a fright*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

7. Расовый тип МСС.

«*Overall, in my study, one out of every five serial killers is African-American. Blacks do this, too. There were whites who fed the fear in Atlanta...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

8. Глобальный тип МСС.

Глобализация обуславливает появление таких МСС, которые не укладываются в рамки территориального, национального, расового типов. В силу этого представляется целесообразным выделение глобального типа МСС, когда эмотивная ситуация объединяет большинство жителей планеты. Следует отметить, что в фантастических произведениях глобальный тип может не ограничиваться только планетой Земля.

«*In addition, the whole world fears Muslim terrorists will...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«...*suddenly sprouting in a global panic about collapsing ice sheets...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«*Fear is spreading around the globe*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

В примерах эмотивных ситуаций, приведенных ниже, МСС представлен безличной конструкцией, из анализа которой он может быть определен.

«*It raised fear about the dangers of nuclear power...*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>]

«...*there was no sense of panic in the room*» [<http://corpus.byu.edu/coca/>].

Отдельно следует отметить, что вышеперечисленные типы МСС могут включать или не включать автора высказывания.

«*We must lose our fear of change*» [<http://corpus.byu.edu/cosa/>].

«*Look how frightened they are*» [<http://corpus.byu.edu/cosa/>].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во-первых, проведенный анализ позволил выделить новые типы МСС (профессиональный, территориальный, расовый, глобальный) и проиллюстрировать примерами типы МСС, выделенные ранее. Во-вторых, множественный субъект ситуации может быть выражен как эксплицитно, так и имплицитно, в зависимости от макроконтекста ситуации. В-третьих, общим для 8 выделенных типов является то, что автор высказывания может быть включен или не включен в МСС. Таким образом, предложенная классификация уточняет и дополняет уже существующую, и может быть полезна для дальнейшего изучения репрезентации эмоций множественного субъекта состояния в современном англоязычном тексте.

Список литературы

Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / пер. с англ. М., 2004.

Деева М.И. От индивидуального к разделяемому аффекту: постдюркгеймианская традиция в социологии эмоций // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2, С. 134–154.

Филимонова О.Е. Категория эмотивности в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты): Дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2001.

Филимонова О.Е. Репрезентация эмотивных ситуаций с множественным субъектом состояния в английском тексте // *Studia Linguistica*. Вып. XIII. Когнитивные и коммуникативные функции языка. СПб., 2005. С. 187–193.

Филимонова О.Е. Эмотивные ситуации с множественным субъектом состояния // *Языковая личность в контексте времени: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, СПб., 2010. С. 20–22.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград, 1998.

Rand A. We the Living, L., 2009.

Электронные источники

Brigham Young University. The corpus of contemporary American English (COCA): [сайт]. URL: <http://corpus.byu.edu/coca/>

Martemianova Ekaterina Andreevna (Saint Petersburg, Russia)

TPOLOGY OF THE MULTIPLE SUBJECT OF THE STATE

The paper deals with the representation of emotive situations with the multiple subject of the state. The emotions of the semantic field “fear” are taken as an example. It is demonstrated that the split-off of the new types of the multiple subject of the state is necessary. Its typology is elaborated as a result of analysis of the contemporary English texts.

Keywords: emotive situation, emotion, the multiple subject of the state, typology, representation, fear

УДК 81'37

С.М. Пашков (Волхов, Россия)

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА СТРАХА КАК ДИСТИНКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОГОТИЧЕСКОГО РОМАНА

Статья посвящена сложной проблеме формирования эмоциональной доминанты страха в художественном тексте и дифференциации готического/неоготического романов, для которых эта доминанта является дистинктивной характеристикой.

Ключевые слова: антропоцентризм, художественный текст, эмоциональная доминанта, готический/неоготический роман, эмоция страха, *homo metuens*

Антропоцентризм современной научной парадигмы помещает в фокус исследований художественного текста человеческий фактор в языке и, в частности, эмоции, актуализируемые в сознании реципиента при восприятии художественного текста, а также способы их вербализации. Язык, как известно, обладает большой силой эмоционального воздействия, и часто «трагедия в вымышленном мире эстетической действительности волнует нас больше, чем трагедия в мире, окружающем нас» [Тураева, 1993, с. 28].

В исследованиях последних лет анализировались способы вербализации эмоций в текстах эпистолярного жанра, мемуарах, эссеистике и драме, в текстах детской литературы и в политическом тексте, в текстах психологической прозы, анекдота и сказки. Категория эмотивности в тексте подробно рассматривается в исследованиях В.И. Шаховского [Шаховский, 2008] и О.Е. Филимоновой [Филимонова, 2001]. Проблеме психологизма художественного текста посвящено исследование И.А. Щировой [Щирова, 2000, 2003], получившее развитие в ряде последующих работ автора.

При анализе научных работ, посвящённых описанию эмоций в языке, обнаруживается широкое терминологическое варьирование. В понятийно-терминологический аппарат исследователя

включаются понятия «эмоциональная окраска», «эмоциональная ситуация», «эмоциональный интеллект», «эмоциональная атмосфера» и др.

Моделируя эмоциональный мир при помощи тех или иных художественных средств, автор может преследовать разные цели и, в частности, может стремиться к созданию *доминирующей в тексте эмоциональной атмосферы, т.е. эмоциональной доминанты*. В учении А.А. Ухтомского, где и обнаруживаются истоки этого понятия, доминанта определяется как «господствующий очаг возбуждения, предопределяющий в значительной степени характер текущих реакций центров в данный момент» [Ухтомский, 2002, с. 39]. Экстраполяция идей А.А. Ухтомского в сферу искусства впервые обнаруживается у Б. Христиансена (цит. по: [Выготский, 1968, с. 204]). «Редко случается, что эмоциональные факторы эстетического объекта участвовали на равных условиях в действии целого; естественно, напротив, что отдельный фактор или сочетание некоторых из них выдвигается на первый план и берёт на себя руководящую роль» [Христиансен, 1911 с. 204]. Доминанта то же, что «строение костей в органическом теле, она включает тему целого, поддерживает это целое, всё вступает в отношение к ней» [там же]. По мнению Б. Христиансена, чтобы понять художественное произведение, «необходимо почувствовать и выделить доминанту и отдалиться её движению; она одна общается всякому другому элементу и целому их конечный смысл [там же]. Идея доминанты в текстолингвистике нашла широкое и плодотворное применение. В зависимости от подхода исследователя, в тексте выделяются, анализируются и моделируются различные типы доминант и, в частности, упоминавшаяся нами эмоциональная доминанта текста [Шаховский, 2008, с. 20].

В.А. Пицальникова дает следующую дефиницию эмоциональной доминанте: «Ведущая эмоция, фиксированная в тексте, проявляется для реципиента как эмоциональная доминанта текста, а производные – как модификации доминантной» [Пицальникова, 2003, с. 119]. В.И. Шаховский трактует эмоциональную доминанту как превалирующую эмоцию, которая «определяет намерение автора «раскрасить» свой текст, т. е. придать ему нужный оттенок» [Шаховский, 2008, с. 237]. Кроме того, по мнению, В.И. Шаховского, эмоциональная доминанта в художественном

тексте может модифицироваться за счет преобладающих и постдоминантных эмоций: первые нагнетают, вторые гасят доминанту, что указывает на её динамический характер [там же, с. 242]. Следует отметить, что есть мнение, согласно которому «торможение» доминанты может отсутствовать [Филимонова, 2007, с. 124].

Как ведущая эмоция художественного текста эмоциональная доминанта «привязана» к тому или иному жанру или, в собственном лингвистической терминологии, к типу текста. Так, невозможно представить, что в комедии эмоциональной доминантой будет страх, а в трагедии – радость. Интересующие нас готический и неоготический романы рассматриваются как самостоятельные жанры, в которых доминирует эмоция страха [Васильева, 2005; Morrow, McGrath, 1991].

На сегодняшний день проблема готического романа наиболее подробно разрабатывается в литературоведении. К деструктивным характеристикам готического романа обычно относятся следующие характеристики:

- **особый хронотоп** (события разворачиваются в эпоху средних веков в пространстве средневековых зданий: замка, аббатства, башни, собора, и т. п.);

- **этический конфликт**, связанный с проблемами преступления и наказания и такими мотивами, как общение с дьяволом, родовая вина, родовое проклятье, возмездие;

- **присутствие** (и в хронотопе, и в сюжете) **сверхъестественного** [Малкина, 2002, с. 37].

Готический роман возникает на рубеже XVIII-XIX веков как реакция на рационализм эпохи Просвещения и претерпевает ряд трансформаций, в которых закономерно отражаются изменения в жизни социума. В последние десятилетия XX века появляется наименование «неоготика» [Осовский, 2001, с. 636]. Нередко исследователи именуют неоготические произведения иначе, как готическую прозу модернизма и постмодернизма, постготическую прозу, готические модификации, трансформации и т. д. Автор статьи разделяет точку зрения тех исследователей [Красавченко, 2001, с. 186; Осовский, 2001, с. 636; Боров, 2002, с. 309; Соловьёва, 2009, с. 31], которые признают наличие жанра «неоготический роман».

В неоготическом романе XX начала XXI века выделяются следующие дистинктивные характеристики, отличающие его от традиционного готического романа XVIII–XIX веков.

- иронически-пародийное звучание [Красавченко, 2001; Колядко, 2010].

- усиление психологизации повествования [Васильева, 2005; Колядко, 2010].

- устрашающая функция сверхъестественного начала, которое воспринимается как символ зла, в отличие от сакральной функции сверхъестественного в традиционной готике [Васильева, 2005; Колядко, 2010].

- человек (а не потусторонние силы; ср. готический роман) как источник зла (*evil that is locked in the mind*) [Morrow, McGrath, 1991].

- направленность против реализма и просветительской традиции [Соловьёва, 2009].

- акцент на институте брака и нетрадиционных сексуальных отношениях между полами в XX в. [Соловьёва, 2009].

В современной литературе наблюдается повышенный интерес к готическому. Высказывается мнение, что «мы живём в готическое время» (А. Картер) Объяснением этому может служить такая дистинктивная характеристика «готического/неоготического», как фундаментальная эмоция *страха*. «Готика – при своей способности заставлять сердце биться быстрее – всегда будет актуальной» [Соловьёва, 2009, с. 38–39]. После мировых войн страх бытия не только усиливается, меняются его истоки: они обнаруживаются в темной бездне человеческой души [Васильева, 2005; Morrow, McGrath, 1991]. В обществе возрастает роль институтов подавления личности, – власти, науки, человек испытывает страх перед угрозами терроризма и тотальной войны. В сегодняшнем мире больше, чем когда либо, средств, знаний, техники, а в результате «мир как никогда злосчастен – его сносит течением» [Ортега-и-Гассет, 2002, с. 45]. Мир глубоко деморализован, насилие стало бытом и достигло своего апогея [там же, с. 109, 173], «душевный герметизм» и «духовные шатания» (фразеология Ортеги) – определяющие характеристики современного человека как «человека боящегося» (*homo metuens*)

В традиционной готике страх относится к прошлому, в новой готике (неоготике) персонажа пугает настоящее и будущее. Не-

оготическая проза, с этой точки зрения, является фокусом проблем современного общества, что подтверждает актуальность её исследования, в том числе с позиции языковой репрезентации доминирующей в неоготике эмоции страха.

Список литературы

Борев Ю.Б. Эстетика. М., 2002.

Васильева И. Готическая проза // Энциклопедический словарь английской литературы XX века / отв. ред. А.П. Саруханян. М., 2005. С. 115–118.

Выготский Л.С. Психология искусства, М., 1968.

Колядко Н.В. Англоязычная готическая традиция в романах экспериментального цикла Джойс Кэрол Оутс. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2010.

Красавченко Т.Н. Готический роман // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина, М., 2001. С. 184–186.

Малкина В.Я. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. Тверь, 2002.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Пер. с исп. М., 2002.

Осовский О.Е. Неоготика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина, М., 2001. С. 636.

Пищальникова В.А. Эмоциональная доминанта текста: переводческий аспект // Эмотивный код языка и его реализация. Волгоград, 2003. С. 117–120.

Соловьева Н.С. Социальные и гуманитарные науки. // Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. М., 2009. С. 30–39.

Тураева Э.Я. Лингвистика текста: Лекции. СПб., 1993.

Ухтомский А.А. Доминанта. СПб., 2002.

Филимонова О.Е. Категория эмотивности в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты). Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2001.

Филимонова О.Е. Репрезентация социальных эмоций в благотворительном тексте // *Studia Linguistica*. Вып. XVI. Язык. Текст. Культура. СПб., 2007. С. 118–122.

Христиансен Б. Философия искусства. СПб., 1911.

Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: Монография. М., 2008.

Щирова И.А. Художественное моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе XX века. СПб., 2000.

Щирова И.А. Психологический текст: деталь и образ. СПб., 2003.

Morrow B, McGrath P. The New Gothic. New York, 1991.

Pashkov Sergey Mikhailovich (Saint Petersburg, Russia)

EMOTIONAL DOMINANT OF FEAR AS A DISTINCTIVE CHARACTERISTIC OF NEOGOTHIC NOVEL

The article dwells on a complex problem of forming emotional dominant of fear in fiction and differentiating a gothic novel from a neogothic novel, the emotional dominant of fear being treated as a distinctive characteristic of both of them.

Keywords: anthropocentrism, fiction, emotional dominant, gothic / neogothic novel, emotion of fear, homo metuens

УДК 811.11 42

М.С. Соловьева (Санкт-Петербург, Россия)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОТИВНОГО ФРЕЙМА «УТРАТА» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЭЛЕГИИ

В статье рассматривается эмотивная ситуация утраты как основа плана содержания текста элегии. Данная эмотивная ситуация представлена в виде эмотивного фрейма «Утрата». Исследуется репрезентация основных его элементов в тексте англоязычной элегии.

Ключевые слова: элегия, англоязычная поэзия, типология текста, эмотивная ситуация, эмотивный фрейм, утрата, смерть

Современные словари английского языка дают следующее определение элегии: *a sad poem or song, especially about someone who has died* [Longman Dictionary of Contemporary English Online. <http://www.ldoceonline.com/dictionary/elegy>]; *1 a poem in elegiac couplets 2 a: a song or poem expressing sorrow or lamentation especially for one who is dead b: something (as a speech) resembling such a song or poem a: a pensive or reflective poem that is usually nostalgic or melancholy* [Merriam-Webster. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/elegy>].

Поэт С.Т. Кольридж (1772–1834) отметил: «В элегии каждый предмет представлен как утраченный или ушедший, или отсутствующий и ожидаемый в будущем» [Kennedy, 2007, р. 4]. Современная исследовательница Кэрен Вайсман называет элегию поэтическим обрамлением утраты [Weisman, 2010, р. 1]. Можно предположить, что для носителей английского языка наиболее типичными образцами элегии являются стихотворения, посвященные оплакиванию умершего, и, в более широком смысле, стихотворения, посвященные теме утраты. Таким образом, основой плана содержания элегического текста является эмотивная ситуация утраты, различными способами отображаемая в плане выражения.

О.Е. Филимонова [Филимонова, 2007, с. 55–56] рассматривает эмотивную ситуацию как одну из категориальных ситуаций,

выделяемых А.В. Бондарко (Ср.: аспектуальные, темпоральные, таксисные, модальные, квалитативными, локативные, бытийные, посессивные и др.), каждая из которых «представляет собой один из аспектов «общей ситуации», передаваемой высказыванием, одну из его категориальных характеристик» (цит. по: [Филимонова, 2007, с. 55–56]). Под эмотивной ситуацией «понимается абстрактный инвариант реальных жизненных ситуаций, в которых субъект испытывает какие-либо чувства» [там же; с. 73]. Инвариантная когнитивная модель эмотивной ситуации может быть представлена как $S(n) \text{ feel } Emo(n)$, где S – «субъект, испытывающий эмоциональное состояние», n – «возможное число субъектов или состояний, большее, чем единица», а $feel$ – «указание на наличие у субъекта или субъектов определенного эмоционального состояния в настоящем или прошлом либо его потенциальную возможность в будущем» [там же, с. 71].

Эмотивная ситуация может быть представлена как фрейм, т. е., согласно Д.В. Марковой, как «общая структуру организации знаний, связанных с эмотивным концептом» [Маркова, 2008, с. 8–9].

Попробуем представить эмотивную ситуацию «Утрата» в виде эмотивного фрейма. В качестве основных компонентов (слотов) такой фрейм будет включать ряд элементов, которые можно предварительно обозначить как: **a) субъект** (в элегии, как правило, совпадающий с лирическим героем), **b) объект** (одушевленный или неодушевленный), **с) эмоции, испытываемые по отношению к объекту** – любовь (например, супружеская, родительская), привязанность, восхищение, дружеские чувства и т. п., **d) обстоятельства утраты объекта** (в частности, смерть), **е) эмоции, вызванные утратой объекта**. Текст элегии можно рассматривать как проекцию этого фрейма на парадигматическую ось.

В разных текстах в большей или меньшей степени актуализируются различные элементы эмотивного фрейма «Утрата» (при этом другие элементы, как правило, тоже представлены, но в менее развернутом виде). Например, в ряде произведений на первое место выходит элемент «**обстоятельства утраты**» (**d**). Он может быть представлен по-разному.

В одних случаях лирический герой (субъект утраты) присутствовал при кончине близкого ему человека (объекта утраты)

либо был рядом с ним незадолго до смерти, и в элегии воспроизводятся болезненные подробности этих последних дней или часов, проведенных с умирающим. Таковы, в частности, стихотворения «Elizabeth Gone» Энн Секстон [Parini, 2005, p. 228] и «Our Lady of Perpetual Loss» Деборы Миранда [Poetry Foundation: URL: <http://www.poetryfoundation.org/poem/240156>].

Рассмотрим второе из них:

*Maybe all losses before this one are practice:
maybe all grief that comes after her death seems tame.
I wish I knew how to make dying simple,
wish our mother's last week were not constructed
of clear plastic tubing, IVs, oxygen hiss,
cough medicine, morphine patches, radiation tattoos,
the useless burn on her chest.
I'm still the incurable optimist, she whispers,
You're still the eternal pessimist.
My sister sleeps on a sofa; our brother, exhausted,
rolls up in a blanket on the hard floor.
Curled in a rented white bed, our mother's body
races to catch up with her driven, nomadic soul.
Those nights alone, foster care, empty beer bottles
taught us she was always already vanishing.*

Вводная часть – экспликация эмоций в связи с утратой объекта (e) – занимает всего две строчки, которые, однако, недвусмысленно свидетельствуют об интенсивности чувства утраты и значимости этого эмоционального опыта для последующей жизни лирической героини. Используется метафора: «*all grief that comes after her death seems tame*». Метафорический концепт GRIEF AS A WILD ANIMAL не является индивидуально авторским (ср. достаточно распространенные выражения «to tame grief», «wild grief»), однако, в рамках данного двустишия создает достаточно яркий образ. Переживание потери матери уподобляется укрощению дикого животного, требующему предварительной тренировки («*maybe all losses before this one are practice*») и позволяющему в дальнейшем относительно безопасно сосуществовать с ним.

В основной части стихотворения (строки 3–17) рассказывается о последних днях жизни матери (d). Эмоции лирической героини выражаются эксплицитно в строке «*I wish I knew how to make*

dying simple...», и читателю дается понять, что её горе вызвано не только самой смертью матери, но и ее болезненными обстоятельствами. Последняя неделя жизни метафорически представлена как некий физический объект, построенный (*constructed*) из предметов, окружавших женщину перед смертью («*clear plastic tubing, IVs, oxygen hiss, cough medicine, morphine patches, radiation tattoos, the useless burn on her chest*»). Медицинские процедуры, шепот умирающей, близкие родственники перед лицом горя – каждая деталь навсегда врезалась в память лирической героини.

В других произведениях лирический герой не присутствует при смерти близкого человека. Так, в стихотворении «The Call» Кэрол Муск-Дьюкс [Parini, 2005, p. 248] героиня по телефону узнает о тяжелом состоянии мужа от сотрудников больницы, где он вскоре скончался. Излагается разговор потрясенной женщины с медсестрой, рассказывающей ей о происходящем, обстановка разговора также обрисована достаточно четко; как и в рассмотренном ранее стихотворении, перечисляются детали:

«Our kitchen, the dishes

in the sink, the stove, that shocked gaze meeting mine»

(имеется в виду дочь героини и ее мужа)... Женщина не стала непосредственной свидетельницей смерти любимого человека, но все, происходившее с ним в последние минуты живо представляется ей:

«your eyes wide

in that room where you lay, rapidly dying/ beyond the open receiver.

The shouting technicians

hovering over your body...».

Объект (b) утраты также может становиться основным фокусом произведения. Так, читателю ничего не сообщается об обстоятельствах смерти отца лирической героини элегии Энн Стивенсон (Elegy) [Poetry Foundation, <http://www.poetryfoundation.org/poem/180227>]. Внимание сосредоточено на фигуре отца, точнее – на его увлечении игрой на фортепиано:

«Whenever my father was left with nothing to do (...)

he played the piano»

«Only at the piano did he become

*the bowed, reverent, wholly absorbed Romantic»
«For years I thought fathers played the piano
just as dogs barked and babies grew»*

Фортепианная игра неразрывно связана в памяти героини с образом отца:

*«Now I'm the grandmother listening to Steve at the piano.
Lightly, in strains from Brahms-Haydn variations,
his audible image returns to my humming ear».*

Иногда внимание автора фокусируется непосредственно на самом **чувстве утраты (е)**. Так, лирическая героиня стихотворения Линды Пастан «The Five Stages of Grief» [Parini, 2005, p. 232] анализирует переживания, испытанные ею в течение года после потери любимого человека.

Представление о пяти стадиях горя заимствовано из книги Элизабет Кюблер-Росс [Kübler-Ross, 1969]. Там речь идет об этапах, которые проходит человек, вынужденный смириться, в первую очередь, с мыслью о собственной скорой смерти, а также со смертью (предстоящей или свершившейся) близкого человека или с другими травмирующими обстоятельствами: Denial, Anger, Bargaining, Depression, Acceptance. В стихотворении эти этапы метафорически представлены как ступеньки лестницы:

*«Go that way, they said,
it's easy, like learning to climb
stairs after the amputation»*

В финале стихотворения этот образ осложняется: «лестница» оказывается «винтовой»:

*«Acceptance. I finally
reach it.
But something is wrong.
Grief is a circular staircase»*

То есть, пройдя все описанные стадии горя, героиня все еще не в состоянии принять потерю. Можно сказать, что и само стихотворение имеет «кольцевую» структуру – в первой и последней строках – то есть, в сильных позициях – используется глагол to lose. Но если в первой строке он употреблен в форме Past Simple («The night I lost you»), то в последней («I have lost you») используется форма Present Perfect, что подчеркивает интенсивность, «свежесть» чувства утраты. Несмотря на то, что со смерти люби-

мого прошел уже год, героиня по-прежнему ощущает его утрату как происшедшую недавно и оказывающую непосредственно влияние на ее эмоциональное состояние в данный момент.

Различные элементы эмотивного фрейма «Утрата» могут быть представлены эксплицитно в рамках одной элегии. Так, в стихотворении Т. Ритке «Elegy for Jane» [Parini, 2005, p. 222-223] сочетается описание **объекта (b)** (студентки автора, погибшей во время верховой езды):

«I remember the neckcurls, limp and damp as tendrils;

And her quick look, a sidelong pickarel smile...»,

выражение чувств автора к ней (c):

«My maimed darling, my skittery pigeon.

Over this damp grave I speak the words of my love»,

неразрывно связанных с горечью утраты (e)

«My sparrow, you are not here,

(...)The sides of wet stones cannot console me,

Nor the moss, wound with the last light».

В подзаголовке также кратко сообщается об обстоятельствах смерти девушки (d) – «*My student, thrown by a horse*». Сочетание этих эксплицитно выраженных элементов эмотивного фрейма «Утрата» обеспечивает сильнейшее эмоциональное воздействие на адресата (читателя).

Репрезентация эмотивного фрейма «Утрата» в элегии и акцентуация различных его элементов в качестве возможной основы типологии элегических текстов требует дальнейшего исследования.

Список литературы

Маркова Д.В. Репрезентации эмотивных концептов в текстах англоязычного анекдота. Автореф. дисс... канд. филол. наук. СПб., 2008.

Филимонова О.Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском тексте. СПб., 2007.

Kennedy D. Elegy. The New Critical Idiom. London, 2007.

Kübler-Ross E. On Death and Dying. NY., 1969.

Weisman K. Introduction // The Oxford Handbook of the Elegy. Oxford, 2010.

Электронные источники

Parini J. The Wadsworth Anthology of Poetry. 2005: [сайт]. URL: http://books.google.ru/books/about/The_Wadsworth_Anthology_Of_Poetry.html

Longman Dictionary of Contemporary English Online: [сайт]. URL: www.ldocoeonline.com/

Merriam-Webster Dictionary: [сайт]. URL: <http://www.merriam-webster.com/>

Poetry Foundation.: [сайт]. URL: <http://www.poetryfoundation.org>

Solovyova Maria Sergejevna (Saint Petersburg, Russia)

**REPRESENTATION OF THE EMOTIVE FRAME «LOSS»
IN THE ENGLISH ELEGY**

The article treats the emotive situation of loss as the basis of the plane of content in an elegiac text. This emotive situation is presented in the form of emotive frame «Loss». The author investigates the representation of its basic elements in the English elegiac texts.

Keywords: elegy, English poetry, text typology, emotive situation, emotive frame, loss, death

А.О. Тананыхина (Санкт-Петербург, Россия)

**ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОТИВНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ «ДОБРО» И «ЗЛО»
В СКАЗКЕ ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»**

В статье освещается репрезентация концептов «добро» и «зло», формирующая основу развития сюжета современной англоязычной литературной сказки. Концептуальный анализ текста сказки позволил сделать вывод о том, что языковое выражение эмотивных художественных концептов «добро – зло» представлено действиями персонажей сказки и выражено лексическими средствами, обладающими положительными и отрицательными коннотациями, а также нейтральными языковыми средствами, приобретающими положительные и отрицательные коннотации в контексте.

Ключевые слова: концепт, базовый концепт, «парные концепты», эмотивность, антиномия, функции, лексические средства

Основной коллизией современной британской литературной сказки, основой развития сюжета является оппозиция, противоборство концептов «добро» и «зло». Общеизвестно, что концепты «добро» и «зло» являются базовыми концептами человеческого общества, и на всем протяжении истории человечества формировались представления о добре и зле. Рассматривая двойственность человеческой природы, психологи А.М. Попов, А.П. Кашин и Т.А. Старшинова в книге «Добро и Зло в психологии человека» пишут, что двойственность представляет собой идею диалектического взгляда на любое явление, на любую целостность и в том числе на реально живущего человека. Явление поведения личности позволяет выделить в нем два полюса. На одном из них сосредоточивается то, что на другом существует как противоположное и может рассматриваться в том числе и как доброе и злое [Попов, Кашин, Старшинова, 2000, с. 11]. Добру всегда сопутствует зло. Более того, если бы не было добрых людей, то порок не смог бы

проявиться, поскольку некому было бы вредить. Взаимосвязь добра и зла проявляется и в том, что и добро и зло имеют не только частный, личностный, а еще и всеобщий характер. Получается так, что добрый добр не только лично для себя, но и для других, а возможно для всех, точно также злой зол не для себя только, а для всех [Борисов, 1995, с. 20–21].

В духовном мире, как и в физическом, все взаимосвязано, нет ничего обособленного; добро и зло – две стороны одного и того же явления – нравственности. Понятие «добро» предполагает непременно столкновение двух начал: доброго и злого, выявляющихся в этом столкновении [Мишин, 2004, с. 196–197].

В настоящем исследовании, мы, вслед за М.В. Никитиным, полагаем, что концепт представляет собой сложную вероятностную структуру, образуемую вероятностными оценками обыденного сознания – оценками приближительными, но сходными у членов однородного социума. В глобальной структуре концепта вычлениаются когнитивная и прагматическая (эмотивно-оценочная) части, коррелирующие между собой своими элементами. Концепты – сложные многоаспектные ментальные образования со стохастической структурой, обусловленной вероятностной природой действительного мира и многообразием тех функций, которые психика призвана выполнять, обеспечивая целесообразную деятельность и благополучное существование человека [Никитин, 2003, с. 173–175].

Концепты «добро» и «зло» не существуют изолированно, их невозможно рассматривать один без другого. Для того, чтобы выявить их сущность, структуру, их необходимо исследовать только вместе. Неслучайно многие исследователи отмечают, что добро и зло могут переходить друг в друга. По мнению многих ученых, семантическая и ментальная изменчивость многих концептов проявляется в отсутствии четких границ между ними [Лихачев, 1993, с. 7]; [Попова, Стернин, 1999, с. 11]. Семантическое и ментальное непостоянство концептов проявляется также и в смене составляющих концептов, переоценке ценностей и возможности смотреть на концепт с разных позиций [Сафонова, 2003, с. 40–41]. Можно в качестве примера привести притчу о представителях разных этносов – вожде африканского племени каннибалов и европейце. Европейец обвиняет каннибала в безнравственности,

которая есть зло, и преступлении против человечности. Аргументация каннибала заставляет задуматься о том, что зло может восприниматься и как добро. «Мы, – сказал вождь, – убиваем себе подобных, когда голодны, нам необходимо спасти племя от вымирания. А вы в войнах убиваете себе подобных просто так» [Сафонова, 2003, с. 41].

Поскольку концепты «good» и «evil» или «добро» и «зло» являются основополагающими эмотивными художественными концептами, лексическое их представление многопланово и объемно. В Macmillan English Dictionary for Advanced Learners дается определение понятиям «good» и «evil». Описание лексическое единицы «good» в словарной статье представлено следующим образом: 1) advantage or benefit; ... 2) morally correct behaviour; ... 2a) **the good people who behave in a morally correct way** – opposite EVIL; ... 3) the pleasant part or aspects of something [Macmillan Publishers Ltd., 2007: 649]. Структура лексического значения слова «evil» состоит из следующих компонентов: 1) a power that makes people do very bad and cruel things; ... 1a) very bad or cruel behaviour; ... 2) something that is very bad [Macmillan Publishers Ltd., 2007, p. 506]. Необходимо отметить, что в обеих статьях, посвященных описанию лексических значений «good» и «evil», выявляется особая антиномия, которая состоит в противопоставлении действий или поведения людей. Рассмотрение действий персонажей, или, в терминологии В.Я. Проппа, функций действующих лиц, явилось основой, позволившей В.Я. Проппу сделать вывод о том, что именно «функции представляют собой основные части сказки» [Пропп, 2003, с. 21], причем эти функции «действительно представляют собой повторные, постоянные величины сказки» [Пропп, 2003, с. 21]. Также как и в фольклорной сказке, лексическая репрезентация концептов «добро» и «зло» в литературной сказке представляет собой в первую очередь описание действий персонажей, что и формирует вербальное представление концептов «good» и «evil».

Рассмотрим фрагменты репрезентации концептов «добро» и «зло» в сказке Дж. Роулинг «Harry Potter and the Philosopher's Stone». Репрезентация концепта «зло» представлена лексическими единицами, описывающими действия персонажей сказки. Тетя, дядя и кузен Дадли постоянно обижают Гарри Поттера:

1. Harry was used to spiders, because the cupboard under the stairs was full of them, and that was where he slept [Rowling, 1997, p. 20].

2. The Dursleys often spoke about Harry like this, as though he wasn't there – or rather, as though he was something very nasty that couldn't understand them, like a slug [Там же, p. 22].

3. Dudley's favourite punch-bag was Harry ... [Там же, p. 20].

4. Perhaps it had something to do with living in a dark cupboard, but Harry had always been small and skinny for his age. He looked even smaller and skinnier than he really was because all he had to wear were old clothes of Dudley's and Dudley was about four times bigger than he was ... He wore round glasses held together with a lot of Sellotape because of all the times Dudley had punched him on the nose. [Там же, p. 20].

5. At school, Harry had no one. Everybody knew that Dudley's gang hated that odd Harry Potter in his baggy old clothes and broken glasses, and nobody liked to disagree with Dudley's gang [Там же, p. 27].

Лексически концепт зла реализуется в глаголах действия и состояния, содержащих эмотивные семы, равно как и прямую номинацию состояний персонажей (hated, had punched, liked to disagree), существительных, содержащих отрицательную коннотацию (spiders, punch-bag, slug, gang), прилагательных, в которых тоже содержится отрицательная коннотация (dark, nasty, broken), словосочетаниях, имеющих также отрицательную коннотацию (the cupboard under the stairs, living in a dark cupboard, baggy old clothes, broken glasses), выразительных сравнениях (as though he was something very nasty.... like a slug). Для реализации концепта зла используются и разнообразные стилистические средства, в частности, метафора (Dudley's favourite punch-bag was Harry), на синтаксическом уровне используется подхват (he had to wear were old clothes of Dudley's and Dudley was about four times bigger than he was), который показывает связь между двумя идеями и увеличивает экспрессивность и ритмичность фразы; синтаксическая компрессия (At school, Harry had no one), где пропущен логически необходимый элемент высказывания – friend, что подчеркивает одиночество мальчика, а также полисиндетон (Everybody knew that Dudley's gang hated that odd Harry Potter

in his baggy old clothes and broken glasses, and nobody liked to disagree with Dudley's gang), подчеркивающий, что перечисление не является исчерпывающим, к тому же каждый присоединенный союзом *and* элемент оказывается выделенным, и высказывание становится еще более экспрессивным и ритмичным.

В противовес концепту «зло», в сказке формируется концепт «добро», который, в свою очередь, также состоит из множества элементов, являющихся конкретными действиями персонажей сказки. Несмотря на суровую внешность, на то, что манера говорить Хагрида отличается просторечием (его речь часто неправильна, содержит большое количество ошибок), он по-настоящему добр к Гарри и становится первым его другом. Гарри впервые в своей жизни получает подарок в день рождения:

6. «Anyway – Harry», said the giant, turning his back on the Dursleys, «a very happy birthday to yeh. Got summat fer yeh here – I mighta sat on it at some point, but it'll taste all right» From an inside pocket of his black overcoat he pulled a slightly squashed box [Там же, p. 40].

С волнением и огромным чувством благодарности принимает мальчик свой первый подарок:

7. Harry opened it with trembling fingers. Inside was a large, sticky chocolate cake with *Happy Birthday Harry* written on it in green icing. Harry looked up at the giant. He meant to say thank you, but the words got *lost* on the way to his mouth [Там же, p. 40].

Концепт «добро» реализуется с помощью нейтральных глаголов, приобретающих положительную коннотацию в контексте (*pulled, opened*), кинемы (*Harry looked up at the giant. He meant to say thank you, but the words got lost on the way to his mouth*), существительных, имеющих узуальную положительную коннотацию (*birthday*), или приобретающих положительную коннотацию в контексте (*cake*), словосочетаниях, имеющих положительную коннотацию в контексте (*a slightly squashed box; a large, sticky chocolate cake*). Стилистически концепт добра выражается при помощи фонетических и графических средств, которые передают особенности звучания речи Хагрида; чтобы передать добродушную просторечную речь великана Хагрида, автор прибегает к графону – сознательному искажению общепринятого графического облика слов для более адекватной передачи перераспределения фонемного состава слов, отражающего их истинное звучание

(a very happy birthday to yeh; Got summat fer yeh here – I mighta sat on it at some point).

Заключительное для сказки «Harry Potter and the Philosopher's stone» сражение добра со злом происходит между Гарри Поттером и Вольдемортом. На стороне Вольдеморта выступает Квиррелл, а рядом с Гарри его преданные друзья Гермиона и Рон. Гермиона побеждает дьявольские силки (Devil's Snare) [Там же, р. 202], а Рон выигрывает в беспощадной сказочной шахматной партии, в которой ему приходится пожертвовать собой [Там же, рр. 204–206]. Гарри преодолевает все испытания, храбро и отважно сражается со злом и одерживает победу. Добро, как и всегда в сказке, побеждает. Вольдемонт и Квиррелл не могут убить Гарри, так как любовь матери защищает его даже после ее смерти. Профессор Дамблдор (Dumbledore) объясняет Гарри:

8. Your mother died to save you. If there is one thing Voldermort cannot understand, it is love. He didn't realize that love as powerful as your mother's for you leaves its own mark... It is your very skin. Quirrell, full of hatred, greed and ambition, sharing his soul with Voldermort, could not touch you for this reason. It was agony to touch a person by something so good [Там же, р. 216].

Концепт «добро» репрезентирован лексическими единицами, описывающими действия персонажей сказки, он также находит лексическое подкрепление в виде глагола, имеющего положительную коннотацию (save), а также глаголов действия и состояния, приобретающих положительную коннотацию в контексте (cannot understand, didn't realize, leaves, could not touch, to touch), а также прилагательных с положительной коннотацией (powerful, good). В свою очередь, концепт «зло» представлен лексическими единицами, описывающими действия персонажей, кроме того, он реализуется с помощью существительных с отрицательной коннотацией (hatred, greed, ambition) и метафоры (sharing his soul with Voldermort).

Таким образом, языковое выражение эмотивных художественных концептов «добро» и «зло» представлено действиями персонажей сказки и выражено лексическими средствами, обладающими положительными и отрицательными коннотациями, а также нейтральными языковыми средствами, приобретающими положительные и отрицательные коннотации в контексте.

Список литературы

- Борисов А.Г. Добро и Зло. Материал для лекции. (В помощь студентам и учащимся, изучающим этику). Саратов, 1995
- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз., Вып.1. 1993. С. 3–9.
- Мишин П.Я. Добро и зло, правда и ложь. Общечеловеческие основы нравственности в изречениях и пословицах разных времен и народов. Оренбург, 2004.
- Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. СПб., 2003.
- Попов Л.М., Кашин А.П., Старшинова Т.А. Добро и Зло в психологии человека. Казань, 2000.
- Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2003.
- Сафонова Н.В. Концепт благо/добро как сегмент ментального поля нации (на материале русского языка). Тамбов, 2003.
- Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Second Edition International Student Edition. Macmillan Publishers Limited, 2007.
- Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone. London: Bloomsbury, 1997.

Tananykhina Alla Olegovna (Saint Petersburg, Russia)

THE LINGUISTIC MEANS OF REPRESENTATION OF THE CONCEPTS «GOOD» AND «EVIL» IN THE FAIRY TALE «HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE» BY J. ROWLING

The article renders the basis of the plot development of the modern English literary fairy tale – the opposition of concepts «good» and «evil». The cognitive-conceptual analysis of the fairy tale revealed that linguistic representation the dichotomy of “good and evil” concepts consists in the activities of the characters and is represented by lexical means with positive or negative connotations, and neutral linguistic means, acquiring positive or negative connotations in the context.

Keywords: concept, basic concept, dichotomy of concept, emotiveness, antinomy, functions, linguistic means

УДК 81.111

О.Е. Филимонова (Санкт-Петербург, Россия)

МНОЖЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

В статье анализируются стихотворения, содержащие ситуации с множественным субъектом, представленным местоимением WE. Приводится типология множественного субъекта и отмечаются структурные особенности стихотворений, содержащих множественный субъект.

Ключевые слова: категория автора, категория персональности, множественное число, лирический герой, множественный субъект

В лирике находят воплощение самые глубокие и задушевные переживания поэта как личности, осознавшей себя и свое отношение к обществу и миру в целом. Как бы ни был у лирического поэта широк тематический диапазон, на всем лежит печать его индивидуальной оценки и личных пристрастий [Квятковский, 1966, с. 45]. Нельзя не согласиться с Л.С. Выготским, когда он пишет, что наука не просто заражает мыслями одного человека – все общество, техника не просто удлинняет руку человека, так же точно и искусство есть как бы удлиненное, «общественное чувство» или *техника чувств* [Выготский, 1997, с. 298]. Рассуждая о социальной функции искусства, он отмечает, что совершенно прав Гюйо, когда указывает: «чтобы понять пейзаж, мы должны его гармонизировать с нами самими, т. е. гуманизировать его... Слезы вещей суть наши собственные слезы. Говорят, что пейзаж есть состояние души, это еще не все. **Надо говорить во множественном числе** (выделено мною, О.Ф.), чтобы выразить это симпатическое обобщение и этот род связи между нами и душой вещей. Пейзаж есть состояние душ» [цит. по Выготский, 1997, с. 307].

Художественная эмоция «по своей сущности общественна, в результате она расширяет индивидуальную жизнь, заставляя ее смешиваться с более широкой и всеобщей жизнью» (там же). Безусловно, «множественное число» в вышеприведенном контексте следует понимать фигурально. Интересно привести в этой связи определение лирики, которое дает З.Я. Тураева, ссылаясь

на Т.И. Сильман: «Лирика – сугубо личное, интимное обращение поэта либо к другому «я», либо к природе, к миру...и все это на уровне глубинной ретроспекции. Единственной возможной формой выражения личности в этих условиях является местоимение, безымянное «я», лирическое «инкогнито» [цит. по Тураева, 1986, с. 39]. Разделяя первую часть данного определения, позволим себе не согласиться со второй его частью. Несмотря на то, что местоимение «я» является, выражаясь языком когнитологов, прототипическим образцом лирического героя стихотворного произведения, существует довольно обширный пласт лирики, содержащей множественный субъект, представленный местоимением «мы» в русском языке и местоимением «we» в английском языке. Это местоимение, так же как и местоимение you, о котором пишет З.Я. Тураева, анализируя известное стихотворение Р. Киплинга «If» [Тураева, 1986, с. 109], является одним из важных средств формирования категории автора в поэтическом тексте. З.Я. Тураева совершенно справедливо отмечает, что местоимение you как компонент функционально-семантической категории персональности характеризуется двуплановостью. «Это и средство индивидуализации, и генерализации, обращение и к одному лицу, и к целому поколению. Местоимение you придает всему стихотворению атмосферу доверительного разговора и одновременно огромную обобщающую силу» [там же].

Двуплановость такого рода характерна и для местоимения WE. Доверительность и обобщающая сила свойственны многим стихотворениям, содержащим множественный субъект WE. Рассмотрим различные типы множественного субъекта, представленного местоимением WE в стихотворениях британских и американских поэтов.

Наиболее частотными являются два типа множественного субъекта, которые мы назвали романтическим и универсальным. **Романтический** множественный субъект представлен в стихотворениях на тему любви, там, где речь идет о влюбленных и от имени влюбленных, как в следующих примерах из стихотворений Марка Стрэнда:

*We are reading the story of our lives
Which takes place in a room...
We sit beside each other on the couch,*

Reading about the couch.

We say it is ideal.

It is ideal» [The Vintage Book, p. 396].

«We have done what we wanted.

*We have discarded dreams, preferring the heavy industry
of each other, and we have welcomed grief
and called ruin the impossible habit to break*

[The Vintage Book, p. 394].

Универсальный множественный субъект выявляется в ситуациях, представляющих единение лирического героя со всеми людьми, живущими или когда-то жившими на земле. Примерами такого рода изобилует поэзия Эмили Диккинсон:

We knew not that we were to live –

Nor when – we are to die –

Our ignorance – our cuirass is –

We wear Mortality

As lightly as an Option Gown

Till asked to take it off –

By his intrusion God is known –

It is the same with life [Dickinson, p. 61] –

Как в вышеприведенном примере, так и в следующем поэт говорит об общей судьбе всех живущих на земле:

We never know we go when we are going –

We jest and shut the Door –

Fate – following – behind us bolts it –

And we accost no more [Dickinson, p. 638] –

Возрастной множественный субъект репрезентирует какую-либо возрастную группу – детей, молодежь, стариков. Приведем пример из стихотворения Шеймуса Хини «Railway Children», где речь идет о детях:

We were small and thought we knew nothing

Worth knowing...

We could stream through the eye of a needle

[Heaney, p.45].

В стихотворении Гвендолен Брукс «We Real Cool» местоимение WE представляет молодежь:

We real cool. We

Left school. We

*Lurk late. We
Strike straight. We
Sing sin. We
Thin gin. We
Jazz June. We
Die soon [Nims, p. 284].*

Динамичный ритм стихотворения и использование аллитерации наполняет стихотворение безудержной энергией молодости, бьющей через край и не знающей границ. Последняя строка стихотворения создает эффект обманутого ожидания и заставляет прочесть стихотворение по-новому, как предупреждение или попытку задуматься над собственной жизнью.

В заключительной строфе стихотворения Стивенса «Mozart, 1935» множественный субъект номинирует старшее поколение, для которого имя Моцарта ассоциируется с жизнью и молодостью:

*We may return to Mozart.
He was young, and we, we are old.
The snow is falling
And the streets are full of cries.
Be seated, thou. [Stevens, p. 132].*

Гендерный множественный субъект представляет собой лирического героя, говорящего от имени всех мужчин или всех женщин, как, например, в стихотворении Марка Хелперина «Gomer», написанного от лица женщины:

«Men think we feel them grown in us, that before they spit they fill us. Maybe, and maybe we just close around them» [Halperin, p. 49].

Профессиональный тип множественного субъекта регулярно представлен в антивоенной лирике, где размышления о жестокости и бессмысленности войны неизбежно отсылают к коллективному эмотивному опыту и его обобщению. В стихотворении Рэндела Джаррела речь идет о солдатах, погибших на войне: «We read our mail and counted up our missions-/ In bombers named for girls we burned/ The cities we had learned about in school – /Till our lives were out; our bodies lay among/ the people we had killed and never seen./ When we lasted long enough they gave us medals/ When we died they said, «Our casualties were low» [The Longman Anthology, p.78].

Географический (или национальный) тип множественного субъекта выявляется в тех стихотворениях, где лирические герои определяются или угадываются как представители той или иной страны. Например, в стихотворении Джона Хартли Уильямса «John Bosnia» местоимение WE представляет боснийцев через прямую речь персонажа-боснийца, говорящего «за всю страну»:

We have the biggest mushrooms in the world...

Then we have Herzegovina...

We are hard people. We take pleasure fiercely...

Ah, we are too patriotic. [Padel, p.154]...

Такого рода характеристики своих соотечественников персонаж включает в разворачивающийся перед читателем разговор боснийца с англичанином. Любопытно, что в конце стихотворения приводится фантастическая сцена, напоминающая кошмарный сон персонажа, где он уже представлен как единичный субъект, то есть фокус повествования меняется с множественного на индивидуальный:

I was caught in a storm

driving my melons to market. The old horse skipped a little

and then fell into the Drina, turning it red. All

the opened faces of the melons began to talk in prophecies.

They said:

Stand up & go to London. Ask an Englishman to write this

down:

'My name's John Bosnia. I have lost my cart & my crop,

and before you throw me out of the restaurant,

I am going to read you this poem.' [Padel, p.154].

Возможно также выявление **природного** типа множественного субъекта, когда местоимение WE представляет либо лирического героя стихотворения, объединяющего себя с каким-либо существом из мира живой природы (даже с насекомым), либо действующих лиц – животных, от имени которых ведется повествование. Приведем пример первого рода – отрывок из стихотворения Эмили Диккинсон:

We – Bee and I – live by the quaffing –

«Tisn't all Hock with us –

Life has its Ale –

But it's many a day of the Dim Burgundy –

*We chant – for cheer – when the wines – fail –
Do we «get drunk» [Dickinson, p.105]*

В ироничном стихотворении Уолласа Стивенса «Waltz of the Masabre Mice» повествование ведется от имени мышей. Приведем первую строфу стихотворения:

*In the land of turkeys in turkey weather
At the base of the statue, we go round and round.
What a beautiful history, beautiful surprise!
Monsieur is on horseback. The horse is covered with
mice. [Stevens, p.123].*

В некоторых случаях трудно определить тип множественного субъекта. Например, в стихотворении Элизабет Бишоп «In the Waiting Room» речь идет о семилетней девочке, которая ощутила свою сопричастность к человечеству, к другим людям, почувствовала себя одной из них. Сначала лирическая героиня пережила чувство сострадания к своей тетушке, которой удалили зуб:

«Suddenly, from inside, /came an Oh! of pain/-Aunt Consuelo's voice-/ not very loud or long./ I wasn't at all surprised; even then I knew she was/ a foolish, timid woman./ I might have been embarrassed,/ but I wasn't. What took me/completely by surprise/ was that it was me:/ my voice in my mouth. Without thinking at all/ I was my foolish aunt, / I – we – were falling, / our eyes glued to the cover/ of the National Geographic, February, 1918» [Bishop, p.160].

Далее в тексте представлено зарождение самосознания девочки как члена «семьи людей»: «*But I felt: you are an I / you are an Elizabeth, / you are one of them*» [Bishop, p.160].

Прочитав все стихотворение, мы можем идентифицировать множественный субъект универсального типа, однако в начале стихотворения, видимо, можно говорить о существовании особого открытого типа множественного субъекта **я + другой**. Действительно, этим «другим» может быть любой человек. Жизненный опыт поэта и тем более его фантазию невозможно ограничить каким-то списком субъектов, повлиявших на его творчество и отраженных в нем в той или иной форме. Приведенные выше типы множественных субъектов представили лишь наиболее характерные ситуации, отражающие коллективный эмотивный опыт в поэтическом тексте.

Наблюдения над структурой стихотворений, содержащих множественный субъект WE, позволяют говорить о некоторых моделях включения ситуаций с множественным субъектом в структуру стихотворения.

Множественный субъект может являться **структурной основой** всего стихотворения. В таком случае часто употребляются параллельные синтаксические конструкции, содержащие многократное повторение местоимения WE в тексте всего стихотворения (как, например, в произведении Олдена Ноулана «Great Things Have Happened») или в значительной его части, как в стихотворении Д.Г. Лоуренса «We are Transmitters»:

We are transmitters of life.

And when we fail to transmit life, life fails to flow through us...

And if, as we work, we can transmit life into our work,

Life, still more life, rushes into us to compensate, to be ready

And we ripple with life through the days. [Lawrence, p. 144].

В стихотворении Пола Лоуренса Данбара «We wear the Mask» предложение, вынесенное в заглавие, используется **в каждой строфе** стихотворения. Использование множественного субъекта **в начале каждой строки** или предложения характерно для детских стихов и считалок. Приведем первую часть стихотворения Дейва Уорда:

We want to wear our wellies

When it's windy.

We want to wear our wellies

When it's wet.

We want to wear our wellies

When the weather on the telly

Says it's going to be

The warmest day yet. [The Works, p. 28].

Кроме того, имеются случаи использования **рамочной конструкции**, когда высказывания с множественным субъектом обрамляют стихотворение или его часть, как, например, в стихотворении Д.Г. Лоуренса «Good Husbands Make Unhappy Wives», где в начале стихотворения приводится фраза «We've made a great mess of love since we made an ideal of it», а в конце она повторяется в несколько трансформированном виде: «And we've made a great mess of love, mind-pervverted, will-pervverted, ego-pervverted love» [Lawrence, p. 147].

Нередко множественный субъект представлен **в начале стихотворения**, а далее осуществляется переход к повествованию от первого лица единственного числа. Наиболее продуктивным является использование ситуаций с множественным субъектом **в конце стихотворения** для формулирования «послания» стихотворения, его основного смысла. Такие «высказывания общего смысла» подводят итог рассуждениям поэта или лирического героя о важных вопросах бытия или экспрессивно представляют конкретную сцену, символизирующую сильные эмоции:

In Liverpool ships gob us up.

We rot, we scatter.

The quays are maggoty with us.

We do not matter. [Padel, p. 79].

Использование множественного субъекта WE в виде **единичных вкраплений** в стихотворения, написанные от лица лирического героя, представленного местоимением I, характерны для поэтических текстов сравнительно большой протяженности. К сожалению, рамки статьи не позволяют нам привести здесь примеры такого рода. Вопрос о соотношении структуры и семантики стихотворений, содержащих ситуации с множественным субъектом, представляет большой интерес и требует специального исследования.

Проведенный в статье анализ подтверждает выводы Ю.М. Лотмана о том, что в поэзии любые элементы речевого уровня могут возводиться в ранг значимых, а также о том, что любые элементы, являющиеся в языке формальными, могут приобретать в поэзии семантический характер, получая дополнительные значения [Лотман, 1996, с.47].

Список литературы

- Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1997.
Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966.
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.
Being Alive. The sequel to Staying Alive. Glasgow, 2004.
Bishop E. The Complete Poems 1927- 1979. New York, 1979.
Dickinson E. The Complete Poems. Boston, Toronto, London, 1960.

Halperin M. A Place Made Fast. Washington, 1982.

Heaney S. Station Islands. New York, 1995.

Lawrence D.H. Selected Poems. London, 1960.

Nims J.F. Western Wind. An Introduction to Poetry. New York, 1992.

Padel R. 52 Ways of Looking at a Poem or How Reading Modern Poetry Can Change Your Life. London, 2002.

Staying Alive. Real Poems for Unreal Times. Trowbridge, 2002.

Stevens W. The Complete Poems. New York, 1990.

The Longman Anthology Of Contemporary American Poetry 1950-1980. New York, 1983.

The Vintage Book Of Contemporary American Poetry. New York. 1990.

The Works. Poems Chosen By Paul Cookson. Boston, 2000.

Filimonova Olga Yevgenjevna (Saint Petersburg, Russia)

THE MULTIPLE SUBJECT OF A POETIC TEXT

The article focuses on the situations with the multiple subject WE represented in poems. The typology of the multiple subjects of poetic texts is given and the structural peculiarities of poems containing multiple subjects are analyzed.

Keywords: category of the author, category of personality, plural, protagonist, multiple subject

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ

УДК 81'374

Е.Ю. Верещагина (Северодвинск, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются типы лексикографического описания лексических единиц современного немецкого языка со значением «межличностные отношения». В центре внимания оказываются словарные дефиниции интерперсональных имен существительных, представленные в толковых словарях современного немецкого языка.

Ключевые слова: лексикографическое описание, словарная статья, дефиниция, имена существительные, интерперсональные отношения

Основным источником, позволяющим идентифицировать семантическую структуру лексической единицы, являются словарные дефиниции. Любая словарная дефиниция включает в себя, с одной стороны, указание на принадлежность к более общей семантической области, а с другой стороны – перечисление индивидуальных семантических признаков слова. Именно поэтому исследование лексики со значением межличностных или интерперсональных отношений должно строиться в первую очередь на основании анализа словарных дефиниций.

Лингвистическая информация представляется в словаре сложившимся в лексикографической традиции способами, к которым относятся, в том числе, приемы толкования лексического значения. Семантические, грамматические, синтаксические возможности слов детерминируют избираемый авторами лексикографических произведений тип словарных толкований. В словарных изданиях и работах по теории лексикографии разработаны и обоснованы различные типы дефиниций. Так, в трудах

Г.Н. Складьевской выделяются 4 основных (по терминологии автора, «универсальных») типа дефиниций: денотативные (предметные, реальные, описательные), логические (родо-видовые), эквивалентные (лингвистические, синонимические), отсылочные (функциональные, соотносительные). О.Л. Рублева выделяет три способа толкования значений или видов словарных дефиниций:

1. Описательный – наиболее полный способ толкования, который представляет собой развернутое описание значения (в форме так называемой предикативной перифразы, типа «N – <это>... ») с перечислением признаков предмета, как общих, родовых, так и частных, различительных (отличающих от других), из которых и складывается понятие. Например: ложка – «предмет столового прибора для зачерпывания жидкой или рассыпчатой пищи». Разновидностью описательного способа является словообразовательное толкование, которое используется только для производных слов, – в этом случае значение объясняется через производящее слово: зеленеть – «становиться зеленым». Формальной разновидностью описательных дефиниций является и так называемый предметный способ толкования – объяснение значения через знакомый предмет. Обычно так толкуют прилагательные, обозначающие цвет: белый – «цвета мела, молока, снега».

2. Синонимический (путем подбора синонимов) или отождествляющий, когда тождественный по смыслу синоним вводится с помощью слов *то же, что*. Данный вид словарной дефиниции использует более компактный способ толкования, что чаще встречается в кратких словарях. Например: алчный – «жадный, корыстолюбивый»; очи – «то же, что глаза».

3. Отсылочный, когда вместо толкования слова просто дается отсылка к другому слову (обычно с помощью пометы см. или какого-либо графического знака). Как правило, прибегают к такому способу толкования, когда слова не различаются лексическим значением, но различаются значением грамматическим (в частности частеречной принадлежностью). Например: закругление – см. «закруглить»; знойно – нареч. от «знойный» [Рублева, 2004, с. 32–33]. В работах ряда лингвистов отмечается, что нередко в словарях используют смешанное толкование. А.Г. Соколова указывает, что «различные типы дефиниций в рамках одной словарной статьи часто взаимодополняются, комбинируются. Так, в

одноязычных толковых словарях встречаются следующие синкретичные типы дефиниций: описательно-логический, описательно-логический с элементом синонимического толкования, отсылочный с описательным элементом и др.» [Соколова, 2011, с. 10]. Исходя из этого, встречаются лексикографические труды, в которых смешанный тип дефиниции признается одним из видов толкования. Так, З.Ю. Балакина констатирует, что в лексикографии принято выделять различные способы описания значения слов, в частности родовидовые, релятивные, отсылочные и комбинированные дефиниции [Балакина, 2006]. Определение через род и вид в формальной логике считается классическим. В данном случае имеет место принцип интродуктивности: отмечаются родовой и видовые признаки понятия. При родовидовых определениях родовой признак указывает на принадлежность толкуемого понятия к определенному фрагменту действительности, а видовые признаки показывают различия между родственными понятиями. При релятивных определениях сущность понятия передается через указание на отношения к другим словам, часто к синонимам. Релятивные определения уточняют заключенную в словарной дефиниции информацию. Отсылочные же определения – это ссылка на синоним дефинируемого слова. По мнению Э.Ю. Балакиной, номинанты в словарных дефинициях активно определяются при помощи комплексного родовидового и релятивного (т.е. комбинированного) способа толкования [Балакина, 2006]. Сочетание этих двух способов толкования является достаточно продуктивным в современном лексикографировании.

В целом, лексикографическая практика позволяет выделить несколько видов (типов) толкований значений: описательный, релятивный, отсылочный, включая синонимический, родовидовой, словообразовательный и цитатный подвиды. Указанные способы толкования значений используются во всех толковых словарях XIX–XX века (а некоторые и в более ранних словарях: например, синонимическое толкование). С учетом традиционного, сложившегося уже в лексикографической теории и практике подхода к систематизации словарных толкований, в данной статье мы будем опираться на описательный, отсылочный, релятивный (включая толкования через синонимы и родовидовые отношения) виды толкования и различного рода комбинированные типы.

Отметим, что для анализа привлекаются данные немецкоязычного толкового словаря DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. Это объясняется тем, что указанный словарь признан авторитетным лексикографическим источником в германистике. Нормативные сведения о современном немецком языке помещены в данном толковом словаре наиболее полно. Так, В.Д. Девкин пишет: «Обилие словарей может неопытного человека сбить с толку. Поэтому целесообразно рекомендовать сразу же лучшее. Если новый десятитомник Дуден покажется отпугивающе громоздким, достаточной его заменой может послужить DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch» [Девкин, 2011, с. 9].

В привлекаемом словаре релятивный тип является наиболее часто употребляемым при толковании имен существительных, называющих межличностные отношения. В проанализированных дефинициях встречаются два способа релятивного толкования: через синонимы и через родовидовые отношения.

Количество единиц, толкование которых дается посредством родовидовых отношений преобладает. При родовидовых определениях родовой признак указывает на принадлежность толкуемого понятия к определенному фрагменту действительности (*Liebe, Hass, Abneigung, Vorliebe* и др.), а видовые признаки показывают различия между родственными понятиями. Продемонстрируем используемый метод родовидового описания на примерах, в которых родовым понятием является *Liebe*. Интерперсональные существительные *Bruderliebe, Elternliebe, Gattenliebe, Jugendliebe, Kindesliebe, Menschenliebe*, выражают понятия, классифицирующие разновидности любви. В словарных толкованиях данных лексем дается указание на ту или иную разновидность общего понятия *Liebe*. Сравним: **Bruderliebe**, die – *Liebe eines Bruders (zum Bruder, zur Schwester)* [Duden, 2001, s. 316]; **Elternliebe**, die – *Liebe der Eltern zu ihren Kindern* [Duden, 2001, s. 454]; **Gattenliebe**, die (geh.) – *Liebe des Ehemanns u. der Ehefrau zueinander* [Duden, 2001, s. 603]; **Kindesliebe**, die (geh.) – *Liebe eines Kindes zu seinen Eltern* [Duden, 2001, s. 898]. Обращает на себя внимание тот факт, что слово *Mutterliebe* выступает в этом ряду исключением, так как комбинирует родовидовое толкование с описательным: **Mutterliebe**, die – *fürsorgliche, opferbereite Liebe einer Mutter zu ihrem Kind* [Duden, 2001, s. 1110]. Родовидовое

описание дается и в дефинициях с родовым понятием *Hass*. Лексемы *Deutschenhass*, *Fremdenhass*, *Klassenhass*, *Menschenhass*, *Rassenhass* дефинируются по тому же – родовидовому – принципу: **Fremdenhass**, der – *Hass gegen Menschen aus einer anderen Region, einem anderen Volk od. Kulturkreis* [Duden, 2001, s. 569]; **Deutschenhass**, der – *Hass gegen die Deutschen* [Duden, 2001, s. 370]; **Menschenhass**, der – *Hass gegen die Menschen* [Duden, 2001, s. 1068]. На наш взгляд, значительное количество словарных дефиниций родовидового типа объясняется, во-первых, многообразием видов интерперсональных отношений, отражаемых в немецком языке. Во-вторых, это может быть связано со склонностью немецкого языка к композитообразованиям детерминативного типа, когда в структуру сложного слова включены два компонента – определяемый и определяющий. Как видно из приведенных примеров, все они являются сложными словами, в которых определяемый компонент называет родовое понятие, а определяющие компоненты характеризуют видовые признаки. Вероятно, характер самой словообразовательной структуры обуславливает необходимость толкования через родовидовые отношения.

Имен существительных, толкование которых дается по синонимическому типу, в исследуемом корпусе меньше. В качестве примеров толкования интерперсональных существительных через сходные по смыслу, т. е. равные по значению слова приведем следующие дефиниции: **Anteilnahme**, die; – *Interesse*; **Mitgefühl**: menschliche A.; seine A. aussprechen; mit A. zuhören. [Duden, 2001, s. 151]; **Antipathie**, die; -n (bildungsspr.) – *Abneigung*: eine unüberwindliche A. gegen jmdn., etw. haben. [Duden, 2001, s. 152]. Как видим, при такого рода определениях сущность понятия передается через указание на отношения к другим словам – к синонимам. Ссылки на синонимы дефинируемых слов не обеспечивают полноты лексикографического толкования: **Wechselseitigkeit**, die; – *Gegenseitigkeit* [Duden, 2001, s. 1784] и несут, на наш взгляд, минимум информации.

Описательные толкования представлены в исследуемом корпусе в таких словарных дефинициях, как: **Urlaubsflirt**, der – *Flirt, den jmd. während der Zeit seines Urlaubs hat* [Duden, 2001, s. 1675]; **Abhängigkeitsverhältnis**, das – *Verhältnis, bei dem jmd. von einem andern abhängig ist*: in ein A. geraten. [Duden, 2001,

s. 53]. В приведенных толкованиях имеются идентификаторы – имена существительные, характеризующие понятийную область (*Verhältnis, Flirt*) и дифференциальные элементы значения (*den jmd. während der Zeit seines Urlaubs hat, bei dem jmd. von einem andern abhängig ist*). Как правило, описательные словарные дефиниции комбинируются с релятивными (синонимическими или родовидовыми) толкованиями, что уточняет заключенную в словарной дефиниции информацию. Поэтому число описательных толкований в чистом виде невелико.

Отсылочные определения являются также непродуктивным способом дефинирования интерперсональных существительных в анализируемом толковом словаре. Характерно, что все зафиксированные лексемы являются производными отглагольными образованиями, вероятно, поэтому вместо толкования слова дается просто отсылка (обычно с помощью специального графического знака †) к производящей основе – глаголу или субстантивированному инфинитиву, которые сохраняют тесную смысловую связь с производящей основой. Например: **Pöbelelei**, die; -, -en (ugs.) – *das Pöbeln* † *pöbeln* (**pöbeln** – *jmdn. durch freche, beleidigende Äußerungen provozieren*) [Duden, 2001, s. 1219]; **Verfluchung**, die; -, -en – *das Verfluchen* † *verfluchen* (**verfluchen** – *sich heftig über eine Person od. Sache ärgern u. sie verwünschen*) [Duden, 2001, s. 1693]; **Verhalt**, der; [-e]s, -e (veraltet) – *Verhalten* † *verhalten* (**verhalten** – *in bestimmter Weise auf jmdn., etw. in einer Situation reagieren*) [Duden, 2001, s. 1697]. Как видим, составители словаря DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch прибегают к такому способу толкования в тех случаях, когда слова не различаются с точки зрения лексического значения, а отличны своими грамматическими характеристиками (частеречной принадлежностью). Следует отметить, что отсылочные толкования подобного рода несут минимум информации и ограничиваются лишь указанием на производящее слово, что значительно затрудняет отбор и анализ материала, так как в названных случаях приходилось прибегать к дефиниции глагольного слова (в примерах приведены в скобках) для подтверждения правомерности включения в список лексики интерперсональной семантики.

Оптимальными и максимально информативными являются комбинированные определения слов, обозначающих интерперсо-

нальные отношения в немецком языке. Достаточно продуктивным при лексикографировании интерперсональных отношений является сочетание двух способов толкования. Встречаются два варианта комбинированного толкования: описательный и релятивный через синонимы, описательный и релятивный через родовидовые отношения. В первом случае реализуются описательный и синонимический типы толкования. Словарные дефиниции такого рода зафиксированы у следующих существительных **Angriffslust**, die – *Bereitschaft, jederzeit jmdn. anzugreifen; Aggressivität* [Duden, 2001, s. 136]; **Beileid**, das; *[-e]s [älter = Mitleid] – Mitgefühl; [offizielle] Anteilnahme bei einem Todesfall: [mein] aufrichtiges B.!*; *jmdm. sein B. aussprechen* [Duden, 2001, s. 253]. Вторую группу комбинированного толкования составляют дефиниции, в которых дается описательное толкование и указание на родовидовой характер. Например: **Ehekrieg**, der – *sehr heftiger und eher unversöhnlicher, länger andauernder Streit unter Eheleuten* [Duden, 2001, s. 421]; **Familienzwist**, der – *über eine längere Zeit andauernder Streit in der Familie* [Duden, 2001, s. 519]. В качестве примера можно привести и дефиницию лексики **Mütterliebe**, die – *fürsorgliche, opferbereite Liebe einer Mutter zu ihrem Kind* [Duden, 2001, s. 1110], где помимо определения вида *Liebe einer Mutter zu ihrem Kind* дается описание дифференциальных признаков *fürsorgliche, opferbereite*, уточняющих заключенную в релятивном типе словарной дефиниции информацию.

Таким образом, анализ материала позволяет утверждать, что при дефинировании субстантивной лексики межличностной семантики в словаре DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch используются различные способы толкования, включая комбинаторные.

Список литературы

Балакина З.Ю. Национально-культурная специфика лексикографического описания эмоциональных концептов (на материале английского и русских языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Луганск, 2006.

Девкин В.Д. Немецкая лексикография: учебное пособие. М., 2005.

Рублева О.Л. Лексикология современного русского языка. Владивосток, 2004.

Соколова А.Г. Лексикографическая дефиниция как предмет лингвистического описания. Автореф. дис... канд. филол. наук. Архангельск, 2011.

Duden. Deutsches Universalwörterbuch. / 4. neu bearb. u. erw. Aufl. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2001.

Vereschagina Elena Jurievna (Severodvinsk, Russia)

THE TYPES OF LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF MODERN GERMAN INTERPERSONAL NOUNS

The article observes the types of lexicographic description of modern German words with the meaning «interpersonal relations». Attention is concentrated on the definitions of interpersonal nouns as they are given in the explanatory dictionaries of the contemporary German language.

Keywords: lexicographic description, dictionary entry, definition, nouns, interpersonal relations

УДК 811.111'37

А.А. Карасев (Санкт-Петербург, Россия)

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИКИ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ В УЧЕБНЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье дается оценка существующих методов представления полисемантического слова в учебном толковом словаре; описан возможный механизм формирования лексического значения полисемантического слова на основе лексического прототипа как его системного значения; обоснована целесообразность применения лексических прототипов в лексикографической практике; описана процедура вывода лексического прототипа.

Ключевые слова: учебный толковый словарь, прототипическая семантика, семантическая структура слова, лексический прототип, номинативно-непроизводное значение

Цель данной статьи – проанализировать способы представления лексического значения слова в учебном словаре и предложить способ составления дефиниций с учетом данных прототипической семантики. Анализ проведен на примере слова «body» в словаре Longman Dictionary of Contemporary English [LDCE, 2001].

Учебный толковый словарь можно определить как справочное издание, которое представляет собой описание лексического состава языка [Jackson, 2002, р. 21–22] в учебных целях [Карташков, 1986, с. 1]. Цель учебного толкового словаря – предоставить максимально эффективное с учебной точки зрения описание лексического значения слова. Лексическое значение в общем можно определить как структуру знания, которая включает знание языкового знака, фрагмента действительности, устойчиво ассоциируемого с данным знаком; оно позволяет человеку связывать данный фрагмент и языковой знак [Колмогорова, 2006, с. 242].

Так, значения полисемантического слова «body» представлены в учебном словаре LDCE в виде списка дефиниций:

- (1) *the physical structure of a person or animal*
- (2) *the dead body of a person*
- (3) *a group of people who work together to do a particular job or who are together*
- (4) *a large amount or collection of something:*
- (5) *the central part of a person or animal's body, not including the head, arms, legs or wings*
- (6) *(technical) an object that is separate from other objects*
- (7) *the main structure of a vehicle not including the engine, wheels, etc*
- (8) *if your hair has body, it is thick and healthy*
- (9) *full/medium/light bodied used to describe how much flavour (=taste) a wine or beer has, with full bodied wine having the strongest taste*

Как правило, словарь является авторитетом для большей части тех, кто им пользуется [Девкин, 2000, с. 10], что приводит к распространенному мнению о том, что в словаре все так же, как и в системе языка. Однако, исследуя данные компьютерных корпусов, лексикограф П. Хэнкс сделал вывод о том, что значения полисемантического слова существуют не списком (checklist), и «нумерованные списки значений слова в словарях привели к созданию ложного представления о том, что на самом деле происходит при использовании языка» [Hanks, 2000, p. 205]. По его мнению, лексическое значение слова – это не данность (entity), представленная в словаре, а событие (event), которое существует только в процессе употребления языка [Hanks, 2000, p. 212]. Следовательно, в словаре приведено не значение слова, а лишь «возможности значения» (meaning potentials) – «потенциальные дополнения для значения текстов, в которых употребляют эти слова и в которых их активизирует говорящий» [Hanks, 2000, p. 211]. Эти «потенциальные значения» формируют семантическую структуру слова (ССС), которая представляет собой результат «каталогизации значений, зафиксированных в текстах» [Архипов, 2004, с. 79]. Именно СССР, а не лексическое значение слова, и описана в словаре. СССР – это не факт системы языка, а чисто теоретическая схема, которая отражает результаты осмысления лексикографом совокупности актуализаций единиц уровня

системы языка в речи [Там же]. Следовательно, для достижения цели данной статьи представляется возможным произвести обратную процедуру: на основе описанных вариантов речевого употребления многозначного слова, вывести его системное значение.

Некоторые попытки подобного описания лексического значения уже были сделаны. Например, среди прочих видов дефиниций, в некоторых словарях представлены так называемые «прототипические» дефиниции. Это смешанные формы «интенциональной» (состоящей из родового понятия и дифференциального признака) и «экстенциональной» дефиниций (то есть составленной на основе перечисления членов класса, обозначенного заглавным словом). Например: «*tea* – *a meal or social gathering at which tea is served. Now esp. (a) a light afternoon meal, usu. consisting of tea, cakes, sandwiches, etc. (also more fully afternoon tea or five o'clock tea); (b) (in parts of the UK, and in Australia and NZ) a main meal in the evening that usually includes a cooked dish, bread and butter, and tea (also more fully high tea)* [A practical guide ..., 2003, с. 90].

Однако эта дефиниция, во-первых, не учитывает номинативно-непроизводное значение слова *tea*, а именно: *a hot drink made by infusing the dried crushed leaves of the tea plant in boiling water*; а во-вторых, опять же представляет собой список.

Чтобы вывести системное значение, необходимо сначала установить номинативно-непроизводное значение (ННЗ) слова, которое играет ключевую роль в формировании семантической структуры слова [Левчина, 2003, с. 8]. Для этого требуется изучить отношения мотивации между лексико-семантическими (ЛСВ) вариантами слова, что можно сделать на основе ССС.

Анализ приведенной выше словарной статьи показывает, что все значения слова *body* восходят к значению (1) *the physical structure of a person or animal*, из чего можно сделать вывод о том, что именно оно и является ННЗ слова *body*. Однако для более объективного результата необходимо изучить ННЗ, по меньшей мере, в десяти словарях (в большинстве словарей это первые значения в списке). Повторяющиеся семантические компоненты в дефинициях, вероятно, образуют ННЗ слова [Ширяева, 2008, с. 270]. Ниже приведены результаты анализа семантических компонентов в дефинициях слова *body* в десяти словарях:

(1) *the whole physical structure of a person or animal* [Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 2003]

(2) *man or animal as material organism* [Concise Oxford Dictionary, 1984]

(3) *your body is all your physical parts, including your head, arms, and legs* [Collins COBUILD Advanced Dictionary of English, 2008]

(4) *the entire material or physical structure of an organism, especially of a human or animal* [The Free Online Dictionary]

(5) *the physical structure of a person or animal* [Longman Dictionary of Contemporary English, 2001]

(6) *the whole physical structure of a person or animal, including the head, arms, and legs* [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners]

(7) *the main part of a plant or animal body especially as distinguished from limbs and head* [Merriam-Webster Dictionary]

(8) *the whole physical structure of a man or animal* [Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1987]

(9) *the physical structure, including the bones, flesh, and organs, of a person or an animal* [Oxford English Dictionary, 2005]

(10) *the entire structure of an organism (an animal, plant, or human being)* [Webster's Online Dictionary]

Частотность семантических компонентов в дефинициях ННЗ в 10 словарях:

Семантический компонент	Количество повторений
<i>physical</i>	8
<i>structure (substance)</i>	8
<i>physical structure (physical substance)</i>	7
<i>person (human, man)</i>	8
<i>animal</i>	9
<i>whole (entire)</i>	5
<i>plant</i>	2

В ННЗ следует включать только наиболее частотные компоненты, поскольку именно эти признаки, по мнению большинства лексикографов, наиболее важны для идентификации понятия.

Следовательно, в ННЗ войдут признаки, которые повторяются не менее семи раз. Таким образом, усредненное ННЗ слова *body* можно описать как *the physical structure of a human or animal*.

Так как ЛСВ слова *body* производны от ННЗ, то все ЛСВ можно интерпретировать на ЕГО основе [Ширяева, 2008, с. 270]. Цель данной процедуры – продемонстрировать мотивированность ЛСВ предположительно «системным» ННЗ, то есть показать, что ЛСВ являются вариантами речевой реализации ННЗ, и установить соответствующие дифференциальные семы.

Анализ содержания лексико-семантических вариантов слова *body* на основе номинативно-непроизводного значения

Контекст употребления ЛСВ	ННЗ	Значение ЛСВ
1 <i>My whole body ached</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>My whole physical structure of a human ached</i>
2 <i>The police found the body in the ditch</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>The police found the physical structure of a human in the ditch</i>
3 <i>The Senate is the official body which deals with such issues</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>The Senate is the official structure resembling that of a human or animal which deals with such issues</i>
4 <i>The blow almost severed his head from his body</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>The blow almost severed his head from his physical structure of a human</i>
5 <i>Planet is a celestial body moving in an elliptical orbit round a star</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>Planet is a celestial physical structure resembling that of a human or animal moving in an elliptical orbit round a star</i>
6 <i>The main body of the house was built in 1625</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>The main physical structure of the house resembling that of a human or animal was built in 1625</i>
7 <i>The shampoo will give good body to your hair</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>The shampoo will give good physical structure like that of a human or animal to your hair</i>
8 <i>A small amount of tomato will give extra body to your sauce</i>	<i>The physical structure of a human or animal</i>	<i>A small amount of tomato will give extra physical structure like that of a human or animal to your sauce</i>

В результате проведенного анализа содержания можно убедиться, что все ЛСВ мотивированы ННЗ *the physical structure of a human or animal* на основе непосредственной денотации (ЛСВ 1, 2, 4), или на основе семы сравнения: *resembling the physical structure of a human or animal* (ЛСВ 3, 5, 6, 7, 8). Таким образом, можно сформулировать содержательное ядро значения слова *body*, или его лексический прототип (ЛП) [Архипов, 2003, с. 81] – *the physical structure of a human or animal or anything resembling it*.

ЛП играет ключевую роль в формировании и развитии семантической структуры многозначного слова. Он является ее инвариантом и мотивирующей основой всех ЛСВ, которые (в том числе и ННЗ) в равной степени производны от ЛП. Следовательно, ЛП осмысливается как «наилучший представитель» слова на уровне системы [Архипов, 2003, с. 26] и является, вероятно, системным значением слова в сознании на уровне системы языка, которое обеспечивает функционирование слова в речи [Ширяева, 2008, с. 269]. Так как объем человеческой памяти ограничен, то, будучи компактной ментальной структурой, ЛП, вероятнее всего, является оптимальной формой хранения лексического значения в долговременной памяти [Левчина, 2003, с. 8].

Лексическое значение слова как структура знания формируется в сознании носителя языка в процессе речевого общения. Однако тому, кто изучает этот язык как иностранный, приходится имитировать данный процесс. Чтобы сформировать собственное представление о том, что означает то или иное слово, учащемуся приходится обращаться к уже описанным случаям употребления данного слова. Одним из таких описаний является словарная статья в традиционном учебном словаре. С помощью описания ССС в словаре можно продемонстрировать и изучить употребление слова и на основе зафиксированных контекстов спрогнозировать новые. Однако, с практической точки зрения, лексикографическое описание лексического значения полисемантического слова посредством описания ССС в учебных целях не всегда эффективно – для некоторых слов она может быть крайне большой (62 значения слова «head» в Longman Dictionary of Contemporary English). Запомнить длинный список из нескольких значений трудно, а иногда невозможно. И так как ЛП представляет собой

минимальный набор интегральных и дифференциальных признаков, достаточных для идентификации предмета мысли [Левчина, 2003, с. 8], то можно предположить, что его наличие в словарной статье избавит учащегося от необходимости механически запоминать длинные списки значений полисемантических слов. Оно также поможет учащемуся сформировать целостное представление о понятии, выраженным данным словом. Кроме того, благодаря использованию ЛП в словаре можно показать взаимосвязь всех ЛСВ, взаимодействие и частичное совпадение смыслов (overlap) ЛСВ, чего нельзя добиться при описании значения в виде списка [Hanks, 2000, p. 206].

Описание ЛП как наилучшего представителя ССС «подсказывает» понимание реального механизма функционирования многозначного слова в речи. ЛП должен быть представлен в начале словарной статьи в качестве ориентира. Дефиниция, основанная на описании ЛП, может быть использована преподавателем или учащимся при самостоятельном изучении полисемантического слова. Чтобы помочь учащемуся сформировать наиболее полное представление о возможностях употребления слова, в словарные статьи следует включать речевые примеры, демонстрирующие, как и в каких контекстах употребляют данное слово, мотивированное представленным в ней лексическим прототипом.

Список литературы

Архипов И.К. Коммуникативный цейтнот и прототипическая семантика // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. №4 (7). СПб. С. 75–84.

Архипов И.К. Человеческий фактор в языке. СПб., 2003.

Девкин В.Д. Очерки по лексикографии. М., 2000.

Карташков А.Н. Принципы построения учебно-толковых словарей английского языка для иностранцев: Автореф. ... дисс. канд. филол. наук. Л., 1986.

Колмогорова А.В. Языковое значение как структура знания и опыта // *Studia Linguistica Cognitiva*. Вып. 1. Язык и познание: Методологические проблемы и перспективы. М., 2006. С. 240–256.

Левчина И.Б. Развитие семантической структуры синестезических прилагательных: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2003.

Ширяева А.В. Прототипическая семантика как основание синонимии глаголов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 23(54). СПб., 2008. С. 69–274.

A Practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography Research and Practice) / Ed. by. Piet van Sterkenburg. Amsterdam, Philadelphia, 2003.

Hanks P. Do word meanings exist? // Computers and Humanities. Vol. 34, № 1–2. Trier, 2000. P. 205–213.

Hartmann R.R.K. Theoretical and practical aspects of lexicography // Теоретические и практические аспекты лексикографии: Межвуз. сб. научн. тр. Иваново, 1997. С. 5–16.

Jackson H. Lexicography: An Introduction. London, New York, 2002.

Lexicography: Principles and Practice / Ed. by R.R.K. Hartmann. L., etc., 1983.

Электронные источники

CALD – Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge, 2003.

COD – The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford, 1984

COBUILD – Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary / new digital edition. 2008.

FOD – The Free Online Dictionary [Сайт]. URL: <http://thefreedictionary.com/>

LDCE – Longman Dictionary of Contemporary English. Barcelona, 2001.

MEDAL – Macmillan English Dictionary for Advanced Learners CD-ROM / 2nd edition, version 2.0.

MWD – Merriam-Webster Dictionary [Сайт]. URL: <http://merriam-webster.com/>

OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford, 1987.

OED – Oxford English Dictionary Oxford Dictionary of English, Oxford, 2005.

WOD – Webster’s Online Dictionary [Сайт]. URL: <http://websters-online-dictionary.org/>

Karasev Anton Alexandrovich (Saint Petersburg, Russia)

**THE METHODS OF PRESENTING THE SEMANTICS
OF A POLYSEMOUS WORD IN MONOLINGUAL LEARNER’S
DICTIONARIES: CURRENT STATE AND PROSPECTS**

The article offers a critical overview of the current methods of presenting a polysemous item in a monolingual learner’s dictionary. The mechanism of the lexical meaning formation is described as based on the systemic meaning of a word – the lexical prototype. Its use in practical lexicography and a relevant devising procedure are discussed.

Keywords: monolingual learner’s dictionary; prototypical semantics, semantic structure of a word, lexical prototype, primary meaning

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ

ГУРОЧКИНА А.Г. Когнитивно-прагматические основания комического	4
ТУРАЕВА З.Я. Русский язык в диаспоре	13

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ: СТАТЬИ ПО МАТЕРИАЛАМ 1-Й ШКОЛЫ-СЕМИНАРА ПАМЯТИ И.В. АРНОЛЬД

ХАРИТОНЧИК З.А. О принципах семантической организации лексикона	18
БОГДАНОВА С.Ю. К вопросу о лексической категоризации	30

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АБИЕВА Н.А. Когнитивно-семиотическая модель речевого регистра «описание»	38
АРХИПОВ И.К. К проблеме реальности когнитивных и языковых структур: «провокации» письменной коммуникации	48
БАБАРЫКИНА Т.С. Концепт <i>CHILD</i> в произведениях Дж.К. Роулинг	55
БЕРЕЗИНА О.А. Семантический и функциональный потенциал инициального прономинала <i>it</i> в английских безличных предложениях	62
МЕНЯЙЛО В.В. Абстрактное имя и концепты абстрактных номинаций	72
ПУЗАНОВА Н.А. Семантическая эволюция эмоциональной лексики (когнитивный аспект)	80
РУМЯНЦЕВА А.С. Метафора: природа и функционирование в речи.	89

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ

БОЛЬШАКОВА Т.М. Интеграция функционально-семантического и прагмалингвистического подходов при исследовании категории побудительности	98
СЕРГАЕВА Ю.В. Оптимизация словообразовательной модели в процессе словотворчества	105
ТОЛОЧИН И.В. <i>We fit like spoons</i> : к вопросу о предметной природе словесного значения.	115

ФРАЙМАН В.Е. К вопросу о лексических различиях между британским и американским вариантами английского языка	124
ШИРОНОВА В.С. Некоторые способы репрезентации значения предметности в языковой картине мира австралийской баллады (на примере баллад о бушрейнджерах)	130

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ

ГАСАНОВА И.М. Языковое моделирование профессиональной самоидентификации в постколониальном романе	137
ЕЛЕНЕВСКАЯ М.Н. Как быть чужаком: языковое поведение в иноязычной среде сквозь призму народной лингвистики (по материалам интернета)	143
КУНИЦЫНА П.А. Модель констатации лжи	153
СЕРОВА И.Г. Проблемы гендерной самоидентификации в дискурсе викторианской эпохи	161

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

АЛЕКСАНДРОВА А.А. О соотношении категорий текста «интертекстуальность» и «аппроксимация»	170
ВОРОНЦОВА Т.И., ГЕОРГИНОВА Н.Ю. К уточнению понятий «дискурс» и «интердискурсивность»	177
ИЛЬИНОВА Е.Ю. Мифологема как эвристический прием интерпретации когнитивной картины мира	184
КЛЕЙМЕНОВА В.Ю. Принципы конструирования фикционального мира волшебной сказки как возможного мира	195
КОЧЕТОВА Л.А. Динамика стратегии негативной вежливости в англоязычном рекламном дискурсе XVIII–XIX веков	202
КУЗЬМЕНКО О.Н. Франкоязычные топонимы в языковом пространстве М.И. Цветаевой	211
НИФАНОВА Т.С. Художественный образ как объект межъязыкового семасиологического исследования	222
СВЕТЛИЧНАЯ С.А. Категории времени и пространства в «ирреальном мире» текстов фэнтези	227
СЕДЫХ Э.В. Интермедальность в художественном творчестве У. Морриса	234
ФИЛИПОВА С.Г. О философском дискурсе и его универсальном статусе	247
ЧЕМОДУРОВА З.М. Проблема репрезентации времени в фикциональных мирах постмодернизма	259
ЩИРОВА И.А. Теория разума и проблемы литературной семантики	268

ЮДИНА Т.В. Роль категориального аппарата текста в осмыслении переводческих проблем.	278
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ЭМОТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА

ДУДКИН О.С. Реализация эмотивной прагматической установки «проинформировать о своих чувствах» в политическом интервью . .	285
МАРТЕМЬЯНОВА Е.А. Типология множественного субъекта состояния	292
ПАШКОВ С.М. Эмоциональная доминанта страха как дистинктивная характеристика неоготического романа	299
СОЛОВЬЕВА М.С. Репрезентация эмотивного фрейма «Утрата» в англоязычной элегии	305
ТАНАНЫХИНА А.О. Языковые средства репрезентации эмотивных художественных концептов «добро» и «зло» в сказке Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»	312
ФИЛИМОНОВА О.Е. Множественный субъект в поэтическом тексте	319

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ

ВЕРЕЩАГИНА Е.Ю. Особенности лексикографического описания интерперсональных существительных современного немецкого языка	328
КАРАСЕВ А.А. Способы представления семантики многозначных слов в учебных толковых словарях: современное состояние и перспективы.	336

НАШИ АВТОРЫ

АБИЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

АРХИПОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ – доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

БАБАРЫКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры германской филологии Гуманитарного института Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, филиал в г. Северодвинске.

БЕРЕЗИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат филологических наук, докторант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА – доктор филологических наук, профессор кафедры прикладной лингвистики Иркутского государственного лингвистического университета.

БОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ВЕРЕЩАГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета Северодвинского филиала Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова

ВОРОНЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой фонетики английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ГАСАНОВА ИНДИРА МАКСИМОВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ГЕОРГИНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ГУРОЧКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА – Почётный профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук, профессор кафедры английской филологии.

ДУДКИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ЕЛЕНЕВСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА – кандидат филологических наук, выпускница ЛГПИ им. А.И. Герцена. С 1990 г. живет в Израиле и работает в Технионе – Израильском Технологическом Институте (г. Хайфа).

ИЛЬИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – доктор филологических наук, доцент кафедры английской филологии Волгоградского государственного университета.

КАРАСЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

КЛЕЙМЕНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА – кандидат филологических наук, докторант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

КОЧЕТОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английской филологии Волгоградского государственного университета.

КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

КУНИЦЫНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

МАРТЕМЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

МЕНЯЙЛО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

НИФАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой германской филологии Гуманитарного института Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, филиал в г. Северодвинске.

ПАШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ПУЗАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

РУМЯНЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

СВЕТЛИЧНАЯ СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

СЕДЫХ ЭЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и перевода Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

СЕРГАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

СЕРОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА – кандидат филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

СОЛОВЬЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ТАНАНЫХИНА АЛЛА ОЛЕГОВНА – кандидат филологических наук, докторант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ТОЛОЧИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Санкт-Петербургского государственного университета.

ТУРАЕВА ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА – доктор филологических наук, профессор, в течение 27 лет руководила кафедрой английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Ныне проживает в Германии.

ФИЛИМОНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ФИЛИППОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Волховского филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ФРАЙМАН ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ХАРИТОНЧИК ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общего языкознания Минского государственного лингвистического университета.

ЧЕМОДУРОВА ЗИНАИДА МАРКОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ШИРОНОВА ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА – аспирант кафедры английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ЩИРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ЮДИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой перевода Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

ISBN 978-5-905687-72-3



STUDIA LINGUISTICA

**АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
ЛИНГВИСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

XXI

Подписано в печать 10.06.2012. Формат издания 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура SchoolBookC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,46.
Тираж 200 экз. Заказ 289.

Отпечатано в ООО «К-8».
Санкт-Петербург, Измайловский пр, 18-д.